

НОВЫЙ  
МИР

9

---

1934

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

Д Е В Я Т А Я

С Е Н Т Я Б Р Ъ

---

М О С К В А  
1 . 9 . 3 . 4

Статформат-В/5. 176 × 250.

Уп. Главл. В < 82937.

Зак. 1517. Тир. 50.000.

Об'ем 13 п. л. по 64.000 знак. Техн. ред. В. Белокопъ.

Тип. им. тов. И. И. Скворцова-Степанова «Известия ЦИИ СССР и ВЦИК», Москва.

# СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. БОР. ПИЛЬНЯК. — Рассказ о кристаллообразованиях . . . . .	5
2. НИКОЛАЙ БРАУН. — Четыре стихотворения . . . . .	9
3. А. ВОРОНСКИЙ. — Три повести . . . . .	12
4. ГЕОРГИЙ НИКИФОРОВ. — Час торжества, <i>рассказ</i> . . . . .	33
5. НИК. ЗАРУДИН. — Лирические стихотворения . . . . .	36
6. АЛЕКСЕЙ КАРЦЕВ. — Магистраль, <i>роман</i> , продолжение . . . . .	38
7. Л. НИКУЛИН. — Стамбул, Анкара, Измир. III . . . . .	72
8. В. НАСЕДЖИН. — Два стихотворения . . . . .	92
9. ВС. ИВАНОВ. — Похождения факира, <i>роман</i> , продолжение . . . . .	93
<b>ЗА РУБЕЖОМ:</b>	
10. Н. КОРНЕВ. — Герои современной Австрии . . . . .	110
<b>НАУКА И ЖИЗНЬ:</b>	
11. ПРОФ. Н. ФЕДОРОВСКИЙ. — Десять лет работы Института прикладной минералогии . . . . .	125
<b>ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:</b>	
12. ПОСЛЕ С'ЕЗДА — ЗА РАБОТУ . . . . .	143
13. Н. БОГОСЛОВСКИЙ. — Пушкин-критик . . . . .	149
14. Н. СОБОЛЕВСКИЙ. — Книга отчаяния и смерти . . . . .	170
15. ПИСЬМА БЕРАНЖЕ, окончание . . . . .	180
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:</b>	
С. ДЗЮБИНСКИЙ, Н. ИЗГОЕВ. — Массовый читатель о художе- ственной литературе . . . . .	195
К. ЛИТОВЦЕВА. — С. Сергеев-Ценский. «Гоголь уходит в ночь» . . . . .	201
Г. ТАРПАН. — А. Дмитриев. «Адмирал Макаров» . . . . .	202
К. БОГАЕВСКАЯ. — Д. В. Веневитинов. «Полное собрание сочи- нений» . . . . .	203
С. ИВАНОВ. — Е. А. Штакеншнейдер. «Дневник и записки». С. П. Жихарев. «Записки современника» . . . . .	206
КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ НА ОТЗЫВ . . . . .	208



# Рассказ о кристаллообразованиях

БОР. ПИЛЬНЯК

Весна пришла сразу, в несколько ночей. Несколько дней не было солнца, и моросил дождь. Снег по ночам исчезал быстрее, чем днем. Река взломалась и разлилась ночью, перестроив звуки, когда разговоры за рекой слышались с явственностью сорока шагов. Тогда с рассвета до заката появилось солнце, в оврагах лежал еще бурый снег, но холмы к заповедням подсохли, и на них цвели уже первые голубые подснежники. День прошел просто-ром света, ветра и неба. Вечером, во мраке, липком, влажном и благомном, как весенняя грязь, слышали, как, как-раз за садами на выгоне, как тысячу лет на одном и том же месте, заночевали, перекликаясь, журавли.

И в этот вечер решено было начинать пахоту. Часом начала назначен был рассвет. Ночью никто не спал. С полночи закричали петухи, здесь, за рекой, за десяток километров, так, точно они хотели окричать весь мир. Река летом была не глубже, чем по пузо, — сейчас бригадники переплыли ее на плоту, еще с вечера сидели на крылечке, курили, иль валялись в сене на конном дворе, тоже курили. Папашка Клементьев, по прозвищу «Враг отечества», приплыл с дочерьми, без дела, таскался с крылечка на конный двор, опять к крылечку, к трактористам, в контору, — в конторе неодобрительно посматривал на нового лысого председателя, — на крылечке, у трактористов, на конном дворе, говорил всем одно и то же:

— Проморгали, черти, с осени, чтобы

под зябь, теперь, черти, наверстывай, — и моргал, и щурился, точно из глаз и носа, обросших бородой, делал фигу, — пословицу, черти, забыли, — нет хуже, как ждать да догонять!.. проморгали, черти.

В конторе перепроверяли и перераспределяли бригады. На конюшне переподкармливали лошадей, мешая, в сущности, им отдыхать. С полей доносились птичьи переполохи, птиц, ночевавших в полях перед утренним перелетом. Трактористы выехали на работу еще до рассвета. Трактора заревели сразу и выползали из сарая вереницей, в свете ацетиленовых фонарей, точно небывалые летучие мыши.

Для Лаврентия это была не только пахота, но — проверка всего того, что он узнал за зиму. Трактор был пере-пере-проверен с вечера, часов в семь, и часов с восьми до полночи Лаврентий спал — около трактора, на соломе, прикрывшись тулупом. Разбудила Аганька, папашки Терентьева, «Врага отечества», дочь.

— «Журавли вы длинноноги, не нашли пути-дороги!» — Вставай! Я у тебя бригадиром буду!.. — сказала озорно и — осторожно, любовно потрепала за плечо. — Вставай, я к тебе в помощницы напросилась, плуг там или еще что... Ну!.. это я, Агаш...

Выехали в ночь. Агаша пристроилась под левую руку, плечо и дыхание были рядом. В ацетиленовом свете мост на высоких сваях, ручей внизу, в ледяных караваях недотаявшего снега, сам ов-

раг, — все выглядело заново. На мосту стоял «Враг отечества», с клюкой, ничего не сказал, шурился от света и был серьезен. Надел Лаврентия — «осьмак» — лежал сейчас же за выгоном. Приехали быстро, остановились, выключили мотор. Сейчас же ночь, ее звуки, ее дела вступили в силу. Потушили фонарь, — ночь посветлела. Совсем над головой, всполошенные, пролетели гуси, и Агаша сказала — тысячеклетней приметой:

— Гуси полетели, — сейчас светать будет.

Плечи Агаши дрогнули. На селе запели петухи, еще, еще, — залилась одна собака, еще, еще. И на самом деле восток стал редеть. Лаврентий и Агаша пошли по осьмаку, намечая путь трактора. Холм уже высох, лишь кое-где на ноги налипала земля, связывая движения и делая их сладостными. Черные плечи Лаврентия в темноте казались еще чернее и больше, белый платочек Агаши был легок и светел. На том конце осьмака они опять стали рядом, и опять дрогнули плечи Агаши.

Когда Агаша и Лаврентий вернулись к трактору, восток был уже не только лилов, но уже зеленел, и за холмом, за холмами студеным простором полег разлил. Лаврентий завел мотор, сел к рулю, двинулся к меже, стал на межу, опустил лемеха, снова двинулся, пропахал метра два, остановился. Агаша была рядом. Лаврентий наклонился над только-что поднятой землей, взял ком в руки, рассматривал внимательно, осторожно, точно видел землю впервые.

— Почвы... — сказал он. — Строение почвы, как физическое, так и химическое, зависит, кроме прочего, от качества условий вспашки. Почвы могут выщелачиваться и засоляться. Щелочные растворы почвы и кристаллообразование солей...

На самом деле Лаврентий видел землю заново, не потому, что она вышла из-под снегов, но потому, что новое знание земли — из-под ледников зимы — стекало со страниц тех книг, которые были прочитаны за зиму. Лаврентий недоуменно мям в руке землю.

И затем был длинный, трудный

рабочий день. Лаврентий трактором ворочал землю, в солнце, в ветре, во внимательности. Раза два трактор давал перебоины, тогда Лаврентий залезал в него, в его «душу», вооруженный ключами и сосредоточенностью, Агаша вместе с ним склонялась над «душой», и плечи их касались друг друга, на момент, на полмомента замирали в неподвижности. Агашка командовала лемехами. В полдни Агаша ходила за обедом, они ели, сидя на тракторе, — с трактора казалось, что они сидят высоко над землей, обдуваемые простором и ветрами. В закат они ели хлеб с солью, стоя друг против друга.

— Ты устала? — спросил Лаврентий. — Земля-то — на нее и не сядешь, весь день на ногах, посиди на тракторе.

Последние лучи солнца светились в глазах Агафьи, она жевала, она улыбнулась озорно и бодро, — вот еще!.. — но на трактор села и с'ела еще кусок хлеба, толстейший, в инее соли. Студеную воду они пили из глиняной бадьи. И — работали до тех пор, пока не увидели вдруг, что ночь уже черна, как сажа, и подкована уже морозцем. Вновь на обратный путь Агаша пристроилась к Лаврентию, руку положила на плече, и засыпала, и склоняла голову до очередной ухабы. У моста зажгли ацетиленку. Агаша пристроилась удобнее, Лаврентий правил одной рукой. Агаша сказала сквозь дрему:

— Завтра еще подсохнет... Раскачаемся — будем всю ночь пахать... только раскачаться надо с непривычки... Лавруш, ты меня взаправду любишь?.. — и не дождалась ответа, задремала.

Окна конторы светили полными огнями, и двор был табором. Папашка, «Враг отечества», вечером изловил нового председателя, наголо кругом бригито, волос — одни ресницы, в охотничьих сапогах, остановил председателя, заговорил:

— Вы еще мене не знаете, я человек прямодушный, был бедняком и всем правду тычу в глаза, — как где плохо, так и говорю, как товарищу Литвинов на Женевской конференции. Что хорошо, то хорошо, а ежели растяпа на неподмазанной телеге едет, я не позволю.

Зато меня и прозвали — «Враг отечества»!.. Вы Лаврушу знаете?

— Какого Лаврушу?

— Тракториста. Я сам одинокий, а у меня две дочери, сыновьев нет. — Папашка перестал улыбаться, глаза его сосредоточились, стали чуть ласковыми, как ласковым вдруг стал голос. — Дочки мои — девки, незамужние. Вот я и думаю. Женская доля теперь, сами понимаете, она может корове под пузо и не глядеть, у моих девок трудодней больше, чем у мужиков, — значит, сыты, обуты, одеты, все хорошо. А, кроме этого, еще, значит, она теперь, к примеру, богаче мужика, она и в девках не пропадет, — значит — своя воля...

Бритый в сапогах осмотрел внимательно «Врага отечества», разговор происходил на ходу, между дел, надо было спешить.

— Ну, и что? — спросил бритый. — При чем тракторист?

— Я и говорю — своя воля. Не спору, мои дочки богаче мене, спорить не буду. Очень тракторист разочаровался на мою Аганьку, глаз с нее не спускает, в поле вместе работают, сейчас приехали, он ей умываться подавал... Я ничего плохого сказать не смею, обижать не хочу. Ну, однако раньше повенчаются честь по чести, попируют... А теперь — она пальцем не позволит тронуть себя, она не мене его зарабатывает, проживут месяц, другой... с голоду она конечно не помрет и даже в убытке не будет, ежели неудачный человек. А все-таки — неудобно, нехорошо, перед людьми стыдно... Ну-к-ать Аганька проживет полгода с ним, а потом домой, а потом со вторым... Раньше ведь людей стыдились...

— А ты в комсомол пожайлуйся, — сказал бритый.

— Чего?

— Ты знаешь, как в городах, на заводах, там если парень или девка, все равно, озорует, против общества поступает, сейчас — общественный суд. Предположим, парень сошелся с девушкой, она ребенка зачала, а он от нее. Она жалуется в комсомольскую ячейку или женорганизатору. Его судят. О нем в стенгазетах пишут. Если он сукиным

сыном оказался, его так пропекут, что он своих не узнает. И податься ему некуда. Его так пропекут, что он зря не разочаруется!..

— Это значит — комсомольская обязанность?

— Комсомольская.

Бритый замахал высокими сапогами по делам, оставив «Врага отечества» на поддороге. «Враг отечества» пошел к крыльцу, оттуда на конный двор, оттуда — в гараж, оттуда — опять к крыльцу. Конный двор, крылечко и гараж засыпали перед новым днем. За рекой, на низинах, пахать начали сутками позже, и человеческие голоса из-за реки по разливу слышались, точно люди говорили рядом, в сорока метрах. Повесенному выли над землей собаки, и повесенному пахла земля.

Лаврентий и Аганька проснулись до рассвета. Промазывая трактор, Лаврентий думал о кристаллизационных явлениях.

«Вы бросаете в воду — ну хотя бы поваренную соль. Соль растворяется в воде. Соль исчезает в водной прозрачности. Вы бросаете еще соли. Соль растворяется. Вы бросаете еще. И вдруг в воде начинают возникать кристаллы. Они имеют точные формы. Они будут расти очень быстро, и до тех пор, пока вся соль в воде не превратится в кристаллы. Химический процесс кристаллообразования начинается в тот момент, когда водный раствор насыщен до пределов». Эту цитату Лаврентий просто вспомнил. И вдруг весело подумал — про себя, про товарищей, про дела, образом, как о почве, — мысли построились книжным языком, почти цитатно: «Соль пролетарских традиций революции, насыщавшая крестьянство вот уже пятнадцать лет, этой ночью насытила сознание Лаврентия Панферова до пределов пролетарской кристаллизации — пролетарского кристаллообразования». Лаврентий подумал о себе в третьем лице потому, что увидел свое имя отпечатанным на машинке в стенгазете, куда он напишет статью о пролетарском кристаллообразовании крестьянского сознания. Лаврентий крикнул вглубь гаража:



— Агаш! вставай! поехали! — голос Лаврентия был счастлив.

Выехали опять затемно, когда по всему миру кричали петухи. В небе появился осколок луны, тот, который встарину появлялся только на третий день пасхи, морозец подковывал землю, но земля дышала полною весной. Аганька опять была рядом. На мосту опять повсгре-

чался «Враг отечества». Он остановил трактор.

— Лаврушка, ты комсомолец айнет!? — строго спросил он. — Ну, то-то, смотри!.. А тебе, Аганька, велю — записывайся в комсомол. Слышишь, что отец тебе говорит, записывайся, — а то зазря разочаровываться я и не позволю!..

---

# Четыре стихотворения

НИКОЛАЙ БРАУН

## 1. ПРИГОРОД

Там, где-то за Невкой, топор  
тараторил,  
Визжала пила, надрывался терпуг,  
Там строили город немецкого покроя,  
Петровскую выдумку — Санкт-  
Петербург.

Туда загоняли дубьем новоселов,  
Проспектами просеки звали,  
а здесь —  
Тишайщяя Невка, рыбачий поселок,  
Сосны да березы корявая смесь.

Но время врвалось, — деревья  
редели,  
Сушили болота, крепили мостки,  
И графы Строгановы богатели,  
Добротные ставили особняки, —

И пригород рос, кабаками богатый,  
Сюда аж от самой молдавской  
земли  
Тащились кибитки, визжали  
цыганята,  
Ворчали медведи, — и таборы шли.

Они приносили гортанные песни,  
Горячую пляску, лихие каблуки,  
Они оседали на прибыльном месте  
И, зарясь на заработок, шли в кабаки.

Здесь Черная речка, речонка,  
речушка,

Ручей безобидный.  
Не здесь ли в снег,

От страшной травли осатанев,  
На левый локоть падал Пушкин  
В январский, тихий, смертный снег?

Сюда, от России, от черного рока,  
Где «царь да Сибирь, да Ермак,  
да тюрьма»,  
Тащила тоска полупьяного Блока,  
Песней цыганской сводила с ума,  
Пляской цыганской захлестывала  
душу,  
Монистом да шалью, да кованой  
серьгой,  
Бубенцами плакала под дугой,  
Но утро вставало над трезвой подуш-  
кой  
Всё той же вчерашней и тошной  
тоской.

Не здесь ли в ночах, выплывая  
из мути  
Лицом сатанинским,  
Деньгами соря,  
В мужицкой рубахе святейший  
Распутин  
Гулял и пьянел за здоровье царя?

Не здесь ли?  
Но там, где дымились болота,  
Я вижу строенья взамен пустырей,  
И красные звезды моих самолетов  
Летят спозаранку над крышей моей.

Не здесь ли?  
Я слышу, как ломится в окна

Весенний, ребячий, рассыпчатый гам,  
 Я вижу, как мимо, в знакомой,  
 широкой  
 И синей спецовке проходит цыган.  
 Не здесь ли?

Прощайте же, злые хибарки,  
 Корявые ветки березы кривой!  
 Я городом отдыха в солнечном  
 парке  
 Увижу когда-нибудь пригород мой!

## 2. ТЮТЧЕВ

О, конь морской! О, конь морской,  
 С бледнозеленой гривой!

Ф. Тютчев.

Куда вы? Стоп! Назад, морские  
 кони!  
 Назад! В конюшню! К Тютчеву!  
 В стихи!

Он конюх ваш на первом перегоне,  
 Он вызвал вас из водяной трухи.

Так создают богов. И так играют  
 дети.

Он был ребенком с богом на губах.  
 Он создал вас — и вот уже столетье  
 Пасетесь вы на водяных лугах.

Сто лет вы бьетесь выпрыгнуть  
 из плена,

Он обманул вас, темный следопыт!  
 Вы только пыль пучин, слепая пена,  
 И нет ни грив, ни торсов, ни копыг.

Он обманул себя, когда сквозь хаос  
 Уйти хотел в «элизиум теней»,  
 И тенью дыма жизнь ему казалась,  
 И тем звала и мучила сильней.

Что проку вам пустую гнать погоню?  
 И я хлещу вас по глазам — назад!  
 В стихи, туда, где спит ваш первый  
 конюх,  
 Неверный бог и знатный дипломат!

## 3. ДРУЗЬЯМ

Пылать свечой, как сто свечей!  
 Сгорать костром! А много ли  
 Пробрется нас, живых лучей,—  
 От мертвых душ, сквозь жуть  
 ночей, —  
 К живому сердцу Гоголя?

Идем и тычемся — кроты!  
 Дугой — пророки — горбимся!  
 Жрецы куриной слепоты —  
 Подножкой травкой красоты,  
 Поджав копытца, кормимся!

А наша речь? Ее река  
 Лежит ленивой сыростью,

Она глуха, она дика,  
 Что колокол без языка,  
 А ей в века бы вырасти!

И что нам жаться к берегам,  
 Визжать слепой уключиной?  
 Из ветерка бы — в ураган!  
 Из ручейка бы — в океан!  
 Да с грозями, да с тучами!

Сиять лучом, как сто лучей!  
 Сгореть, но сердце вынести,  
 Но в сонной дикости вещей,  
 Сквозь одиночество ночей,  
 В большое солнце вырасти!



# Три повести

А. ВОРОНСКИЙ

## 1. НА ПЕРЕПУТЬЯХ

I

Владимир ходил за ягодой в лес, долго кружил и сильно утомился, пока выбрался к реке. Ночь выдалась теплая, Владимир развел костер и славно выпался на сухом мху. Утро было северное, прекрасное. Густой запах смолы отягчал веки, островерхие скалы сторожили Совер древними викингами, ровно и низко шумела вода на речных порогах, отдаленно и грустно курлыкая, высоко пролетали гаги. Когда Владимир возвращался домой, ему все казалось, будто провел он в лесу не сутки, а несколько недель: так далеко отошли обычные ссыльные дела, друзья, книги, газеты.

К тридцати годам Владимир уже успел отдать почти треть жизни тюрьмам и ссылкам. Спустя два месяца опять он будет «на воле». «Воля» революционного работника длится три-четыре месяца. Невесело это — всеми помыслами ждать в захолустьи освобождения, думать о столице, о встречах с товарищами, о работе — и быть взятым потом где-нибудь на улице, на явочной квартире, — вновь переживать унылые, тусклые тюремные рассветы, постылые, пустые дни, видеть окна, забранные угрюмыми решетками, слушать звяканье ключей, окрики «дядек», выносить подглядыванье «в глазок», изворачиваться на жандармских допросах. Владимир невольно скривился от отворачивания...

Однако самое темное время, видимо, позади, что бы ни случилось. Годы рас-

пада в прошлом. Подполье оживает — вопреки преследованиям, соглядатаям, предателям. На застой пожаловаться нельзя. Стачки — в Петербурге, в других городах, — грядущее сулит много неожиданного. Владимир даже быстрее зашагал, точно боялся куда-то опоздать.

Грядущее...

Паскаль утверждал, что люди никогда не ограничиваются настоящим. Пусть человек исследует свою мысль, — она всегда занята или прошлым, или будущим. О настоящем мы почти не думаем. Следовательно, мы не живем, а только надеемся жить. Замечание глубокое, но Паскаль напрасно полагал, что надеяться жить — плохо. Эта надежда питает творчество, а в творчестве — весь смысл истории человечества. «Да будет!» — лучшее, что сказал себе человек.

От корзины, наполненной до краев малиной, ежевикой и полянкой, шел свежий лесной аромат, дикий и упоительный. Из-за реки медленно плыл густой, тяжелый благовест. На лебяжьих озерах, синих, полноводных, не было видно ни одной складки, нигде не рябило. У природы — свой язык, смутный и странный. Когда человек, окруженный ею, испытывает полноту чувств, с ним говорят луга, деревья, небеса. Вот сейчас кругом — тихая, неотразимая ласка, успокоение. Мысли произвольны, и это хорошо...

Владимир вышел на опушку. За рекой городок раскидывался убогими постройками... Сегодня должна быть поч-

та, сразу за целую неделю. Почему-то от Наташи давно нет писем. Не случилось ли чего-нибудь недоброго? Владимир присел на пень, забылся. На тропу выбежал заяц, присел, попрядал ушами, увидел человека с корзиной, прыгнул в кусты.

У города на мосту Владимир встретился со ссыльным Минцем. Григорий Минц первым узнавал газетные и местные новости и разносил их среди ссыльных с величайшим рвением. Глотая слюну, сутулясь, Минц на ходу крикнул Владимиру:

— Германия объявила войну России. Запыхавшись, Минц уже убежал в соседний переулок.

Ошеломленный, Владимир оглянулся. Над дальними сизыми грядками лесных урочищ, над низкорослой, однообразной тундрой простерлись длинные, дымные пологи. Пахло гарью. Где-то полыхали лесные пожары.

## II

Владимир сидел у открытого окна с пачкой газет. За окном, в капризных и крутых поворотах, иссеченная острыми порогами, неугомонно кипела река. Вечерний час сходил медленно.

... Это было крушенье..

Социалисты объявили себя защитниками отечества, голосовали за военные кредиты, принимали посты министров, обвивали друг друга в поддержке правительства.

Вожаки состязались в трусливом, в косноязычном и жалком оправдании измен, в обмане рабочих.

Изменник — Каутский, изменник — Плеханов, изменники — Жюль Гэд и Вальян.

Крах готовился давно. Давно проведывали гражданский мир, постепенное внедрение в современное общество социализма, законные средства борьбы. Все это было известно Владимиру, но, когда впервые он узнал, что Плеханов и Каутский — в рядах «патриотов», он не поверил сообщению и решил, что это — выдумки воинствующей прессы.

Выдумки оказались правдой. Бред

обернулся явью. Газетные и журнальные строчилы, захлебываясь, наперебой рассказывали о новоявленных защитниках отечества. Горько было Владимиру.

Шестиклассником-гимназистом рождественские каникулы он проводил в Саратове у дяди-промышленника. Перебирая библиотеку его сына, ссыльного студента, Владимир наткнулся на книгу с длинным ученым заглавием: «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю». Над книгой Владимир просидел день, вечер, ночь. Книгу взял он с собою в гимназию. Он нашел в ней новую веру, нравственность, знание. Бельтовым он заставлял заниматься приятелей по школе. Спустя несколько месяцев от одного из них Владимир на сутки получил зарубежную «Зорю», где встретил статью Плеханова, и опять был восхищен. Как же потом изумлялся он, когда узнал, что Бельтов есть Плеханов, отец русского марксизма! Втихомолку он, между прочим, долго подсмеивался над своим открытием. Преклонение пред Плехановым было длительное. В спорах с народниками и анархистами Владимир отстаивал каждую строку из книг Георгия Валентиновича. И позже, будучи уже большевиком, он продолжал следить за работами едкого и блестящего ученика Маркса, в вопросах же философии, литературной критики он попрежнему оставался для Владимира наилучшим учителем и другом. Даже недостатки Плеханова — дидактизм, нерасудочность просветителя, высокомерная снисходительность — легко прощались.

Нужно ли припоминать, с какой горячностью и упорством «штудировались» «Аграрный вопрос» Каутского, «Предшественники научного социализма», «Этика», а еще раньше — «Эрфуртская программа», с какой непримиримостью защищались взгляды, в них выраженные!

... Измена...

Для Владимира и для его друзей Каутский, Плеханов, Жюль Гэд являлись не только любимыми писателями. Они объединяли разбросанных, разобщенных подпольщиков, лишенных прессы, собраний, союзов. Революционные работники

научились понимать своих вожаков с полуслова, с намека. Опасности, аресты, тюрьмы, вся беспокойная, боевая жизнь укрепляли и воспитывали преклонение пред ними. На стенах у Владимира висели любимые портреты. Жандармам и полиции не нужно было утруждать себя выяснением, каких убеждений их поднадзорный.

... Итак, долой недавние обольщения... Из библейских заповедей революционеру, видно, надо чтить одну единственную: «Не сотвори себе кумира!» Но не легкое это дело — свергать кумиров! Глухая тоска терзала Владимира. От бессонной ночи горела голова, пепельница была полна окурков. Однако, об одной группе, самой дорогой и близкой, возглавляемой коренастым человеком, пока ничего не сообщалось в газетах, но по умолчаниям, по враждебным, неопределенным замечаниям Владимир догадывался: группа не поддавалась общему угару. Он, впрочем, ни на один миг не усумнился в ней. Стоило ему себе представить плотного, с головой Сократа, человека, вспомнить его немного картавую, властную, как бы идущую из нутра, речь, его неукротимость, — и предположение, что он сейчас может быть в одном лагере с Каутским, с Плехановым и призывать к обороне отечества, где господствует царская камарилья, — делалось нелепым и глупым...

Дородная поморка Василиса, хозяйка Владимира, скоро и легко прошла мимо окна к реке. В руках у нее блестела медная посуда. Василиса улыбнулась Владимиру крепкой, безотчетной улыбкой. И от этой здоровой улыбки, ото всей ладной, статной и опрятной фигуры поморки Владимиру сделалось веселей.

— Да, вот война, предательства, интриги, обман, а жизнь идет своим чередом, непобедимая, всегда в себе уверенная...

Владимир долго ходил по комнате из угла в угол, потом решительно снял со стены несколько портретов.

На обоях остались свежие отпечатки. Потухала густая заря, покрываясь пеплом.

### III

Собрание колонии назначили за Девьей скалой.

Ссылных осталось в городке только двенадцать человек. На Мурман мимо проводил железнодорожную ветку и еще с позапрошлого года сюда прекратили направлять поднадзорных. Собирались на доклад Владимира о войне. Владимир уже успел убедиться, что большинство колонистов не разделяет его взглядов. Он сдержанно здоровался с товарищами, сидя в стороне, и молча ждал, пока подойдут запоздавшие. По натуре Владимир в обиходе скорее был податлив и мягок, но он легко ожесточался, едва дело касалось круга идей, с какими связал он свою жизнь. И теперь, сидя на камне под низкорослой елью, он готовился отстаивать свои мнения, как бы дорого это ни обошлось. Непрестанный, ослепительный солнечный свет заставлял невольно жмуриться, леса уходили в безвестную, неисхоженную тундру. Пахло смолой, сухим мохом; из-за мшистых скал городок едва виднелся, а за ним покоилось тихое, гладкое море, испещренное туманно-синими островами. Парусные рыбацьи лодки напоминали лебедей.

Собирались медленно. Пришел чемчого раскосый, широкоплечий социалист-революционер Трофимов, темный от загара, русобородый красавец с ослепительными зубами; пришел меньшевик Григорий Минц; у него из карманов торчали газеты; Минц путался в них, шуршал ими, комкал, раскидывал их, собирал, совал куда попало. Подошли Кубейко — южанин, рабочий, из токарей, молчаливый латыш Шварцман, очень нелюдимый, земский статистик Нестеров, конторщик из Николаева Васильев, металлист Костя, безбородый подросток, старавшийся показать себя степенным и рассудительным. Остальные подошли, когда Владимир уже приступил к докладу.

Владимир говорил: войну прикрывают великими идеями, твердят о братстве народов, о защите отечества, о всечеловеческой культуре, о свободах, о нравственности, ищут зачинщиков, а между

тем республиканская Франция заключила союз с палачами русского народа. а между тем Германия Канта и Гегеля, Шиллера и Гете вторгнулась в Бельгию. Владимир указал, далее, истинные причины войны, объяснил измены в среде социалистов и заключил доклад призывом не подчиняться мутным, отступническим настроениям.

Слушали Владимира с непроницаемыми лицами, только подросток Костя открыто выражал ему одобрение, солидно посапывая трубкой, от которой, видимо, ему приходилось плохо. Чем дальше говорил Владимир, тем яснее он чувствовал, что слова его звучат в пустоте. Трофимов, поджимая губы, иногда двусмысленно улыбался, Минц комкал газетные листы, Нестеров неприязненно и насмешливо щурился, щипал реденькую бородачку; другие предпочитали с Владимиром не встречаться взглядами, и он, понимая, что его не поддерживают, сократил свой доклад.

Председатель собрания Нестеров, перед тем как дать слово записавшимся, неторопливо протер очки, спросил Владимира, какой же выход считает он наиболее желательным для русских социалистов. Владимир кратко ответил:

— Наиболее желательным выходом для русских социалистов считаю поражение правительства.

Собрание зловеще притихло. Даже Костя с недоумением поглядел на Владимира. Минц сделал сильный глоток, большой и острый кадык у него сильно заерзал; конторщик Васильев покачал головой. Нестеров повертел карандашом, как бы что-то соображая, наконец побурчал:

— Похвальная откровенность...

#### IV

— Похвальная откровенность! — подхватил слова Нестерова Трофимов; быстро поднявшись, он стал громко выкрикивать: — Родина... Русь... Что понимает во всем этом Сарматов, международный гражданин, чужой, далекий нашей стране, нашим деревням. — Обычно спокойный Трофимов покрылся темной краской. — Разве понимают эти

граждане, когда русский поэт восклицает: «Россия, нищая Россия! Мне избы серые твои, твои мне песни ветровые, как слезы первые любви!» Безжизненными, пустыми глазами смотрят беспочвенные космополиты на отчий свой кров. А отчий кров в огненном кольце. Пожар надо скорее потушить, не жалея сил. В это время находятся люди, которые боятся одного: не пострадают ли их схемы, их тощие доктрины. Да погибнут доктрины и схемы; пришла пора сказать своей земле, своей родине словами запричастной молитвы: «Не бо врагом твоим тайну повею, ни лобзание ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую тя...» К пушкам! Каленым железом выжжем врага, расплавленным свинцом зальем им глотки!

С глазами, налитыми кровью, никого и ничего не замечая, Трофимов, в полузабытьи, осел на выступ скалы.

— Верно! Ты хорошо сказал, — поддержал Трофимова конторщик Васильев. Выставив птичью грудь, он захлопал в ладоши. Его никто не поддерживал. Васильев спрятал покрасневшие руки.

Владимир в ссылке дружил с Трофимовым, хотя они и принадлежали к различным партиям. Они часто спорили, расходились в оценках, но Трофимов обладал характером открытым, веселым и ровным, любил русскую литературу и знал ее. Владимир нередко бродил с ним по лесу, ловил на островах с ним рыбу, охотился. Они не докучали друг другу. Когда с началом войны между ними обнаружился новый, более сильный разногласия, совместные прогулки прекратились, но до открытого разрыва дело не доходило. Теперь, на собрании, Владимир выслушал Трофимова с изумлением. Если бы несколько недель назад ему, Владимиру, сказали, что Трофимов назовет себя Иудой, говоря о царской России, такого человека он назвал бы либо сумасшедшим, либо клеветником. Случилось наихудшее. Рушились последние связи. После выступления Трофимова Владимир понял: со многими друзьями и товарищами придется навсегда разойтись. Война — повсюду. И, может быть, самое страшное,



что несет с собою она, — это смертельная схватка идей. Тут уж, поистине, не пожалеют ни друзей, ни родных. Пощады не будет.

... Слово взял председатель собрания Нестеров. Дергая себя за бороду и будто кому-то подмигивая близорукими глазами, он со снисходительным смешком отозвался о выступлении Трофимова: поэтические вольности его, возможно, по-своему и красочны, но мало кого серьезно убеждают. Надо понять: Германия угрожает нам пушками, Германия навязывает нам невыгодные торговые договоры; тем самым она пытается задержать в стране развитие производительных сил и превратить Россию в свою колонию. Наоборот, союз с Францией, с республиканской страной, в противовес прусским юнкерам, укрепит у нас силы демократии.

— Волонтерами в царскую армию согласны идти? — перебил Нестерова Владимир.

— Защищать Россию, ее независимость пойду, — ответил Нестеров, сжимая бледными руками суковатую палку.

«Ничто нас больше не объединяет. Мы — самые решительные враги друг другу» — подумалось Владимиру.

После Нестерова говорил Григорий Минц. Брызгая слюной, потрясая страстно черными лохмами, жестикулируя, Минц бестолково повторил доводы Нестерова, прибавив от себя, что угнетенные нации исполняют свой долг перед родиной. Владимир рассмеялся. Минц плюхнулся на свое место, судорожно схватил газету, точно в ней заключалось спасение от напастей и гибели.

Следом за Минцем выступили сельский учитель Лаутов, социалист-революционер, и «дикий» социал-демократ Тихменев. Они поддержали Трофимова и Нестерова. Владимир предполагал, что с ним, по крайности, будет рабочий Степан Кубейко. Но Степан со всякими длиннотами и отступлениями объявил: «Германия стремится задушить в России молодое рабочее движение, немцы первыми двинули свои войска, их нападение надо отбить».

Иногда Владимиру чудилось: все, что

он слышит и видит, — навождение. Но скалы уверенно и грузно громоздились кругом, полдень тяжеловесно зрел под ровным, спокойным небом, речи продолжали говорить, — действительность была непререкаема. Дозорный Семенов дважды подавал предупредительные сигналы: прошли поблизости стражники; речи прекращались, собрание застывало, боялись пошевелиться, появлялось общее сознание: жестокая, слепая сила одинаково преследует ссыльных, одну семью, один круг боевых друзей. Но шаги стражников, их негромкий говор, кашель замирали между скалами, против Владимира выступали новые противники. Невероятное опять делалось явью...

## V

В заключительном слове Владимир выразил удивление: с каких пор социалисты, хотя бы трофимовского склада, стали преклоняться перед нищей Россией и перед серыми избами? Непонятно также, кого именно имеет в виду Нестеров, утверждая, что Германия стремится навязать нам торговые договоры. Кто это «мы»? О любви к родине.. Надо любить свою родину, но наша родина — родина Белинского, Герцена, Чернышевского, Желябова, Ленина, а не родина Романовых, Гучковых, Рябушинских. Этой последней мы желаем скорейшей гибели.

— Вы все сказали? — необычайно вежливо спросил Владимира Нестеров, когда тот умолкнул.

— Я все сказал, — сухо ответил Владимир, стирая с лица обильный пот.

Нестеров прочитал резолюции: свою и Владимира. За Владимира, кроме него, голосовали подросток Костя и латыш Шварцман, не проронивший за все собрание ни одного звука. Резолюция Нестерова собрала восемь голосов. Кто-то ушел до голосования. Собрание не расходилось: все чего-то ожидали. Владимир сидел на камне, опустив голову, ни на кого не глядя. Наконец, он медленно поднялся, неестественно-спокойно промолвил:

— Заявляю о своем выходе из колонии.

Трофимов широким взмахом бросил в Девью скалу камнем. Васильев что-то крикнул, слов его Владимир не расслышал, Минц сунул газету в карман и тут же опять ее выхватил. Нестеров щипал бородку, с недоумением, повидимому искренним, он спросил:

— Почему?

Другие ссыльные тоже смотрели на Владимира вопросительно. Губы у Владимира дрожали:

— Трофимов упомянул здесь Иуду. Иудами считаю я принявших резолюцию Нестерова.

— Вон! — крикнули в один голос Трофимов и Нестеров. Они сорвались с мест и бросились к Владимиру.

— Вы с ума сошли, — с трудом прохрипел Трофимов, багровый до удушья, переходя на «вы».

Лаутов заорал высоким фальцетом:

— Возьмите свои слова обратно! Возьмите свои слова обратно!

У Минца прыгала нижняя челюсть. Он не в силах был вымолвить ни слова, между тем как Васильев, потрясая палкой, кричал:

— Позор! Позор!

Сильно побледнев, Владимир втянул голову в плечи и тихо сказал:

— Слов обратно не возьму. Нет более границ между вами и царскими припешниками.

— Сам предатель! — Трофимов кинулся на Владимира с кулаками. Низкорослый, похожий на гнома, Шварцман схватил сзади Трофимова за локоть, сильно толкнул его и встал между ним и Владимиром. Не трогаясь с мест, латыш и Трофимов, тяжело дыша, смотрели друг другу в глаза. Трофимов потряхнул головой, точно сбрасывая с себя взгляд латыша, и, задыхаясь, подался назад:

— Вон! Долой! Сам Иуда-предатель!. Тише!.. К чорту!.. Призываю к порядку!.. Долой!..

Забыли, что собрание тайное и что его легко могла открыть уездная полиция. Были похожи на бесноватых и одержимых. Лаутов махал палкой, будто поражал невидимого врага; Тихмев толкал Костю, Костя силился в чем-то его убедить, прижимая к груди ру-

ки и пытаясь безуспешно перекричать собрание; Кубейко тянул за пиджак Нестерова, тот беспомощно оглядывался, порывался успокоить ссыльных, Владимир продолжал неподвижно стоять. Он видел и не видел, слышал и не слышал, что делалось кругом.

Наконец, собрание утихомирилось. Сказал Нестеров:

— Предлагаю Владимира Сарматова исключить из колонии.

Шумела глухо и бездумно вода на порогах за скалами. С востока медленно напоздали темные тучи...

— И меня исключите!.. — звонко крикнул Костя, победно оглядывая собравшихся и держа в руках трубку.

— Меня тоже исключайте! — прогудел мрачно Шварцман.

Владимир хотел сказать, что он раньше заявил о своем выходе из колонии ссыльных и что поэтому исключать его поздно, но заявление показалось ему в ту минуту мелочным. Он промолчал.

Исключение проголосовали без прений, очень поспешно.

У Владимира хранилась касса колонии, а Костя ведал библиотекой. Нестеров предложил им сдать кассу и библиотеку.

— Не сдадим! — и за себя, и за Костю сказал Владимир. — Колония ренегатская.

— Сам ренегат! — запальчиво вскрикнул Минц, скосив плечо, дрожавшими пальцами прилаживая на нос пенсне.

Опять ссыльные сорвались с мест, замкнули Владимира в ревуший круг. В гаме, в бестолочи Владимиру удалось заявить: деньги и книги переданы будут другой, соседней колонии, не оборонческой. Заявление еще сильнее взбудоражило собрание. Колония помогала неимущим, чаще всего при отъезде и побегах. Передача кассы другой колонии причинила бы многим ущерб и затруднения.

— Ловко, — ехидно орал Васильев. — Попробуй! Голову свернем!

— Свернем голову! — подтверждал Лаутов. Минц предлагал объявить Владимиру бойкот, Степан качал кудлатой головой. В заключение Нестеров предложил от колонии Владимиру и Косте

сдать кассу и библиотеку в суточный срок. Владимир, латыш и Костя молча покинули собрание.

За рекою полыхали лесные пожары. Тянулись дымные пологи.

## VI

Накануне отъезда Владимир долго бродил за городом. Дни стояли прозрачно-чистые. Ночью подмораживало, но по утрам солнце пригревало: посеребренные изморозью скалы влажно темнели. Небо ярко синело, будто обжатое сплошным синим пламенем. Лесные урочища, неподвижные, хмуро-спокойные, отцветали пышной киноварью, червонным цветом, обведенные неувядаемой зеленью красноселья. Пахло осенними запахами тундры. За городом, за рекой, открывалось туманно-сиреневое море.

Завтра он, Владимир, в этот час уже будет на пароходе. Прощай, захоластье, убогий быт, старoverы, белые ночи, зимние дни, лишённые света! С морем, с лесами и лебяжьими озерами, со скалами и зорями, со всем северным очарованием не хотелось расставаться. Однако, ссылка пришла к концу как нельзя более кстати. За последние недели произошло много нелепого и тяжелого. Владимир сделался среди ссыльных изгоем. С ним даже не раскланивались. Местные интеллигенты — врач, лесничий, учительницы, аптекарь — тоже избегают с ним встречаться; до властей, очевидно, дошли слухи о неладах в колонии, о взглядах на войну Владимира. Исправник, человек обстоятельный и преданный престолу, усилил за ним надзор, недавно произвел у него тщательный обыск, к счастью, безуспешный. Деньги и библиотеку пришлось поневоле передать Нестерову и его сторонникам: в колониях края повсюду верх одержали новые патриоты, вдобавок Нестеров и Трофимов известили соседей, что Владимир не возвращает кассы и что он исклочен из колонии политических ссыльных; некоторые их выражения наводили на мысль, что Владимир — просто-напросто мошенник...

... Нет ничего печальнее, чем видеть крушение старой дружбы!

... Владимир невесело усмехнулся... Несколько дней назад по городу распространился слух, будто в Белое море прорвались три немецких крейсера и несколько миноносцев. Началась жалкая и глупая суматоха. Обыватели дежурили на скалах, вглядываясь в морские просторы: не видать ли вражеской флотилии; запасались сухарями, консервами, сахаром и чаем на случай отступления «вглубь страны». Уверяли: из Соловецкой обители спешно вывезли драгоценности, иконы, утварь. Костя сообщил: колония решила принять участие в обороне города и края, если «враг осмелится свершить наглое нападение и посягнуть на родную землю». Каким способом собирались защищаться, не имея в море ни одного боевого судна, ни одной пушки на суше, было непонятно... Оборонять свое узилище, родину ржавых решеток, кандалов, веревки на перекладине, — этого только не хватало! Владимир представил: толстый, багровый исправник с надутыми фиолетовыми щеками, унылый, но обязательный околodок Дрызгалов, жандармский вахмистр с утиным носом, сутулый Нестеров с редкой бороденкой, социалист-революционер, сторонник террора, волжанин Трофимов, крижистый рабочий Степан, недавний бундовец Григорий Мицу бок о бок защищая «отчизну». Командует исправник, Трофимов, Нестеров, Мицу сплеча врезаются «в стан неприятеля». Чепуха, ералаш, нелепость, однако, близкие к действительности!

От Наташи — открьтка: получила диплом Бестужевских курсов. Владимир не должен корить ее за редкие письма: много повседневной суеты, да и переписываться не умеет она, — для переписки нужна особая одаренность. А побеседовать надо о многом...

— О многом надо побеседовать, — вслух вымолвил Владимир. Два года назад он сошелся с учительницей из соседнего посада Мелесовой, веселой, молодой и непритязательной девушкой. Прожили немного больше года. Мелесову увлек ссыльный студент Пирогов, она уехала с ним в Москву. Разошлись

она и Владимир легко: даже продолжали дружески встречаться. О Мелесовой Владимир ни словом не обмолвился Наташе. Как жила она без него, об этом ему не хотелось и думать. В письмах она ее не расспрашивал.

Хотелось скорее покинуть тихий северный городок, и в то же время Владимир сознавал: «воля» несет новое и грузное бремя. В ссылке жизнь безответная, этой вынужденной беспечности теперь конец.

С утра Владимиру не давали покоя слова из «Юлия Цезаря»:

Трус и до смерти часто умирает,  
Но смерть лишь раз изведывает храбрый!

... Изведать смерть храбрым, воспитать в себе презрение к ней, что не удалось Толстому, Достоевскому, многим мудрецам и что удастся людям революционного дела. Теперь это всего нужнее. Война предъявляет новые требования.

... Провожал на пароход Владимира один Костя. Шварцман уехал раньше. Костя гордился: в ссылке он остается единственным хранителем «неурезанных лозунгов». Владимир может быть совершенно спокоен: он, Костя, не отдаст врагам славного боевого знамени. Пусть Владимир в этом нисколько не сомневается. Костя важно посапывал трубкой, держался со старшим товарищем, как равный с равным, хотя недавно еще Владимир преподавал ему начатки политической науки, и Костя отвечал на вопросы, точно школяр.

Когда пароход отвалил, Костя долго махал платком. Владимир не мог не видеть, что Костя несколько раз усиленно поспеет: чертовски крепкий табак курил он!

## VII

Отец Владимира, Николай Семенович, народоволец, врач и журналист, знал Желябова, Перовскую, Степняка-Кравчинского, отбыл пять лет крепостного заключения и столько же прожил в якутской ссылке. Народником он остался и позже. После девятьсот пятидесяти года, освобожденный из-под надзора, Николай Семенович напечатал воспоми-

нания. Воспоминания имели успех. Помещал он также в журналах статьи о народном здравоохранении.

Владимир рано лишился матери и вместе с сестрами, Верой и Надеждой, вырос под надзором отца. Николай Семенович заменял детям мать, — они любили его и уважали.

Над марксизмом Владимира Николай Семенович иногда шутил, снисходительно, но не обидно. Себя Николай Семенович называл лавристом. Происходили у него с сыном и споры, не нарушающие, однако, взаимной привязанности. Николай Семенович отличался большой терпимостью. Владимир был любимцем отца, и, когда сидел в тюрьме, Николай Семенович худел, страдал бессонницей, не мог работать над статьями и над продолжением воспоминаний.

Владимир нашел отца заметно постаревшим, но еще бодрым. Встреча вышла нерадостная. Николай Семенович, подобно социалистам его толка, в вопросах войны и мира решительно высказался за поддержку союзников против Германии; он, между прочим, поместил статью в народническом журнале за гражданский мир внутри страны. В статье осторожно также напоминалось, что демократии надо дать больше прав и что народовольцы самозабвенно любили родину, верили в ее самобытность. По просьбе Николая Семеновича Владимир прочитал статью. Они были вдвоем в просторном кабинете. Николай Семенович, высокий, худой, пощипывая седую, коротко подстриженную бородку и поправляя золотые очки, ходил из угла в угол, искоса поглядывая на сына, который, зажав руки между коленями, не поднимал глаз со старинного персидского ковра.

— Ну, что же ты думаешь по всем этим вопросам? — негромко и неуверенно спросил Владимира Николай Семенович, не дождавшись, чтобы сын заговорил с ним первым.

Владимир взял с письменного стола нож слоновой кости и, поводя им по темному бархату кресла, неохотно ответил:

— Считаю, что было бы хорошо, если бы нас сильно побили.

— Ты так думаешь? — без надобности переспросил Николай Семенович.

Он осторожно обошел Владимира, положил журнал со своей статьей на верхнюю полку шкафа, где книги покоились в строгом и холодном порядке.

Владимир ничего не ответил. Он продолжал упорно смотреть на ковер и машинально гладить ножом налокотник старинного кресла. Николай Семенович нерешительно потер виски, засунул глубоко руки в карманы пиджака, прижав плотно руки к бокам.

— Не кажется тебе, что, желая нам поражения, ты способствуешь победе Вильгельма и его присных?

Владимиру больше всего не пришлось по духу это «и его присных», он скривил губы, сдержанно промолвил:

— Социалисты во всех странах должны желать поражения своим правительствам.

— Но если этого в жизни нет? Если немецкие социалисты защищают свою Германию?

— Тогда социалисты перестают быть социалистами, тогда они делаются шовинистами, они — изменники.

Николай Семенович вздернул правым плечом, стал у письменного стола и, перебирая на нем бумаги длинными пальцами, спросил подавленно:

— Продумал ли ты, Володя, что ты говоришь?

— Я продумал все это, отец, — Владимир поднял на Николая Семеновича невеселые глаза.

Николай Семенович будто в первый раз заметил, что у Владимира упрямый лоб, азиатский, немного раскосый развод бровей, худое, продолговатое лицо, острое, непокорное. «В кого это он?» — спросил себя старый народник. И правда, Владимир не походил ни на мать, ни на него, ни на сестер. Николай Семенович вспомнил его двухлетним, «с браслетиками» на пухлых и розовых ручонках, вспомнил, как старательно кутали его в одеяла и как Соня, жена Николая Семеновича, белокурая, готовая переносить любые невзгоды, пела над сыном негромкие колыбельные песни. Из них больше всего любила она песню Сольвейг из «Пер Гюнта»:

Спи, усни, ненаглядный ты мой,  
Буду сон охранять сладкий твой.  
На руках мать носила дитя,  
Жизнь для нас проходила шутя.

Было, да бывшем поросло. Давно уже Соня спит сном непробудным, нет и друзей далекой юности. Молодое поколение выросло, чуждое заветам. Жестокое оно, черствое. История для них — только борьба голых экономических интересов; родина, Россия, ее мессианизм — для них пустые, смешные слова. Узость, догматичность... «Может быть, с годами все это пройдет? В самом деле, Владимир устал, озлоблен» — примирительно подумал Николай Семенович, стараясь подавить обиду и чувство отчужденности к сыну.

Владимир же думал, что отцу горько, что встреча грустная, но что он иначе не мог вести себя с ним. Статью он считал возмутительной.

Он хоронил дорогие останки. Тускнел облик старого народовольца, современника Желябова, Александра Михайлова, Кибальчича. Владимир не мог от себя скрыть: отец писал то же самое, что ежедневно твердили «Речь», «Русские ведомости», «Русское слово», а они роднились с «Новым временем». Удивительно, до чего быстро и беспощадно все обнажает война.

— Поступай, как знаешь. Пойдем пить чай, — примирительно сказал Николай Семенович и заторопился. В дверях отец и сын столкнулись. Николай Семенович неловко, боком, суетливо уступил место Владимиру. Владимир стоял неподвижно, ожидая, чтобы отец прошел в столовую первым. Он хмуро, исподлобья, взглянул на Николая Семеновича потемневшим взглядом. Обои сделалось не по себе.

Из столовой доносился грудной смех Надежды — младшей сестры Владимира.

## VIII

С Натальей Владимир увиделся на другой день после приезда. Зайти к ней раньше не удалось: пришлось заняться проверкой прежних связей. Владимир побывал и в адресном столе, и на окраинах. Сведения, им добытые, его не уте-

шили. Одни были взяты солдатами в армию, находились на фронтах, иные сидели в тюрьмах и в ссылках, след некоторых и совсем затерялся. Отдохнув от поисков, Владимир вечером отправился к Золотницким.

Глава семьи, Федор Иванович Золотницкий, в девятьсот пятом году работал в большевистском подполье, позже от партии отошел, успешно и даже, кажется, блестяще закончил курс юридических наук в университете и еще более успешно и блестяще занялся адвокатской практикой, — купил дом на лучшей улице, завел собственный выезд, прослыл хлебосолом.

У Золотницких Владимир застал гостей. Сам Федор Иванович, с виду обходительный, добродушный увалень, успел облысеть и отрастить живот, впрочем умеренный. Золотницкий легко перекачивался по просторным комнатам, весело балагурил и, видимо, нисколько не вдумываясь в то, что, по обязанности, приходилось ему говорить. Он был доволен и гостями, и домом, превосходно обставленным, а больше всего от был доволен собой, своей жизненной удачей. Жена Федора Ивановича, Лидия Петровна, с расписными темными бровями, волоокая и пышнотелая, приходилась ему под стать. Владимира Золотницкий принял радушно, будто давным-давно только и ожидал его возвращения, как он выразился, «к родным пенатам», участливо стал расспрашивать о ссылке, но, едва Владимир сказал несколько фраз, любезный Федор Иванович ловко ускользнул, передав его жене. Хозяйка нашла, что Владимир похудел.

В гостиной, на диване, около круглого стола с бархатными и атласными альбомами, в окружении молодых людей и девиц, витийствовал писатель Бровкин. Накануне войны Бровкин выпустил сборник рассказов. В этих рассказах герои скрежетали зубами, проклинали мир, жаждали могильного покоя, громили пошлость даже среди самых взятых революционеров, после чего впадали в расслабленную изнеженность, меланхолично выражались и о бесплотностях, и бестелесностях, о бесстрастной страсти, о вкрадчивых туман-

ностях, о сладко-медлительных упоениях; упоения и страстиности разрешались совращениями четырнадцатилетних отроковиц со ссылками на людей лунного света. Блуд проповедывался какой-то особый, всемирный и смертоносный. Осторожно трогая эспаньолку необычайно острым, длинным и старательно вырашенным ногтем мизинца, подсыюкывая и делая губы трубочкой, Бровкин, человек довольно кряжистый и с кривыми ногами, рассказывал о необыкновенно яростной немецкой атаке на юго-западном фронте, каковую атаку, со слов его приятеля-офицера, «нам» удалось не только отбить, но и обратить в свою пользу.

— Превосходный сюжет! Превосходный, — внушительно заключил Бровкин.

Из слушателей никто не понимал, какой именно превосходный сюжет таится в голой батальной картине и в отвратительном убое людей, но все притворялись, что вполне с Бровкиным согласны и вполне его понимают, а симпатичная девица в густейших кудряшках, сидевшая рядом с Бровкиным, даже тяжело и от всего сердца глубоко вздохнула, видимо, сожалея, что она еще не умеет обрабатывать превосходные сюжеты.

— Сюжетец для тысячелетий, — прибавил Бровкин, хлопнул по боковому карману, достал серебряный портсигар с замысловатыми вензелями и подозрительно крупными камнями. Бровкин уверен был, что он пребудет «в веках» и что вселенная и все, в ней происходящее, существуют только для того, чтобы предоставлять ему, Бровкину, отменные сюжеты и темы.

Владимир, не дослушав Бровкина, отошел к другим гостям. В столовой, в ожидании чая, беседовали учитель гимназии Никонов с адвокатом Гулковским и с ночным редактором местной газеты — Барсуковым. Рядом с ними помещались две пестро одетых, упитанных дамы и неизвестный Владимиру человек, волосатый и в брелоках, с толстой золотой цепью на обширном животе. Про учителя Никонова рассказывали, что он, страдая запоями, во хмелю забирался на чердаки, откуда в слу-

ховые окна лалял на прохожих по-собачьи. Адвокат Гулковский, приятель Золотницкого, содержал выезд с кучером, обладателем помрачительного зада; означенный кучерский зад, являясь гордостью Гулковского, прославлен был и именит во всей округе.

Беседа отличалась оживленностью и касалась злободневного вопроса об отсрочке военнообязанным. Никонов был уверен: его «не забреют» как учителя. Гулковский надеялся на сорокалетний свой возраст. «И без нас, батенька, народу хватит», — говорил он успокоительно, добродушно откидываясь к спинке стула. Больше всех беспокоился ночной редактор Барсуков. Ему тридцать два года, могут скоро взять: призыв следует за призывом. Впрочем, Земский союз и Союз городов будут давать отсрочки незаменимым работникам. Господин в брелоках с обширным животом снисходительно улыбнулся: неужели серьезно думают, что война будет длительная? Пустое! Современные войны краткосрочны: слишком они дороги и истребительны. Конец не за горами. Немцы будут разбиты. Господин в брелоках, как потом узнал о нем Владимир, был членом государственной думы, трудовиком Корчажинским.

Владимир и здесь не нашел себе места, — подошел опять к хозяину, хотел расспросить об общих знакомых по подполью, но Федор Иванович опять очень легко, ловко и мило ускользнул от Владимира.

Владимир уединился в кабинете и там долго перелистывал журналы. Когда и это ему наскучило, он опять заглянул в гостиную. И тогда увидел Наташу.

## IX

Он увидел Наташу еще из кабинета в полуоткрытые двери. Улыбаясь, невнимательно оглядывая гостей и бессознательно охорашиваясь, Наташа разговаривала с хозяйкой. Коричневое шелковое платье плотно облегалo ее развитую фигуру, на шее сверкало, переливалось чистым и нежным блеском ожерелье дымчатых топазов. Наташа опра-вляла светлые, волнистые волосы.

Коричневое платье напоминало Владимиру один давний вечер. Николай Семенович, он, Владимир, сестра Надя и ее подруга Наташа — обе тогда гимназистки — слушали «Пиковую даму». Владимир, студент первого курса, сидел позади Наташи и чувствовал какими-то подкожными чувствами каждую складку ее гимназического платья, каждый завиток ее волос, каждое ее движение. По неуловимым признакам, по наклону головы, по настороженности всей юной и милой фигуры ее он знал безошибочно, что и Наташа, не оглядываясь, чувствует его тоже особыми подкожными чувствами. Это было обольстительно и жутко. И было прекрасно скрывать это друг от друга и все же знать общую им, но только им одним во всем театре ведомую, стыдную и желанную, тайну. Владимир даже за-таил дыхание. Перед убийством старухи зазвучали потусторонние, мистические мотивы. Несчастье неотвратимо. Низкий, беспокойный и в то же время однообразный и завораживающий мотив поднимался, будто из глубокого могильного подземелья. В спальне старухи Герман (тогда только приобретающий известность красавец Баначич) пел с какой-то тайной силой... Когда он направил на старуху пистолет и она вся затряслась, замахала руками, отшатнулась в предсмертном ужасе, Наташа, не отрывая глаз от сцены, откинулась, точно в изнеможении, к спинке кресла. Бессознательно, должно быть, нашла руку Владимира и трепетно жала ее, — видимо, от испуга и от желания почувствовать около себя кого-нибудь близкого. Трепет ее пальцев потряс Владимира.

Домой возвращались в полнолуние, в бодрый январский мороз. Снег сверкал, дымился, свежий скрип полозьев напоминал о нерастраченной юности, о том, что в жизни еще много необычайного и неизведанного. Наташа решила заночевать у Сарматовых. Дома долго ужинали, делились впечатлениями. Разошлись во втором часу. Комната Владимира помещалась рядом с девичьей спальней. Владимир уже разделся, но в стену постучали; наскоро одевшись, он зашел к

Наде. Она попросила принести холодной воды. Наташа и Надя лежали в одной двуспальной кровати, натянув до подбородка одеяла. Принимая стакан от Владимира, Наташа обнажила руку выше локтя. Белизна ее и округлость ослепили Владимира.

Наташа пригласила Владимира присесть на кровать и потеснилась. Ночные белые чепчики придавали подругам детское выражение. Надя расшалилась, называла Баначича своим суженым, а, отпуская брата, обняла его и крепко-накрепко поцеловала.

— Ну, поцелуй, пожалуйста, теперь и Наташу, — сказала она неожиданно.

Владимир покраснел, нерешительно взглянул на Наташу. Наташа закрыла глаза. Владимир наклонился, вдохнул тепло, пахнувшее анисом, и, пораженный близостью женского лица, робко поцеловал Наташу в трепетавший правый уголок губ и быстро вышел из спальни. Музыкальные фразы, восхищенные Баначичем надины глаза, невольное таташино пожатие, алмазная ночь, чепчики, а больше всего, конечно, поцелуй, слились в одно томительное и вещее чувство.

... Из кабинета Владимир напряженно вглядывался в Наташу. Да, он отлично знал этот наклон влево головы, отягченной светлыми волосами, задумчивое, спокойное лицо, несколько выпуклые глаза, небольшой, умный рот, привычку потирать слегка щеки и подбородок... Промелькнула Москва, первые свидания у храма Христа-спасителя, зимние прогулки по пустынным и кривым арбатским переулкам, студенческие землячества, художественный театр, татьянин день, революционные кружки, споры, ночи на крымском побережье, страстные ночи, когда он приходил к ней в комнату у самого моря в Нижнем Мисхоре...

... К Наташе подошел рослый и статный студент-путеец, черноусый, с копной курчавых волос. Наташа подняла на путейца ресницы, улыбнулась. Хозяйка, Лидия Петровна, взяла студента под руку и, шепелявая на ухо, отвела его в сторону.

Владимир вышел из кабинета. О том, что он у Золотницких, Наташа, очевидно, не знала и, увидев Владимира, в первый момент с удивлением, даже как бы с испугом поглядела на него.

— Владимир, Володя, — воскликнула она спустя мгновение... сделала неуверенное движение, помедлила, наконец, подалась всем телом, обвила Владимира теплыми руками и стала целовать, не сводя с него больших влажных глаз. От нее пахло резедой. Волнуясь, не дослушивая, перебивая и себя, и Владимира, она расспрашивала, как он доехал и почему не зашел к ней еще вчера, и здоров ли он, и что он намерен делать. Владимир торопливо отвечал. Так, разговаривая и видя только друг друга, они машинально двигались по гостиной к кабинету, обходя гостей и, так же машинально, уселись в кабинете на кушетку.

## Х

— Вы изменились, Володя, — уже спокойнее говорила Наташа, внимательно теперь вглядываясь во Владимира и следя за каждым его движением. Уже она отметила себе морщины у него около глаз, обтянутые скулы, поношенный костюм, угловатые движения и что-то резко-обособленное, чего она в нем раньше не находила.

— Да, ссылка... — Владимир с удивлением подумал, что он отвечает Наташе, как чужому человеку. Почему-то взгляд его привлекало топазовое ожерелье, мешая сосредоточиться. Наташа рассказывала о Бестужевских курсах, об общих знакомых, о том, что подруги ее все бредят войной и уходят на фронт сестрами милосердия.

— А вы не собираетесь тоже на фронт? — незаметно для себя и для Наташи Владимир перешел на «вы».

— Может быть, тоже поеду. Не люблю немцев...

Владимир потер переносицу.

— Расскажите лучше еще что-нибудь о себе.

Наташа ответила не сразу.

Опустив голову, она, наконец, медленно обронила:



— Жила не очень весело... должна вам сказать... я, кажется, влюбилась... вот...

Покраснев, она жалко засмеялась. Уголки губ у нее дрожали, руки беспомощно лежали на коленях. Она мельком взглянула на Владимира и тут же опять опустила голову.

— В самом деле? — переспросил глухо Владимир, сознавая нелепость вопроса. Наташа ничего не ответила. В столовой на миг вдруг сделалось почему-то тихо. Тишина влилась в кабинет и будто сковала и Владимира, и Наташу. Слышно было только, как Наташа неровно дышала. Потом в столовой опять зазвучали голоса, зазвенели посудой, вилками, ножами.

Владимир вспомнил черноусого студента-путейца около Наташи, довольное и веселое наташино лицо, когда тот подошел к ней. «Наташа влюбилась в этого путейца» — твердо решил Владимир.

— Может быть, — робко вымолвила Наташа, — вы что-нибудь мне скажете... Скажите... — Она просила жалобно, она не шевелилась.

Владимира одолела рассеянность. Он что-то сказал Наташе и тут же забыл ответ. Наташа о чем-то еще спрашивала, он отвечал, опять забываясь. В памяти сохранились: зеленым абажуром затемненное несчастное и как бы воспаленное наташино лицо, безвольные руки, угол дубового книжного шкафа, книги в золотых обрезах. И книги, и шкаф, и наташино лицо — все выглядело бессмысленно. Не было у Владимира ни сожаления, ни тоски, ни обиды, а только безразличие и глубокая усталость. Мыслей тоже никаких не приходило в голову. Владимир не знал, что делать с собой.

— Скажите что-нибудь...

— Выходите замуж? — спросил спокойно, даже деловито Владимир. Спрашивать об этом было неуместно, Владимир это понял, как только сказал, но, поняв, подумал: «Все равно».

— Выхожу замуж... Не знаю... Может быть... — ответила неуверенно и невнятно Наташа.

Владимир поднялся. Наташа, попреж-

нему жалкая, растерянная, все еще чего-то ждала от него. Несмотря на свое состояние, она, однако, заметила и его рассеянность, и его деревянный, безжизненный вид. Она предпочла бы выслушать упреки, даже оскорбления. Она ждала их. Несколько месяцев готовилась она к объяснению, обдумывала каждое слово, старалась угадать, что он ей скажет. Но объяснения никакого не получилось, и это было всего тяжелее и обиднее.

В кабинет вошел черноусый, статный путейец. Он бросил на Владимира мимолетный и холодный взгляд, молодо и звучно сказал:

— Наталья Александровна. Я вас ищу...

По уверенному тону, по ударению, какое сделал путейец на словах: «Я вас ищу», Владимир убедился, что он не ошибся в предположениях. У студента был нос горбинкой и яркие, точно покрытые кармином, пухлые губы.

— До свидания, Наташа, — вымолвил Владимир неожиданно просто и печально. Наташа хотела что-то сказать, но смешалась и, прощаясь, проводила Владимира длинным взглядом.

Хозяин, Федор Иванович, выразил сожаление, почему Владимир так рано уходит, но усердно его не задерживал.

Ночь Владимир провел в изнурительной бессоннице.

Он встал, когда в доме все еще спали, вышел на пустынную улицу, долго гулял. Днем ходил по адресам, побывал у двух товарищей, узнав от них много невеселого.

## XI

Порою Владимиру казалось, что на людей, еще недавно борющихся с родной азиатчиной, нашло вдруг затмение. Хуже всего вели себя писатели, поэты, публицисты. С отвращением Владимир отбрасывал газеты и журналы. Патристические всхлипывания, неумеренная восторженность, крикливость, слащавое сюсюканье, заведомое лицемерие составались со лживостью, с хвастовством, с проклятиями и предсказаниями. Владимир однажды был свидетелем, как пьяный базарный торговец-лотошник кура-

жился перед полоумным стариком-отцом. Он грозил старику, в чем-то его убеждал, плакал на его груди, звал в пивную, покрывал слюнявыми поцелуями, дыша винным перегаром. Сумасшедший пялил на сына мутные глаза, мычал, вертел головой, смеялся, показывая единственный черный, гнилой зуб. Печать напоминала этого пьяного лотошника, а старая Россия — полоумного старика... И в то же время где-то рядом, шопотом, на ухо, передавали вести о поражениях, о гибели корпусов и армий, о плутнях и грабежах при поставках, о казнокрадстве, о путанице, о бестолочи на фронтах, о невежестве и глупости командного состава.

Русская литература, наследница Белинского, Герцена, Чернышевского, Толстого, Чехова, Успенского, вела себя не лучше: прославленные писатели — Куприн, Андреев, Мережковский и другие — недавние сотрудники самых левых изданий, писали о немецких зверствах, о кресте на Св. Софии, о Дарданеллах, прославляли невероятные доблести русской армии. Герои рассказов, повестей, романов, по воле авторов, не зная, куда податься от житейской чепухи, от безделья, терзаемые утонченными переживаниями, вдруг обретали упрощенный смысл, отправляясь волонтерами на войну, где и погибали героически. Получалось возвышенно и необыкновенно благонамеренно. Поэты прославляли главнокомандующих, министров, угрожали наглым тевтонам последней расправой, призывали не жалеть ни своих, ни чужих животных, следовать примерам Минина и Пожарского, что отнюдь не мешало превесело проводить им время в кабаках, в притонах, где всегда, несмотря на запрещения, можно было достать царской очищенной. Отправлялись в действующую армию и живописно изображали штыковые атаки, ураганные артиллерийские подготовки, наши подвиги и низости врага, «своими глазами» видели летящие снаряды — «чемоданы», посылаемые немецкими «бертами».

... Будучи в ссылке, Владимиру удалось напечатать несколько статей: о Герцене, о Максe Штирнере, о синди-

кализме, о декабристах. Печатался он также в «Правде» и в рабочих профессиональных органах. Теперь об этом не приходилось и помышлять. Писать хотелось о войне, об изменах. Но все сколько-нибудь родственные издания были закрыты. А, между тем, Владимира так часто томила потребность выразить себя в слове! Однако, написанного нельзя было даже «складывать в стол»: оно легко могло сделаться добычей жандармов. Иногда Владимир испытывал глухую тоску и не в состоянии был взяться за книгу. Отягощенный наплывом дум и чувств, удрученный окружающим, целыми часами, до изнеможения, бродил он по городу.

## XII

Надя, младшая сестра Владимира, разошлась с мужем, журналистом Феоктистовым, и поселилась опять у отца. Она брала уроки пения, готовясь в оперу. Надю считали красивой, ее пышно-волосая голова была велика сравнительно с небольшим ее ростом. Но именно этот недостаток и придавал Наде своеобразную прелесть. Гимназистом и студентом Владимир дружил с сестрой. Длительные разлуки, тюрьмы и ссылки, замужество Нади разделили их. С приездом Владимира взаимная отчужденность только усилилась.

Надю окружали актеры, певцы, рецензенты, хроникеры, военные инженеры, летчики. Они расправляли усы, дрыгали ляжками, блистали проборами, пахли помадой и фиксатуаром, табаком и коньяком, рассказывали анекдоты, от которых сами первыми смеялись, отважно изрекали о войне обычные в те года пошлости. Николай Семенович изредка заглядывал на надины субботники; выслушивая самоуверенные рассуждения поручиков и штабс-капитанов, оперных певцов и газетных работников, он конфузливо потирал руки, глухо покашливал, стараясь не встречаться взглядами с Владимиром, если тот ненадолго появлялся среди гостей.

После первого разговора о войне и Николай Семенович, и Владимир избегали о ней говорить друг с другом. Но

Владимир знал, что отец принимает участие в ширококвещательных обществах помощи больным и раненым войнам. В местной либеральной газете Николай Семенович поместил недавно статью, в ней утверждал, будто война приведет к укреплению братства среди славянских народностей, но для этого же укрепления надо решительно разгромить немцев и австрийцев. По поводу помянутой статьи Владимир не утерпел и напомнил отцу Карла Клаузевица.

— «... Все знают, что войны вызываются лишь политическими отношениями между правительствами и между народами; но обыкновенно представляют себе дело таким образом, как будто с начала войны эти отношения прекараются и наступает совершенно иное положение, подчиненное своим особым законам. Мы утверждаем наоборот: война есть не что иное, как продолжение политических отношений при вмешательстве иных средств».

Николай Семенович, выслушав Владимира, заметил:

— Бездушно все это, Володя... механично, и я сказал бы, уж очень цинично.

— Голая правда, без химер, без ложной чувствительности.

— Без химер человечеству не жить, друг мой.

— Человечеству сейчас нужна прежде всего правда. В наши дни нет ничего вреднее иллюзий. С нами не постеснялись: нас грабили, у нас отнимали юность, мечтательность, нас лишили лучших видений детства. Не постесняемся и мы, отец. Мы готовы теперь на многое. Для этого нам нужна суровая и неподкупная правда.

Николай Семенович пристально взгляделся в сына. Владимир сидел у окна. Отгорал зимний закат. Профиль лица у Владимира, тонкий и неподатливый, резко выделялся. Около уха бледная кожа была туго натянута. Владимир сидел неподвижно, был спокоен, но каким-то недобрый спокойствием.

«Да, они вполне готовы. Во имя своей правды они никого не пожалеют: ни друзей, ни родных» — Николай Семенович постарался отогнать от себя

неприятные мысли. Владимир медленно поднялся...

— Отец, ты помнишь у Тургенева одно стихотворение в прозе: в комнату, где много людей, влетело странное насекомое, похожее на муху, грязно-бурого цвета, голова угловатая, яркокрасная; оно то летало, то садилось, жутко и противно шевелилось, возбуждая отвращение. Все кричали: гоните его прочь, но никто не решался подойти. Один молодой и бледнолицый человек оглядывал всех с недоумением. Он не понимал, почему так кругом волнуются. Он не видел никакого насекомого. Вдруг она уставилась на него, взвилась и ужалила его в лоб. Человек упал мертвым...

— Что ты этим хочешь сказать? — спросил с недоумением Николай Семенович.

Владимир криво усмехнулся, неохотно ответил:

— Почему-то вспомнилось... Мне часто теперь вспоминается это странное стихотворение...

Не взглянув на Николая Семеновича, Владимир поспешно вышел.

Спустя несколько дней Надя, защищая своих гостей, в сердцах обозвала Владимира тюремной крысой. Несмотря на уговоры Николая Семеновича, Владимир оставил его дом, сняв комнату. Два урока обеспечивали ему в необходимом жизнь.

### XIII

Возвращаясь из ссылки на родину, Владимир знал, что подполье сильно пострадало; однако, он не предполагал, что дела шли настолько плохо. Город стоял на Волге, бойко торговал, имел несколько крупных заводов и фабрик, славился радикальной интеллигенцией. Когда-то, и совсем еще недавно, студенты, курсистки, врачи, присяжные поверенные, газетные и журнальные работники помогали подполью, правда, далеко не с такою готовностью и не в таких размерах, как это делалось в девятьсот пятом году. Давали явочные квартиры, собирали деньги, прятали литературу, помогали заключенным, а некоторые, впрочем немногие, входили и в организацию. Все это оборвалось

теперь. Остались разрозненные рабочие кружки, предоставленные самим себе, без средств, без лекторов, без всего подвижного и вспомогательного аппарата. Одни из бывших участников движения маялись по тюрьмам и ссылкам, другие, запуганные жандармами, смиренно отсиживались по своим углам, третьи, оглушенные событиями, не знали, что надо делать; многие, и таких насчитывалось большинство, покорно повторяли газетные мысли и лозунги. Товарищ по университету, земец Костров, обстоятельно и со вкусом убеждал Владимира, будто истинный интернационализм в том и состоит, чтобы признавать за каждым народом право защищать свое отечество: «Немецкие социалисты обязаны защищать свое отечество, а мы будем оборонять нашу родную Русь. Терпимость, мой друг, терпимость. Надо быть западником».

Встретился Владимир с журналистом Сидоркиным. В прошлом Сидоркин «освещал» жизнь союзов, клубов, больничных касс. Теперь он, теребя Владимира за пуговицы, спокойно оглядывалась, приближая лицо с близорукими глазами так, что Владимир должен был все отклоняться назад, шептал скороговоркой:

— Я же говорил: подполью выходит полный карачун. Отставка. Понимаешь... Я же говорил: подполье — тормоз, пережиток, оранжерея, сектантство и буквоедство, мышьяная суета, игра в бирюльки, преступная трата сил и людей. Понимаешь! Выдержали испытания только открытые организации... Знаю, наперед знаю, что хочешь сказать... — Сидоркин неистово замахал руками с плоскими грязными ногтями. — Брось свои иносказанья... Нужны трезвые, реальные дела, а не голые призывы. Немцы, братец ты мой, не шутка. Берн с них пример, ей-ей! На что они опираются в войне? Они, между прочим, опираются на открытые массовые союзы и партии... Да... Да... Потому они и непобедимы... Подумай серьезно об этом, советую... Я же говорил... понимаешь... Но... впрочем... извини меня... Дел во — по самое темя... Спешу... Заглядывай... — Сидоркин сделал ручкой, по-

правил окуляры, скрылся в ближайший переулок.

Другой товарищ Владимира, инженер-технолог Громов, при первой же встрече стал повествовать с необыкновенным самодовольством и смаком о своих успехах по службе и в обществе. Он пропускал мимо ушей, что говорил ему Владимир, и не спросил, хотя бы из вежливости, как жилось его товарищу в ссылке. Владимиру казалось, что перед ним помешанный и что помешался Громов на самом себе.

Сойтись с рабочими кружками тоже не удалось. То отменялись явки, то сообщался неверный адрес, то Владимир не заставал, с кем надо было повидаться, то знакомство с указанным товарищем ни к чему не приводило, а однажды Владимир напоролся на засаду и едва ушел от дворника и охранника, погнавшихся за ним. Спас трамвай. Никакой пророк не приемлется в отечестве своем, — библейская истина лучше всего оправдывалась в подполье родного края. Власть знали Владимира и не спускали с него своих глаз. Владимир шифром запросил друга Савелия о поездке на Юг.

#### XIV

Душевная жизнь Владимира в те дни была напряженной. Владимир весь подобрался. Чувства и помыслы слились воедино, подчиняясь одной большой, главной мысли и одному самому большому и самому главному чувству. Главное же и самое большое была война, смерть, разорение. Выглядел теперь Владимир сосредоточеннее, суше. Он лучше владел собою, хотя и раньше он обычно себя не распускал. Глаза у него будто позеленели, кожа около ушей натянулась еще сильнее. Вместе с тем, Владимир казался спокойным. Он только реже смеялся, и смех у него выходил невеселый.

... Каждый день оставлял памятные следы. Сердце стало обнаженным. Время пропахло слезами, кровью, могилой. На вокзале, случайно наблюдая отправление воинского эшелона призывников, Владимир обратил однажды внимание

на молодого солдата, видимо пригородного крестьянина. Он прощался с дочерью лет восьми и с трехлетним сынишкой. Девочка, одетая в рваный и грязный овчинный полушубок, придерживая за руку братишку, не сводила с отца больших потемневших глаз. Взгляд ее был скорбный, угнетенный, — деревенский взгляд взрослой женщины. Отец гладил детей по головам, не зная, что сказать им, чем утешить, беспомощно оглядываясь, точно искал поддержки и ободрения. Дети вели себя тихо и покорно, но, когда поезд тронулся и призывник, стоя вместе с другими в дверях теплушки, снял шапку, откинул привычным жестом волосы, перекрестился истово и вытер кулаком сухую и грязную слезу на корявой щеке, девочка сорвалась с места и, увлекая за собой братишку, бросилась бежать за вагоном.

— Тятя, тятенька! — кричала она надрывным, тонким голоском.

— Тятя, тятенька! — Платок сбился у нее на глаза, она поправляла его движением взрослой женщины, полы полушубка били по худым и острым коленкам. Малыш не попевал за сестрой, спотыкался, сестра тащила его.

— Тятя, тятенька! — Ветер раскидывал ее крик по перрону, звонил колокол к отправлению скорого поезда, паровозные гудки в депо заглушали детский голосок вместе с лязгом и стуком колес; поезд скрылся за зданиями, а девочка все еще бежала, тащила братишку и, задыхаясь, продолжала кричать...

Владимир подошел к детям. Сначала они ничего не отвечали, но потом ему удалось узнать, что живут они в слободе за оврагом. «Мамка» на проводы «папани» выйти не могла, застудилась и мечется в жару, и ей все хочется пить, а больше из взрослых никого в семье нету. Владимиру представились миллионы таких же детей, с криками: «Тятя, тятенька» — провожавших отцов своих в России, в Германии, во Франции, представилось их неизбежное горькое горе, и ему стало жутко.

... Сердце стало обнаженным, повсюду мерещилось страшное, бессмысленное, беспощадное: в сухих сводках ставки,

в умолчаниях, в хвастливых донесениях, в бесчисленных воинских эшелонах, пожираемых ненасытной пастью войны, жаркой и кровавой, в самом воздухе, тлетворном и губительном. «Оттуда» возвращались жалкие обрубки, уроды. Патриотический гам тщетно силился заглушить предсмертные хрипы, вопли и проклятия.

Владимир ничему больше не удивлялся: ни человеческой глупости, ни предательствам и изменам, ни наглости и жестокосердию, ни слепоте и наивности. Все больше привыкал он откидывать случайное, не связанное с главным. Его не тянуло к знакомым, так как среди них он чувствовал себя чужим и одиноким. Не побывал он ни разу ни в театре, ни в других общественных местах, хотя в ссылке неоднократно мечтал об опере, о концертах, о драме, о научных докладах. В размышлениях Владимира появилась некая торжественность, будто он готовился к самому значительному в своей жизни.

После вечера у Золотницких он ни разу не повиделся с Наташей и встреч с нею избегал.

В январе от Савелия пришло письмо с явочными адресами в промышленный южный город. Одолеваемый охранниками, Владимир заспешил с отъездом.

## XV

Накануне отъезда Владимир днем побывал у отца и на прощанье помирился с Надей. Примиренье, однако, получилось вынужденным. Пришлось посетить еще несколько знакомых. Возвратился Владимир к себе вечером, голодный и усталый. Он приготавливал на спиртовке чай, когда неожиданно вошла Наташа.

— Не ожидали? — спросила Наташа, вбирая одним взглядом и Владимира, и скудную обстановку: железную койку, два стула, стол, полку с книгами, чемодан. Владимир был смущен. Смущена была и Наташа. В единственное окно светил месяц. От низко приспущенного абажура в комнате расплывались глухие сумерки. На столе, в газетных свертках лежали продукты, жестяной чайник с помятыми боками еще больше

прибеднял окружающее. Наташа, согревая дыханием озябшие руки, подумала, что Владимир одинок, но не обращает на свое одиночество внимания и, может быть, его даже и не замечает. С семнадцати лет ютится он по углам, сидит по тюрьмам, в безвестности, пользуясь сочувствием и поддержкою лишь узкого круга друзей, таких же, как и он, отверженцев и отщепенцев. «Меня он тоже не замечает». — Глухая неприязнь к Владимиру, смешанная с жалостью, охватила ее.

— От Нади я узнала, что завтра вы уезжаете. Вы не нашли нужным даже проститься со мной.

— Я просил Надю передать вам поклон.

Наташа усмехнулась...

— Спасибо.

— Помешали дела...

— Вы стали вежливы...

Наташа сидела близкая, желанная и в то же время чужая и далекая.

Владимир с преувеличенным вниманием следил за спиртовкой. Наташа трогала ладонями щеки. Из угловой комнаты квартиры через коридор доносился незатейливый вальс. Наташа поднялась, лицо ее вспыхнуло, она отошла к окну, прижалась лбом к запущенному снегом стеклу, пытаюсь, видимо, охладить себя, но щеки краснели все сильнее и сильнее. Не своим голосом Наташа спросила:

— Вы не играете на пианино?..

Владимир с недоумением посмотрел на Наташу.

— Вы знаете, я не умею играть ни на каких инструментах.

— Откуда я знаю? Может быть, за эти годы вы научились прекрасно играть? Может быть, вы прекрасно поете?

— Нет, я не пою.

Наташа повела плечом, пристально глядя на Владимира выпуклыми блестящими глазами:

— Жаль. Не мешало бы научиться петь. Вероятно, вы недурно бы пели.

Владимир провел рукою по лбу, сумрачно вымолвил:

— Вы пришли надо мною издеваться?

— Могу уйти.

— Я не предлагаю вам уходить. Наоборот, я рад вашему приходу.

В верхнюю половину окна было видно, как по небу неслись белесые облака. Месяц то пропадал в них, то вновь появлялся, сея тишину и сон.

— Я все же ничего дурного не сделал вам, Наташа.

Нетерпеливая гримаса исказила лицо Наташи; с нескрываемой злобой (и как бы даже с презрением) она резко сказала:

— Все же... любимое ваше выражение... Все же... Думали ли вы когда-нибудь, что я — здоровая, молодая женщина? Вы думали об этом?.. Вы серьезно об этом думали?

Наташа подошла к столу, глаза ее сделались еще более выпуклыми.

— Знаете вы, чувствуете вы, что мне нужны дети? Хочу быть матерью... вы не замечаете людей, даже самых к вам близких...

— Припомните, Наташа, вы сами не поехали за мной в ссылку.

— Я не поехала с вами в ссылку не потому, что боялась лишений и что мне надо было учиться. На все готова я была пойти! Готова была рожать и воспитывать детей в нужде, в холоде. Но у вас ко мне было только это ваше «все же». Я знала: это «все же» на целую жизнь, до гробовой доски. Я для вас — подробность. Вот почему я не доехала с вами в ссылку... — Наташа умолкла, потом, уже тише, прибавила: — Может быть, вы хотя бы теперь, хотя бы немного поймете, почему я выхожу замуж за Артемьева...

Наташа вновь отошла к окну и обернулась к Владимиру спиной.

Владимир негромко вымолвил:

— Производить детей — наука нетрудная. Труднее разумно и справедливо устроить жизнь.

Наташа круто обернулась, не спуская с Владимира пристального взгляда, твердо перебила:

— Производить детей — самая трудная и самая великая наука. Этого вы никогда не поймете. — Тряхнув головой, будто что-то от себя отгоняя, холодно попросила:

— Проводите меня домой.

## XVI

Пустынными переулками они вышли на Торговую площадь. Падали редкие, мохнатые хлопья. Около ресторана дежурили лихачи. У самого под'езда перебирал ногами серый рысак с шелковистой шерстью, блестящей от ресторанных огней.

— Возьмем лихача, — неожиданно сказала Наташа.

Они подошли к серому рысаку. Чувствуя, что на него смотрят, рысак поднял уши, скосил глаз, глаз сверкнул рыжим огнем. Крутая и сильная линия крупа была горделива. Лихач оказался незанятым. Когда Владимир и Наташа усаживались в санки и круглолицый, рослый парень, лет двадцати семи, застегивал медвежий полог, ближайшего к ним вороного рысака взял человек в черной поддевке, в белых валенках и в башлыке. Серый рысак, крепкогрудый, подобранный, с точеными, резкими ноздрями, пошел ровной рысью, разбрасывая снежные ошметины...

Медвежий полог скоро покрылся серебряной пылью. Вместе с ветром пыль славно и свежо била в лицо. И от быстрой езды, и от серебряной пыли Владимир и Наташа оживились и повеселели.

— Хорошо, — прошептала Наташа, прикладывая муфту к порозовевшим щекам. На ресницах ее дрожали пушинки снега, каракулевые шапка и воротник побелели от инея.

— Тебе не холодно, Володя? — спросила она, наклоняясь.

— Не холодно, Наташа, — ответил Владимир, влагая в последнее слово сдержанную ласку. — Нет, мне не холодно, Наташа, а тебе?

— Хорошо, — опять прошептала Наташа.

И вот все пережитое, — расхождение с друзьями, с семьей, с ней, Наташей, неудачи в работе, от'езд на Юг, в неизвестность, — вдруг осталось позади. Была морозная, синяя ночь, русская ночь — снежинки, бодрая жемчужная пыль, мельканье домов, деревьев, прохожих, были наташины серые глаза, ее потеплевший, опять родной голос, се-

рый рысак с трепетом сухих мускулов и кожи, крутобокий и крутогивый... что-то прекрасное, горячее прикипало к сердцу, разливалось по всему телу, полонило мысли и чувства.

Длилось это, впрочем, недолго. Уже тревожило Владимира нечто смутное и неприятное. Не понимая еще, что это такое, он оглянулся: шагах в ста двадцати шел вороной рысак. Он спокойно держал расстояние, не отставая, но и не приближаясь. И тут Владимиру припомнился человек в поддевке и в белых валенках. Владимир встретил его вчера около своей квартиры. Итак: за ним увязался охранник. Владимир опять оглянулся: вороной попрежнему держал расстояние. Владимир тронул за плечо лихача: «Побыстрее». Лихач, будто нехотя, пошевелил вожжами. Серый рысак стал набирать рыси. Наташа, полагая, что Владимир попросил лихача для нее, тихо сказала:

— Спасибо... отлично...

Серый рысак, опоро выбрасывая передние тонкие, но необыкновенно крепкие ноги, шутя обгонял извозчиков поширокой Никольской улице. Но вороной не отставал. Владимир сказал лихачу: «Надо, чтобы вороной отстал».

Лихач пренебрежительно тряхнул головой:

— Дело нетрудное. — Тут он выпрямился, приосанился, повел плечами, поправил шапку, и тогда Владимир увидел, что до сих пор лихач считал их несостоящими седоками и только терпел их. Парень вдруг врос в облучок, прижал слегка локти к бокам, сделал переборку вожжей, натянул их, руки у него стали железные. Он несильно гикнул, серый рысак одним махом вынес санки далеко вперед, все больше и все сильнее надавая...

## XVII

Только теперь можно было по-настоящему оценить рысака. Отделяя хвост и вытянув гибкую шею, он едва касался земли, и в беге его не чувствовалось никакого напряжения. Дорога, дома, деревья, пешеходы сорвались с мест, завертели, полетели, причиняя опьянтельное и радостное головокружение.

Морозная пыль колко хлестала в лицо, ветер обжигал щеки, лиходействовал, беззастенчиво забираясь в рукава, за шею. Улица перекосилась и словно опустилась. Владимиру мерещилось: он и Наташа остались одни во всем мире над все поглощающей, безрассудной и влекущей к себе бездной. Он растворялся в упоительном и стремительном полете, потерял время и едва ли ощущал себя...

Потом он вспомнил о человеке в поддевке, оглянулся: вороной едва-едва виднелся, возможно, то была другая лошадь. Владимир приказал лихачу свернуть на Нижнюю улицу. От быстрой езды она выглядела незнакомой.

... Вдруг Наташа подалась к Владимиру, в изнеможении и в забытых прижалась к нему, не оборачиваясь и на него не глядя.

— Володя, — прошептала она страдальчески, откинула голову и зажмурилась. Владимир наклонился над ней. Губы у нее беззвучно раскрылись, лицо поbledнело, под глазами обозначились темные круги.

— Володя, — опять прошептала почти беззвучно Наташа и опять умолкла. От шопота на Владимира нашло новое затмение, он пошатнулся. И тогда, одновременно, медленно, движение в движение, будто по уговору, они обратились друг к другу и поцеловались долгим, мучительным поцелуем. Наташа застонала. К каждому мускулу Владимира хлынула такая горячая и страшная жажда жизни, такая боль и тоска, что он едва не задохнулся и стиснул зубы.

— Пусть вечно, пусть вечно мчится, — невнятно лепетала Наташа, опять страдальчески, упоенно и страстно прижимаясь к Владимиру. Точно сквозь сон, видел Владимир запущенную инеем липовую аллею бульвара, бездонные просветы неба меж разорванными краями туч, трепетавшие звезды, видел широко раскрытые, непонятные и тоже бездонные наташины глаза, ощущал всем телом теплоту ее рук, ее ног, всю ее, желанную и вновь родную. Они неслись куда-то в неведомые пространства, испытывая нечто колдовское. Сознание вспышками освещало медвежью по-

лость, широкую, ладную спину лихача, край облучка, конец оглобли. Легкий могучий бег рысака стремительно рывал улицу.

— Пусть вечно, пусть вечно мчится, — одними губами, в блаженстве, в отчаянии, в тоске, в страсти, в безумии шептала Наташа. Бледная, бессильная, она напоминала усопшую. Черты лица ее заострились, потемнели, закаменели. Что-то губительное, ведьмовское, какое-то мертвое и непостижимое очарование мерещилось в них, и не было сил от них оторваться. Настоящее перестало связывать прошлое с будущим. Ветер свистел и завывал дико в ушах, снег слепил глаза, колот, резал лицо: Владимиру мерещилось, что и рысак, и он, и Наташа, и лихач слились в нечто единое, одушевленное одной жизнью...

... Владимир пришел в себя, оглянулся: вороного не было видно. Лихач спрашивал, куда дальше ехать, Владимир сказал наташин адрес. Серый рысак перешел на машистую рысь.

Отпуская лихача, Владимир невольно опять залюбовался конем, трепетом его атласной кожи, — особо тонкой на голове, — его шей, гордой и победной, его стальными связками. От рысака шел пар, падали клочья желтой пены.

— Добрый конь, — сказал лихачу Владимир.

— Ничего конек, — ответил паренек, пряча деньги. — Старателем прозывается... Добытчик наш... им и живем одним.

Рысак скосил глаз, и он опять сверкнул желтым пламенем.

Лихач медленно отъехал. Владимир и Наташа замешкались у под'езда.

— Уезжаете? — спросила Наташа, очевидно только для того, чтобы сказать что-нибудь. Они стояли с опущенными ресницами. О, как хорошо знал Владимир значение этих опущенных ресниц!

— Пойдем к тебе! — чуть слышно вымолвила Наташа, не поднимая ресниц.

Где-то за забором, по соседству, звякнула щеколда.

— Ко мне нельзя, — после долгой паузы глухо ответил Владимир. — Сейчас



за нами гнался сыщик. Он сторожил мою квартиру еще вчера. Сейчас мы от него ушли, но он непременно будет ночью опять меня сторожить. Я дома не ночую...

— Где же вы проведете ночь? — спросила Наташа безжизненно, незаметно для себя и Владимира переходя на «вы».

— Еще не знаю, у кого-нибудь из знакомых.

Наташа закрыла муфтой лицо.

— Прощайте, — с трудом молвила она, взглянула на Владимира враждебным и одновременно запоминающим взглядом, не сделав к нему ни одного

движения. Она точно замерла... Месяц показался из-за облаков, от серебристого тополя, где они стояли, пала длинная, негустая тень. Далеко, где-то на задах, на окраине, бездушно стучала колотушка. Наташа медленно пошла к подьезду. Владимир спрятал голову в поднятый воротник.

Ночь он провел у студента Петровского.

Уехал Владимир без осложнений. На вокзале, правда, суетился сыщик в черной поддевке и в белых валенках. Владимир боялся, что его задержат, но, когда подали поезд, он удачно отделался от охранника.

*(Окончание следует)*

---

# Час торжества

Рассказ

Георгий НИКИФОРОВ

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Сергей Протасов вынул из кармана круглое зеркальце, такое зеркальце обычно достается в виде премии к шоколаду или его выигрывают на рынке в рулетку. В зеркальце этом увидел Протасов только одни глаза, свежие двадцатисемилетние глаза, не отточенные опытом, увидел и вспомнил о недавнем подарке возлюбленной...

«В ту пору, когда не вели еще летоисчисления, она дарила ему горсть разноцветных ракушек или ветку папоротника, это было высокой наградой за любовь».

Протасов обнюхал картонную рамку зеркальца, запах дешевой пудры напоминал музыку, которую воображают и никогда не слышат, музыку эту приносят из далеких стран детства, и только некоторые, избранные натуры, ухитряются сохранить ее до конца.

За железнодорожным полотном висел длиннохвостый дождь отощавшей тучи, неожиданно возникшей в прозрачной синеве. С откоса, кривляясь, разбежался к пустырю редкий березнячок. Тлеи в неподвижности вспотевшие травы, и тонко благоухала тысячевековая пыль, легкая, как дыхание. Природа городской окраины в этот час казалась праздничной, под лучами присмирившего за козым облаком солнца.

А может быть, ничего и не было, и все жило в воображении, когда хочется видеть необычайное и конечно же прекрасное. Торжественный час любви все-

гда изысканно красив, хотя, случается, приходит он в такие места, о которых неприлично говорить, но никогда этот час не загрязнял своих светлых одежд, и бывает еще, когда любовники, встретясь, болтают несусветную чепуху, и все же чепуха эта воспринимается обоими как нечто совершенно гениальное.

Бессознательно прихорашиваясь и обираясь, обнаружил Сергей Протасов в карманах потрепанного пиджака разные, давно бесполезные вещи (зеркальце не в счет): вырезки из газет, с потерянным содержанием, кусочек бечевы, пустой со свищом орех, записку исчезнувшего друга, полинявшую фотографию умершей матери. Недоуменно разглядывая вещи, хотел было освободить карманы, но мысль, хотя и далекая, а все же властная, задержала руку.

«Друг, может быть, вернется, газетные вырезки нужно еще раз перечитать, полинявшую память о матери жалко выбрасывать». И вот среди этого хлама необычайно ценное и необходимое: свидетельство об окончании вуза, о звании архитектора, талантливого (по всем предметам весьма удовлетворительно), с большим будущим, архитектора Сергея Протасова, этим и хотелосе козырнуть перед ней, семнадцатилетней девицей, которую называл он пушистым именем: «заяц». Она всего-навсего телеграфистка, но все-таки он, гордый архитектор, просил ее по телефону о свидании. Лишний (или не лишний?) раз увидеть синие глаза, безвольный, но все же милый подбородок, свалившуюся на сторону

прическу и — что там еще? — влажные губы с неподдельной окраской, которые он будет целовать, ликуя и волнуясь от приближения.

Протасов поглядывает на карманные, в стальной оправе, часы, следит за мелькающими вагонами дачных поездов, наблюдает за вобгим полустанком и все ждет, что вот-вот от полустанка к пустырю не пройдет, а пронесется в воздухе возлюбленная.

Еще раз смотрит на стрелки часов и небрежно опускает их в верхний карман пиджака: «Ах, она, разумеется, лучше всех: умнее, изящнее, милее, и... господи боже, даже странно, что ее никто еще не перехватил на пути к нему».

Снова вынул часы. Они занимали небольшую площадь на широкой мужественной ладони, зато стрелки уходили за границы этой ладони и насмешливо показывали половину седьмого. Любимая не щадила самолюбия «знаменитого» архитектора и опаздывала на полчаса.

А пустырь между прочим замечателен, он очень ровен и широк, сорная трава вперемежку с польньей, как мягкое ложе для вечернего солнца, к тому же, если убрать кособокие березки, увидишь далекий край неба.

Сергей Протасов идет к полустанку, машинально отсчитывая шаги, он пересекает обширный пустырь по диагонали, увлекается шагистикой, как землемер, которому срочно поручили отвести пустырь под застройку, — на ходу еще раз справляется о времени, часовая стрелка срезала цифру семь, минутная пробежала восемнадцать делений к восьми.

«Что ж, в любви всегда бывает так: знаменитость остается в забвении, а какой —нибудь помделопроизводителя пользуется всяческим вниманием и, будь он проклят, в глазах прекрасной женщины прекрасен и несравним».

Протасов не кладет, он швыряет в оттопыренный карман часы свои с насмешливыми стрелками.

«Он уедет на много-много лет, и свиданье в этот вечер назначено с целью позвать ее с собой или проститься. Со временем по его проектам построят де-

сятки великолепных фабрик, может быть, величественных дворцов, потом, встретясь с ней, он с грустным удивлением скажет: «Ах, вы меня не знаете? Я автор величайшей в мире электростанции, да, да, я — Сергей Протасов, не помделопроизводителя при начальнике полустанка Дергачи, а Сергей Протасов, известный каждому грамотному человеку архитектор, так точно, имею честь кланяться...»

Господи боже, скоро восемь часов...

«Любимая милее всех, прекраснее всех, нет равной на свете, но глупо же шагать по пустырю, который, по приблизительному подсчету, имеет девять квадратных километров, мучиться и строить догадки насчет помделопроизводителя».

Разочарованный студент в последний раз глядит на проклятые часы, он с остервенением швыряет их в карман. Возлюбленная не пронеслась в воздухе на фоне косого облака, и Сергей Протасов бежит к далекой трамвайной остановке...

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Вот как будто все уж и прошло, или просто не было времени прислушаться к самому себе оттого, что жизнь казалась буйным танцем, когда громко и особенно радостно колотится сердце, предметы множатся в глазах и в каждом взгляде дробится разгульное солнце.

Прошло пять с половиной лет, Сергей Протасов давно утерял свидетельство об окончании вуза и, пожалуй, утерял память о возлюбленной, во всяком случае ее хорошо отгородили высокие стены фабрик, заводов и дворцов, сооруженных по его проектам: на Кавказе, в Сибири, на Урале и по берегам великих рек.

Он получает иногда приказы как непреложные законы, которым привык повиноваться, он приказывает сам, и его приказы выполняются рабочими и многими инженерами тоже как законы, но и в приказах видит знаменитый архитектор Сергей Протасов частицу своей воли и желаний своих и нередко слышит свое имя.

Кто-то докладывает, этот «кто-то» постоянный личный секретарь, такой незаметный, но необходимый в работе.

Уважительно склонив голову, он мягко выговорил:

— Получено предписание из центра о немедленном выезде в Москву...

— Вот как! Это зачем же?

— Фабрика, та, что вызвала когда-то оживленные споры, построена. Ваш проект, Сергей Андреевич, все находят блестяще выполненным. Там считают, что вам необходимо присутствовать при открытии, вы так много и долго работали над этим произведением.

В международном вагоне, разбирая бумаги и чертежи, архитектор обнаружил письмо. Она писала ему по-детски наивно, хотя возраст ее приближался к двадцати трем годам.

«Милая телеграфистка» — улыбнулся он, припоминая давно позабытые слова ее любви.

«Десятого, в шесть вечера, там же, где когда-то встречались мы, — писала она. — Очень хочется видеть, каким ты теперь стал, о тебе много пишут и еще больше говорят...»

«Вот как, — догадался он, — значит, она слышала, что я приезжаю. Ну что ж, попытаюсь быть ровно в шесть вечера, десятого... А как же с помдело-производителя?»

Он рассмеялся, как смеются дети своей незамысловатой выдумке, и тут же вспомнил: три года тому назад, работая над проектом фабрики, он все время видел перед собой далекую возлюбленную, и как-то случилось так, что место для фабрики выбрал Сергей Протасов как раз на том пустыре, где росли кривобокие березки.

Поезд мчался, казалось, с необычайной стремительностью, похоже, хотел догнать то прошлое, которого никто еще не ухитрился догнать. Но улыбка Сергея Протасова уже яснее, глаза прозрачнее, жесты перестали быть порывистыми, голос обмяк, а мысли торопливо заготавливали нежные слова, делая самый строжайший отбор. Можно рассуждать как угодно, однако в ночь перед Московской архитектор не мог уснуть и просидел в вагон-ресторане, выбалтывая секретарю своему что-то такое об искусстве, о жизни художника и о любви.

Долгое ожидание встречи с ней сделало его необычайно сдержанным и, пожалуй, чуточку мрачным. Что же это такое? Оказывается, во всех его проектах незримо участвовала она, — так вот откуда его сила и вдохновение!

На другой день к условленному часу свидания он неожиданно стал очень спокоен, обдумывая речь, которую он должен был сказать рабочим на открытии фабрики. Садясь в автомобиль рядом с шофером, Протасов заметил стрелки часов, показывающие семь.

Никелированная борзая на радиаторе «линкольна» рванулась, и автомобиль понесся кривыми улицами Москвы.

«Я так торопился, что опаздываю, чорт меня возьми» — взволнованно подумал он, искоса взглянув на шофера, и шофер догадался, или он, может быть, услышал нечаянно произнесенные вслух слова. Мотор глубоко и сильно вздохнул, стрелка спидометра дернулась к ста километрам, и шоссе стало падать, как сорванный с прикола брезент, а еще через пятнадцать минут, в облаке осевшей пыли, в стороне от фабрики, возникло белое облако из кисей и прошивок, — самое лучшее платье его возлюбленной.

Машина остановилась. Около фабрики, окруженной молодым парком (парк был предусмотрен проектом), гремела музыка, час торжества приближался. Вдруг над бывшим пустырем пронеслась она, и Сергей Протасов увидел знакомую синеву глаз и голос услышал, такой близкий, как будто слышал его только вчера.

— Ты опоздал, мой милый, на целый час с четвертью, вот погляди,—и в ее руках знаменитый архитектор Сергей Протасов увидел старые часы свои в стальной оправе. Стрелки показывали четверть восьмого.

— Ты потерял часы, Сергей, помнишь, тогда, пять с половиной лет назад.

— Нет,—возразил он,—это ты потеряла их.

Сказал и улыбнулся, как улыбается солдат после длительной борьбы, в которой он оказался победителем.

# Лирические стихотворения

НИК. ЗАРУДИН

I. М. Ю. ЛЕРМОНТОВУ

Пятигорск! Кому знаком  
Жар души с убитой песней...  
Для кого любимый дом  
Ближе всех и неизвестней.

Дует солнцем. Тьмой услуг  
Лист разложен. И фиалок  
Темнобархатный испуг  
Льнет прохладою из балок.

И, подняв седой пикет,  
Всех туманов кликнув банду,  
Снеговых хребтов поэт  
Вечность просит на веранду...

Дым Кавказа и чубук  
Вижу я в часы открытий,  
И простреленный сюртук  
Над обвалами событий.

И зеленой жизни дуб,  
Имя чье для всех знакомо,  
Честь и верность смертных губ  
У родительского дома.

Пятигорск! Уже во сне  
Терпкий чад от Карачая...  
Пятигорск! В летучей тьме  
Светит бабочка ночная...

Пятигорск! Смертельный спор  
На краю, где свет и бездна,  
Снеговые письма с гор  
С тишиною у разезда.

Как дымок, в горах что гас,  
Чуть курясь от пистолета,  
Ты прими в последний час  
Неизвестного поэта.

И верни издалека,  
Напоив коней у Дона,  
Тень валдайского звонка  
И прощального поклона.

II.34.

## II. КУБАНСКАЯ ПЕСНЯ

Пахнет ночь укропом у колодца,  
Золотой казачий месяц светит...  
Не вернется — и не шелхнется:  
Ветер сада больше не приветит.

За рекой роса гуляла ранью  
Босиком дорожкой непрямой...  
Далеко за темною Кубанью  
На степи одна заснула хата.

То заснул давно в перине пышной  
Под землей казак Скоробогатов...  
Не дохнет. В глазастых, черных  
вишнях  
Поприжались ветки к белым хатам

Поприжались да глядят за хаты,  
Где пшеница шорохом до моря  
Схоронилась в звездах непрямых  
Нам — на радость, прошлому —  
на горе.

12.VII.30.

## III. СОСНА

Заранее ищет весна  
Порывами вздохов глубоких,  
Где мачтой гудела сосна  
Под звездами песнь одиноких.

И лишь разгорается миг  
Зари на сереющем свете,  
Тебя на отмашку заметит  
Рябой и усатый лесник.

И рубка придет. И вздохнет  
Вся жизнь — где шумело и дуло...  
И небо за треском и гулом  
Верхушкой твоей заметет.

Весь бор потрясет, и на гуд  
Он снегом взметнется и ахнет,  
И возчик весною пропахнет  
Твоею, когда повезут.

Но ты, позабыв о ветвях,  
Увидишь с поющего воза,  
Что в этих жестоких глазах  
Душевная синь от мороза.

Он сплюнет и вынет кiset,  
И вспомнит, что в проруби чистой  
Еще не бывало и нет  
Вершины такой золотистой.

Мы смотрим осанку и рост,  
Мы рубим столетние души,  
Чтоб вытопить жарче и суше  
Вселенную нашу до звезд!

18.I.30.

#### IV. ПРИЛЕТ ВАЛЬДШНЕПА

Холодок от ружья. И овраги.  
Засырело душисто... Чуть жив

Тонкий лес в ожидании тяги,  
Прошлогодний лист разложив.

Таёт солнце. В глубинах изрытых  
Поит стебли ранние снег.  
Спят малиновки. Мы позабыты  
Здесь в прохладном лесу, человек!

Время высыпкам... Встала брусника.  
Винным вздохом бродит кора.  
Где земля вишнева — истыкан  
Талый ключ с прилета. Пора.

Не дыши. Будет шорох истлевший.  
Темнота и синий цветок...  
Долгоносый свист пролетевший,  
Когда в лист уходит сапог.

О цветах ползет небылица...  
О шмелях уверяет побег...  
Значит, во-время! Первая птица  
Объявилась нынче, как снег!

Здравствуй, здравствуй, воздух  
пригорка!  
Чу! В потемках щебетом свист...  
И мелькает, долину прохоркав,  
Где осинник нанизан сквозь лист.

Мир вам, молодость и медуница,  
Шаг лесной и охотничий гром,  
Кому вальдшнеп ранний приснится  
Черноглазым ночным холодком!

Клязьма, 15.III.34.

# Магистраль

Роман

АЛЕКСЕЙ КАРЦЕВ

(Продолжение <sup>1</sup>)

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Главное управление строительства сверхмагистрали еще только формировалось. Оно было пока разбросано отдельными комнатами по этажам огромного, полного людьми чужого здания, и дьякон растерялся с первых шагов.

Никто не хотел толком направить его, куда нужно: все были заняты, все куда-то спешили, и лишь необычный вид посетителя на миг останавливал сотрудников. Увидев перед собой вопрошающую лохматую шубу, увенчанную скуфьей, они столбенели или взвизгивали, или хмурились строго (смотря по возрасту и социальному положению), после чего или убежали с хохотом, или (смотря по тем же своим собственным признакам) отходили, незаметно покачивая головами, или подступали к посетителю с допросом, как милиционеры, и тогда дьякон сам устремлялся прочь.

Он попадал из бухгалтерии в чертежную, из комнаты ячейки в подвал кооператива. Промотавшись около часу по коридорам и лестницам, он остановился, весь взмокший, распаренный, чувствуя, как зудит и прет от пота все тело, и сел на трубу парового отопления. Он решил действовать, как на базаре:

«Авось, слухом распознаю...»

Мимо рекой тек народ. Сталкиваясь, расходясь, догоняя друг друга, люди говорили, шептали и кричали про сметы и про сметану, про шпалы и шляпы, про скрепки, скреперы и скрепки, про под'емы и под'емные, про скоросшиватели и расшивку полотна, про откосы и отрезы, про руководящие уклоны профиля и про уклонистов, которые не имеют права руководить.

Дьякон сидел, тяжело дыша. Бычьи глаза его, налитые кровью, блуждали дико, от шубы шел пар. Ему казалось, что все эти люди шумят на каком-то чужом, птичьем языке, шумят об одном и том же, и одни и те же слова, коверкаясь и прыгая от одного человека к другому, повторяются бесконечно в непонятной бесовской игре.

— Чёрти, сто профилей в неделю!

— Ну и начертил, простофиля, наде-  
лал...

— Калькуляция также неправильна.

— Коля, кулацкая тактика правых...

— Авдеев — паренек мастак!

— А где же проект моста?

— Гроб. Арки Гесс забраковал.

— Грабарки есть? Завтра ковать!

— Здесь у нас — только в кавальеры...

Дьякон встрепенулся. Рядом смуглый и красивый молодой человек что-то показывал на бумаге двум напудренным девицам.

— Вот до этого пикета — сплошь кавальеры.

<sup>1</sup>) См. «Новый мир», кн. кн. 6, 7 и 8 с. г.

— Слышь, кавалер! — обрадованно сказал дьякон. Он взъерзал духом, словно христианский миссионер, вдруг услышавший в стране папуасов родную речь. Молодой человек даже не оглянулся. Дьякон встал и дружелюбно потянул его за рукав:

— Кавалер, где бы мне у вас по своему делу поговорить...

И тут он увидел лицо молодого человека, и увидел, что лицо это — знакомое, не раз виденное где-то.

— Батюшки... да никак это вы у нас на Каменке были?

— Я, — сказал Григорий Богун. — А какое дело у вас, гражданин? Насчет отчуждения? В первом этаже, по коридору девятая дверь, комната четвере.

И отвернулся опять к девицам.

Дьякон побрёл. Голова у него набухла звоном, объяснения молодого кавалера сразу перепутались в мыслях. Шуба волочилась, сметая с пола окурки и бумажки, опрокидывая урны. Он поднялся, качаясь, в четвертый этаж, ткнулся в первую дверь и увидел на ней эмалевый ярылок:

«9».

Тут было тише. На полу лежала мягкая дорожка, люди проходили без шума, никто не хлопал дверями.

— Зде-есь! — вздохнул дьякон. Нарядная вывеска объясняла, что здесь сидит главный инженер; дьякон мысленно возблагодарил кавалера, сдержнул скуфью, приоткрыл дверь и стал осторожно влезать. Высокая светлая комната ослепила его. Солнечные лучи струились в широкую раму, белые стены сияли, на столе в разных местах что-то искрилось и сверкало, как на алтаре в праздник, и среди всего этого сверканья сидело пушисто-золотое, белое, от которого очевидно и сияли все остальные предметы.

— Вам что, гражданин? — сказала оно звонким голосом.

«Отроковица» — изумился про себя дьякон. Теперь разглядел он за столом белую вязаную фуфайку, пушистую шапку стриженных золотых волос и в ней — веснущато-румяное девичье лицо.

— Гражданин, в чем дело?

Дьякон прокашлялся и шагнул к столу.

— До главного начальства общественное ходатайство имею... Только уж явите милость, разберите самолично. А то загоняли по всему зданию, инда ноги трепещут, мочи нет! Насчет храма в селении Каменка. Притесняют ваши-то по́сланцы, противозаконные деяния творят...

Он гудел речитативом, вытаскивая из дальнего кармана бумаги, расправил их и держал перед собой, как поминальные листки на амвоне.

— Дайте сюда. Садитесь.

Круглая рука в белом вязаном рукаве протянулась за бумагами, перелистала, вернула все, кроме одной, и взялась за телефон:

— Дайте отдел землепользования. Товарищ Уткин? Говорит Дорофеева. Ага. Тут жалоба на незаконное разрушение церкви на южном участке. Ага. В полосу отчуждения? Значит, попадает, раз жалуются... Что? Куда послать, к вам? Ах, туда... — Девушка фыркнула в трубку. — Брось трепаться, Уткин. Ладно. Ага.

Дьякон смотрел и слушал, затаив дыхание. «Осподи сусе, годков шестнадцать, боле не будет, хоть и рослая... Младенца на экую должность возвеличили!»

Девушка в фуфайке перечитывала бумагу, наморщив лоб и по-детски шевеля пухлыми губами. Эти губы, румяные щеки с ямочками, неловкие с бумагами красные пальцы — все действительно обличало ее возраст. Но стоило ей поднять глаза — и дьякон мгновенно забывал о своем диагнозе, о ямочках и веснушках. Он видел только холодный взгляд серых глаз — чуть напряженный, но такой строгий и необорительный, что дьякону каждый раз хотелось встать. Наконец девица протянула ему и последнюю бумагу:

— Зря жалуетесь, гражданин. В-первых, никакое здание не имеет права... то-есть не может быть... ну, вообще не может остаться в живых, раз оно мешает железной дороге. А во-вторых, как же вы пишете, что протест



от всего общества, а подписей всего две?

— Подписи сурьезные, — гулко сказал дьякон. — Иерей, как говорится, от служителей культа, а староста — от молящихся. Она у нас, как бы вам сказать, по всей Каменке авторитетная.

— Кто — «она»?

— Староста церковная.

— Женщина?

— Какая уж теперь женщина. Старуха.

Девушка смотрела на дьякона, полуоткрыв губы. Недоверие и любопытство отражались в серых глазах. Она имела о церкви такое же абстрактное, отвлеченное представление, как например о полярных странах или о половой любви. Но ей приходилось слышать, что в церкви женщинам строго запрещено куда-то входить, куда мужчинам и даже мальчикам — можно сколько угодно, и что вообще женщина по церковной линии считается чем-то пониже человека и выше животного, вроде как у дикарей. Ей захотелось спросить басовитого лохматого старика, может ли там у них эта староста ходить по всей церкви, как мужчина, но в это время в комнату вошел новый посетитель. Это был тоже старик, еще более древний, но казавшийся много бодрее дьякона — делали это живые, блестящие глаза и добротная, хотя и новая, одежда. На старике была черная шляпа, длинное черное пальто с бобровым воротником и высокие черные боты вместо галош — боты, каких советские граждане не носят уже очень давно.

«Иностранец» — подумала девушка за столом.

«Из Москвы» — решил дьякон.

Старик притронулся перчаткой к шляпе, морщинистые бритые щеки его изобразили нечто вроде сухой полуулыбки.

— Могу я видеть Максима Робертовича?

— По какому вопросу?

— У меня личное дело.

— Товарищ Гесс сегодня вряд ли будет.

Старик пожевал тощими губами, теперь видно было, что он действительно улыбается.

— Видите ли... Я его отец.

— Что? Присядьте, — быстро сказала девушка. Она взмахнула ресницами, и удивление, как вспугнутая птица, мгновенно исчезло из ее глаз. — Товарищ Гесс сейчас у товарища Гедвилло, он вернется минут через двадцать.

— Так я подожду у него в кабинете.

— Кабинет заперт, и ключ у товарища Гесса.

— А... — сказал старик. Он осмотрелся и медленно сел спиной к дьякону. Вошли еще посетители, а на столе опять зазвонил телефон. Девушка сняла трубку и стала слушать, посетители столпились у двери с шапками в руках.

— Нам бы начальство повидать! — громко проговорили сразу двое из них.

Роберт Гесс сидел, не оглядываясь. Но дьякон был явно шокирован неделикатностью вошедших. Укоризненно озираясь, он незаметно и выразительно показал им на девушку жестом, который говорил:

«Вот это самое и есть начальство».

Вооруженные топорами и пилами, старательно обмотанными в тряпье, посетители переглянулись. Передний — беловолосый, скуластый парень лет двадцати — презрительно осмотрел дьякона и усмехнулся.

— Айда, ребя, не туда попали.

Он подмигнул в сторону девушки, все еще говорившей по телефону. И плотники, топоча, пошли обратно. Беловолосый парень двигался последним, все с тою же нагловатой ухмылкой на скуластом лице. Внезапно он шагнул в сторону, уступая кому-то дорогу, ухмылка исчезла у него, выражение лица сразу стало мальчишеским, почти робким.

Мимо него в комнату легкой походкой прошла женщина — в весеннем светлом пальто, с серым мехом на плечах. И сумочка на ее руке, и туфли, и перчатки, и маленькая круглая шляпа — все было в тон цвету пальто и меха, и темные волосы, открытые с левой стороны, казались еще темней от

белой кожаной отделки на шляпе, причем отделка была также в тон и белым пражкам туфель, и белым полоскам на замше перчаток.

— Здравствуйте, — слегка кивнула женщина, останавливаясь у стола. — Могу я видеть Максима Робертовича?

Тонкими духами повеяло от нее в комнате, все смотрели на нее. Девушка за столом забыла спросить, «по какому вопросу», и только повторила насчет двадцати минут и насчет того, чтобы присесть. Но посетительница, посидев с минуту, встала и перешла к окну. С улицы через пыльную раму лился потоками весенний солнечный свет, женщина смотрела в окно на голые деревья и едва заметно улыбалась чему-то, и опять все в комнате невольно смотрели только на нее, и всем хотелось видеть, чему именно она улыбается, хотя по лицу женщины ясно было видно, что она улыбается своим мыслям.

Прошло десять, пятнадцать минут. В комнату то и дело заглядывали сотрудники с бумагами, с чертежами, с портфелями, но девушка в белой фуфайке молча и отрицательно встряхивала своей золотистой шапкой, и сотрудники так же молча исчезали, не входя.

— Он у Гедвилло, — говорила девушка некоторым. Телефон на столе все чаще звонил, девушка хмуро и коротко отвечала и только одному, видимо, наиболее назойливому, крикнула наконец в трубку:

— Товарищ, брось бузить! Нету главного инженера, родить мне его, что ли?

Дьякон зашевелился на стуле и встал. Взгляд его недоверчиво сверлил девушку.

— Позвольте спросить, — густо спросил он, — нешто не вы... главный-то инженер?

Девушка изумленно посмотрела на него, потом сердито нахмурилась.

— Нет, я не главный инженер, — отрывисто сказала она. — Смеетесь, что ли...

Старый Гесс оглянулся, живые глаза его блеснули добродушной иронией из-под седых бровей.

— А какой же вы инженер, если не главный?

— Я вообще не инженер.

Девушка покраснела. Она была в том роковом возрасте, когда люди не переносят шуток на подобные темы.

— Вы секретарь? — мягко спросила женщина от окна.

— Я помощник секретаря, — резко ответила девушка. Опять прозвонил телефон, она сняла трубку.

— Слушаю... Максим Робертович? Это я, Дорофеева. Ага. Хорошо, передам. Тут вас ожидают посетители, пока трое... Через четверть часа? Хорошо, передам.

Она едва успела опустить трубку, как пальцы ее коснулись узкая рука в серой перчатке:

— Я услышала вашу фамилию. Простите... вы не дочь инженера Дорофеева?

— Ага.

— Вы... Анка?

— Ага. А вы?

Настоящая, полновесная пауза наступила в комнате — пауза, каких мало бывает и на сцене.

Женщина и девушка смотрели друг другу в глаза, и вошедший в комнату техник Григорий Богун, как поэт в душе, подумал восхищенно:

«Весна и лето... Ох ты, чорт, — красота! Весна с золотыми кудрями в белой фуфайке и темноволосое лето, серое с белым, как чайка...»

— Анка, привет от Василь Василича, — громко сказал он. Женщины даже не оглянулись на него, и старшая тихо проговорила:

— Ну, здравствуйте, Анка. Я тоже Дорофеева.

— Понятно... — так же тихо ответила девушка. — Значит, это вы и есть — Магдалина?..

Несколько секунд она настороженно созерцала свое открытие, и опять пухлые губы ее раскрылись по-детски, и в глазах ясно, до дна, отражалось все: и удивление, и любопытство, и колыхающаяся тревожность новых рождающихся вопросов. И вдруг Анка тряхнула головой, поднялась и через стол протянула руку технику:

— Здорово, Гриша. От отца привет, говоришь? А письма нет? Ну вот, знакомься. Это — отцова жена.

— Где? — техник оторопел. — Вы, стало быть... Магдалина Ивановна? — Он крепко стиснул руку в серой перчатке, а сам торопливо застегивал на вороте верхнюю пуговицу косоворотки. — Очень хорошо, очень приятно...

— Не верю, — проговорила женщина, улыбаясь. — Вы так испугались сначала, что мне даже неловко стало. Воображаю, что вам Василий наговорил про меня!

Богун окончательно смутился и забормотал уже совершенно несвязные комплименты. Анка серьезно посмотрела на обоих.

— Отец никогда и ни на кого не наговаривает, — спокойным тоном проговорила она. — Верно, Богун?

— Конечно верно, Анка! — быстро сказала Магдалина Ивановна, продолжая улыбаться. — Но давайте все-таки поговорим как следует...

Она присела на диван сбоку стола и дружеским жестом поманила девушку:

— Идите сюда, тут лучше!

— Сейчас, только разберу бумаги.

Анка наклонилась было над столом, но дверь широко распахнулась, и через комнату широкими шагами прошел главный инженер. Он был угрюм и явно озабочен, не глядя ни на кого, повернул к двери кабинета, по пути увидел поднявшегося отца и, отперев кабинет, под руку увел его к себе. Дьякон поднялся тоже и двинулся к Богуну:

— Слышь, кавалер, товарищ... Это, что ль, главный-то у вас?

Техник обернулся:

— Этот. А вам зачем его?

— Так ты ж сам послал. Насчет храма-то...

— Э, дедушка, не сюда, напутал всё. Я же вам сказал — первый этаж, по коридору девятая дверь, комната четвере, отдел отчуждения. Понятно?

— Ничего, милый, не понятно, — горько сказал дьякон. — Истинно — отчуждение, сколь годов от жизни в отчуждении состоим, инда и голос человеческий понимать перестали...

Техник только присвистнул, глядя на него.

— Ладно, дед, давай я тебя самведу. Жалоба-то где твоя? Ага, вот. На нас, выходит, жалуетесь, на Дорофеева да на меня, так что ли?

— Истинно так... — растерянно прогудел дьякон.

— Ну ладно, пойдем. Жалко мне твою старость, отец, ноги напрасно бьешь. Да уж раз тебе поручено, так ничего не сделаешь, надо подавать, верно?

— Истинно верно, товарищ, уж сделайте такую милость...

— Айда, а то некогда.

Они ушли, Магдалина и Анка остались вдвоем. В комнате опять было тихо, только шелестели бумаги под руками девушки, стоявшей у стола.

— Так вот вы какая... — медленно заговорила Магдалина с дивана. Она внимательно разглядывала плотную спину, обтянутую белой фуфайкой, длинные сильные ноги в туфлях без каблуков, круглые проворные руки и шею, такую же круглую и крепкую, обхватенную отворотом фуфайки.

— Слушайте, Анка, неужели вам только шестнадцать лет?

— К сожалению.

Девушка быстро помечала бумаги карандашом. Она имела очень занятый вид, но в голосе ее в самом деле звучало искреннее сожаление.

— Ну, идите же сюда на минутку. Давайте познакомимся как следует.

— Давайте, — сказала Анка, переходя к дивану.

С полминуты они молча сидели на разных концах, открыто и дружелюбно присматриваясь друг к другу. И вдруг, словно спохватившись, словно вспомнив что-то решающе-важное, обе одновременно и требовательно произнесли:

— Скажите... а почему вы здесь?

Обе даже не заметили, как смешно это получилось. Обе почувствовали, что это — действительно самое важное, о чем им надо сейчас говорить.

— Я? Я работаю тут, — первая сказала Анка. Этот факт был однако очевиден, и она нашла нужным добавить:

— Я хотела поступить во втуз после школы, но не принимают по возрасту. Вот и пошла сюда практиканткой, чтобы год не пропадал.

— Ах, вот что. А живете где?

— В общежитии.

— Так. Это Васил... это отец вас устроил?

— Да... Нет, кажется, не он. Как будто товарищ Гедвилло. И еще Гриша.

— Какой Гриша?

— А Богун, техник. Вы же с ним познакомились.

Магдалина улыбнулась.

— Так, так. Он — красивый между прочим, этот ваш техник. Правда, Анка?

— Конечно красивый, — убежденно сказала девушка. — Он хотя и беспартийный, а самый лучший отцов друг.

— Ну, положим, — все так же улыбаясь, сказала Магдалина. — Хотя я тоже беспартийная, моя девочка, но, по моему, самый лучший отцов друг — это я.

— Н-не знаю, — сдержанно проговорила Анка. Эта нарядная женщина то нравилась, то очень не нравилась ей. С какой стати она называет ее, Анку, «моя девочка»? Во-первых, неверно, во-вторых, глупо.

— Магдалина Ивановна, — спокойно сказала она вслух, — а вы почему... а вы зачем приехали? Вы из Москвы?

— Да, из Москвы.

— Вы едете к отцу?

— Нет, Анка. Я не поеду к отцу. Я тоже буду работать здесь.

— Здесь? У нас?

— Да.

— Вот чудно! — обрадовалась Анка. — Вы на коньках любите кататься?

— Очень.

— А на лыжах?

— Тоже. Только зима ведь кончается, Анка.

— Ага, верно... А в волейбол?

— Тоже играю и в теннис играю, во что хотите... За теннис я в Москве получила приз и на Турксибе — тоже.

Женщина в английском сером пальто улыбалась Анке весело и ласково, как сестра.

— Вы научите меня в теннис, Магдалина Ивановна? — робко спросила Анка, начиная чувствовать уважение к отцовой жене.

— Конечно научу. Только не зовите меня Ивановной, Анка, хорошо? Хотя я вам, как говорится, злая мачеха, но я не хочу ею быть. Зовите меня просто Магдалина. — Она гибко вытянулась на диване и погладила руку Анки. — Ну как, сможете?

— Смогу! — засмеялась девушка. Отцова жена окончательно понравилась ей, и она, чуть подумав, заявила об этом вслух. Начались разговоры — те самые, которые всегда начинаются в подобных случаях между женщинами, решившими подружиться, и прерывали их только телефонные звонки да сотрудники, заглядывавшие в кабинет. Впрочем последнее почти прекратилось. Уже все управление строительства знало, что к главному инженеру приехал отец — не то бывший министр путей сообщения, не то кандидат в бывшие министры. Только раз в кабинет Гесса на минуту прошел бледный, хмурый начальник строительства. Выходя обратно, он распорядился Анке, чтобы главного инженера не беспокоил никто, пока не уйдет его гость, потом бегло взглянул на Магдалину и, не узнавая ее, быстро прошел мимо. Магдалина покраснела и отвернулась, но, поймав на себе внимательный взгляд девушки, тотчас же овладела собой. Они болтали о пустяках и о себе, о будущей совместной работе и о прошлом, которое у каждой было почти во всем ново и интересно для другой.

Это была встреча, в самом деле довольно занятая, встреча, которая в прошлом веке явилась бы первосортной темой для сентиментального романа: молодая мачеха и взрослая падчерица встречаются впервые — через десять лет после того, как породнились. Обещем дальше, тем больше — нравились друг другу. Уже было произнесено с обеих сторон несколько полушутливых упреков по адресу виновника столь поздней их встречи; обе забыли (по крайней мере в этот момент), что за все эти годы ни одна, ни другая не прояв-

ляли особого желания встретиться; обе вслух удивлялись тому, что Дорофеев за столько лет не нашел возможности свести их вместе, хотя сам ежегодно по нескольку раз навещал дочь у тетки; и обе относили все это — для удобства такой приятной первой беседы — за счет кочевой путевой работы Дорофеева, и обе называли его, чтобы сделать друг другу приятное, то Василием, то отцом. и это еще быстрее сближало их.

— Пойдите, а как же отец? — внезапно проговорила Анка. — Ведь вы... вам надо ехать к нему.

— Мне? Куда?

— К отцу, на трассу.

— Зачем?

— Ну, как же... Он вас ждет. Он очень скучает без вас.

— Вот как, — осторожно улыбнулась Магдалина. — Ты думаешь?

— Мне Богун говорил. Нет, вы обязательно должны жить с ним на трассе! Ничего у нас с вами не выйдет, значит... — Анка вздохнула.

— Выйдет, все выйдет! — Магдалина помахала затянутой в перчатку рукой, глаза ее стали лукавыми. — Не я поеду на трассу, Анка милая, а отец переедет с трассы сюда.

— Что-о? — изумленно переспросила девушка. — Сюда, в управление? Что вы!.. Никогда.

— Вот увидите. — Магдалина, снимая зачем-то перчатку, покачивалась на пружинах дивана, и девушка смотрела на нее так, как будто только сейчас разглядела это спокойное матово-белое лицо.

— Нет, — твердо сказала опять Анка. — Он этого не сделает. Ни в какую!

— Посмотрим...

— Посмотрим!

В комнате повисло молчание. И почти тотчас же из кабинета главного инженера открылась дверь.

— Товарищ Дорофеев, — отрывисто сказал Гесс. — Я жду товарища по фамилии Гветадзе. Разуштите немедленно. Он вероятно у парторга или в бюро ячейки. Поторопите его ко мне.

— Гветадзе? Хорошо, сейчас. — Анка записала фамилию на клочке бума-

ги и бегом полетела в коридор. Инженер посмотрел ей вслед и только теперь заметил на диване посетительницу в английском сером пальто. Он прищурил глаза и вдруг, выпрямившись, быстро пошел к ней:

— Кого я вижу!.. Неужели товарищ Волкова? Вы... вы ко мне?

— Я подожду, — сдержанно проговорила Магдалина. — Вы же заняты.

Она коротко, «по-деловому» ответила на пожатие его большой, теплой ладони и сейчас же отняла руку, а сама смотрела снизу вверх, не вставая с дивана, — смотрела долгим блестящим взглядом, от которого сердце у главного инженера забилось быстрее.

— Тогда поговорим здесь, — вполголоса сказал он, оглядываясь. — Чтобы совесть не мучила меня за то, что вы из-за меня теряете время... Хорошо?

— Хорошо. Вы просто торопитесь отделаться от меня.

Она все так же смотрела на него и подвинулась на диване, чтобы дать ему место, но он продолжал стоять перед ней, высокий и плечистый, опять оглянувшись на дверь и тихо сказал:

— Как вам не стыдно так говорить...

Тогда, сообразив, Магдалина тоже встала с дивана: действительно, так будет удобнее, кто бы ни вошел.

— Я принесла заявление, товарищ Гесс, — громко сказала она.

Принимая бумагу, главный инженер уже доставал из кармана вечное перо.

«Зачислить... Волкову М. И. старшей чертежницей... в штат проектного сектора... с зарплатой в размере...»

Магдалина сбоку смотрела на крупную, гладкую руку с рыжеватыми волосками, быстро двигавшуюся над ее листком. Сильные пальцы — прямые, длинные... как они похожи на пальцы Василия. Только ногти... У этого — холщевые, чуть выпуклые, опрятной овальной формы. А у того... При одном воспоминании о ногтях мужа Магдалина вдруг почувствовала, что краснеет. Стыд, острый стыд перед этим европейцем с душистой американской боодой пронизал ее всю, словно не у Дорофеева, а у нее самой были грязные

ногти. Да, перед такими, как этот инженер, Василий — всё еще дикарь...

— Вот, пожалуйста, — сказал Гесс официальным тоном, хотя в комнате попрежнему не было никого, кроме них. — С этой бумагой и личными документами вы пройдете в первый этаж...

Опять рукопожатие — сухое и крепкое, по-мужски.

— Зарплата, как видите, не велика, — проговорил инженер, отчего-то понижая голос. — Это максимум того, что мы можем вам предложить по штату. Но вы... я постараюсь, чтобы вы имели... у нас... приработок.

Теперь уже не ему, а ей пришлось выдержать на себе выразительный взгляд. Это было уж слишком. Магдалина прикусила губы от оскорбления, на секунду остро захотелось щелкнуть сложенным вчетверо заявлением по этому откормленному, барственному лицу... Но целесообразнее было поблагодарить и улыбнуться непонимающе: игра подходила к концу. И она сделала эту улыбку, сделала ясные, спокойные глаза, готовясь любезным кивком открыть себе выход в коридор, — и в этот момент вспомнила, что у нее еще есть в запасе великолепный ответ.

— Да, кстати, — деловито сказала она. — Я забыла с вами посоветоваться насчет документов, Максим Робертович. Волкова — это ведь моя девичья фамилия. А так как по мужу я — Дорофеева, то в документах...

Сохраняя озабоченно-серьезное выражение лица, она наслаждалась безграничным изумлением главного инженера. О, как понятны ей были все оттенки, мгновенно сменявшиеся во взгляде этого самоуверенного человека! Но это продолжалось секунды — Магдалина слушала, что отвечал ей Гесс, смотрела на него и видела, что он уже овладел собой.

— ... Ну, это пустяки, — небрежно говорил он, касаясь пальцами бороды. — Вы так и скажете в отделе кадров. А если они будут сомневаться, пусть начальник отдела зайдет ко мне с вашими документами, — я объясню ему. Для службы даже удобнее, чтобы жена и муж работали на магистрали

под разными фамилиями. Ведь ваше родство не обязательно должна знать вся трасса, не так ли?

— Да, но вот вы же догадались!! — вырвалось у нее. — Дорофеевых так много на свете, и я даже не успела сказать, что у вас на строительстве работает мой муж!

Гесс усмехнулся, борода его дрогнула под пальцами.

— Если угодно, я догадывался об этом, Магдалина Ивановна, не зная еще ни одной из ваших фамилий.

— Но почему же? Надеюсь, мой муж не...

— Ваш муж, Магдалина Ивановна, исключительно талантливый инженер. И я очень рад сделать ему приятное. Очень прошу извинить — меня ждут...

Магдалина спускалась в отдел кадров, растерянная, как шахматист после внезапного «пата». Всё перепуталось в ее расчетах: вместо остроумной двойной победы возникал какой-то хаос, двусмысленным и скользким представлялось самое поступление на эту работу, совершенно ненужную ей лично, если бы не задуманная так тонко борьба с Василием... Она шла по лестницам и коридорам, нарядная и стройная, вызывая своим костюмом всеобщее внимание, а в душе чувствовала себя девчонкой, которую вежливо осмеял умный и хорошо воспитанный пожилой человек. Вокруг шумно сновали люди, переключаясь и догоняя друг друга, через стены слышался треск пишущих машинок и громкая передача телефонограмм, за открывающимися дверями комнат видны были склонившиеся над столами чертежники и счетоводы, знакомые и незнакомые технические термины раздавались всюду. Во всех этажах огромного здания шумела жизнь, — она оглушала Магдалину после тишины аппаратов главного инженера, как оглушает грохот людной улицы при выходе из читальни или музея. По лестнице, навстречу Магдалине, поднимался смуглый молодой человек с черными усиками: кажется, тот самый техник, с которым она познакомилась наверху, лучший отцов друг. Магдалина вспомнила, что она еще ничего не расспросила

про мужа. А надо выяснить многое, о чем через Анку неловко узнавать...

— Товарищ Богун, на минутку! — позвала она, поровнявшись с молодым человеком. Тот остановился.

— Очень жалко, но я — Гветадзе... — проговорил он, глядя на Магдалину во все глаза; они в самом деле выражали искреннее сожаление.

Внизу, в отделе кадров, первая стадия «оформления» чертежницы Волковой кончилась в десять минут.

— Так жинка, значит, будете Василию? — дружелюбно сказал ей начальник отдела. — Замечательный он мужик у вас. Значит, будем знакомы, дорогой товарищ...

В это время в тишине кабинета на четвертом этаже будущий парторг Платон Гветадзе знакомился с бывшим кандидатом в министры путей сообщения.

\*\*\*

— ... Таким образом, просьба моя к вам будет заключаться в том, чтобы содействии, если оно вообще окажется допустимым и возможным с вашей точки зрения, было мне оказано без всякого участия в этом моего сына.

Старый Гесс откинулся на спинку стула, желтый и прямой, как «персона» в музее восковых фигур, и ожидающе смотрел на Платона. Они были вдвоем в громадном кабинете главного инженера — хозяин ушел опять к начальнику строительства. Гветадзе сидел в позе внимательно слушающего человека: почтенный вид старика вызывал в нем уважение.

— Канэчно, зачем тут сын. Тут магистраль, — сказал он серьезно. — У вас формлировка очень хорошая, я ее принимаю с удовольствием. Но, поскольку вы уже оказываете мне некоторое доверие, я бы желал, если это допустимо с вашей точки зрения, узнать и причину, которая заставляет вас...

— Так цепляться за свой домишко? Просто я очень привык. Вы понимаете, за двенадцать лет можно привыкнуть к каждому окну в комнате, к каждому кусту в садике. Тем более, когда име-

ешь за плечами восемьдесят лет. Я очень привык.

— Но это канэчно — не причина, — мягко и убедительно проговорил Гветадзе. — Это следствие, насколько я понимаю... — Он сдержанно улыбнулся, стараясь подчеркнуть вежливость своего замечания, и ждал. Одобрение блеснуло в живых глазах старика. Как много людей начинают ценить лишь под старость всё наслаждение встречи с умным собеседником! А Роберт Гесс понимал это и в молодые годы.

— Вы хотите знать, почему я выбрал себе гнездо именно в этом месте, — сказал он. — Пожалуй, я скажу вам... И, кажется, молодой человек, вы будете первым, кто узнает об этом. О, не смущайтесь, ничего особенно таинственного. Это только наивно, как всякая стариковская странность. Дело в том, что я живу на меридиане. Вам не смешно?

— Канэчно нет, — сказал Платон.

— Южнее моего дома — река, сад стоит на обрыве. Севернее, как я уже говорил вам, — скалы, у подножья их проходит старое брошенное шоссе. Теперь вы понимаете? Если тут пройдет узкоколейка до вашей магистрали, я должен буду отступить куда-то на запад или на восток. Но тогда я сойду с меридиана, а именно из-за этой географической детали я и купил дом в такой глуши. Вы удивлены, товарищ Гветадзе?

— Ничего, — сказал Платон. — Это очень интересно. Я хотел только заметить... какие разнообразные случаи бывают в жизни. Я слышал, что вы очень долго работали для железнодорожного строительства?

— Я для него работал всю жизнь, молодой человек. Huskisson, член парламента и английский министр торговли во времена Стефенсона, был ярим защитником паровоза; и он попал под колеса первого же пробного поезда, когда бросился к окну вагона пожать руку герцогу Веллингтону, рискнувшему участвовать в испытаниях. Вы видите, что я счастливее, молодой человек. Я успел увидеть очень много дорог, построенных при моем участии, прежде

чем меня самого переедет дорога, которую строит мой сын. Итак, если сможете, помогите мне. Если нет, примите мою благодарность за время, пожертвованное нашей беседе. Но в том и в другом случае мой сын ничего не должен знать об этом. Вот. Я сказал вам всю правду. Я ничего не солгал. И я уверен, что вы также докажете свою честность.

— Канэчно, — коротко сказал парт-орг. — Я, к сожалению, ничего не обещаю вам, я посмотрю на месте, что можно сделать. Но ваша просьба останется между нами. И если даже вы чем-нибудь будете мне обязаны, то это будет только возврат долга. Потому что я очень обязан вашему сыну.

— Вот как? — сказал старик, высоко поднимая мохнатые седые брови. У него был такой вид, словно он даже сожалеет, что не имел в виду ничего подобного.

\*\*\*

«Василий! Я пишу тебе не из Москвы. Я поступила чертежницей в управление строительства магистрали. Поэтому ты не удивляйся, когда увидишь штемпель города на конверте. Остальному ты тоже не удивляйся, я ведь такая. Я пишу тебе, Васик, вот зачем: я получила твое письмо из Каменки и почувствовала, что очень-очень люблю тебя и всегда любила, мой милый, родной, неотесанный. Ах, если бы ты не был таким грубым, Василий! И неужели, неужели ты сам не замечаешь этого? Твои постройки тебе дороже меня и сына, я это знаю давно. Но пойми, ты же должен как-нибудь прятать это, ну хоть не всегда, хоть временами жить просто жизнью, а не строительством. А ты так откровенно, так грубо прямолинейно всегда. И когда ты говоришь твои постоянные слова насчет личного и социального, то я не хуже тебя понимаю, что это принципиально верно. Но весь ужас в том, как у тебя это получается! Вульгарно, примитивно до цинизма! Ты говоришь: «социальное и личное для большевика слитны, при примате социального». А знаешь, как это звучит у

тебя? «Делу время, а потехе час». Не отрицай, это именно так! Это ясно даже из того, что ты при всей привязанности ко мне и сыну (я ее никогда не отрицала) все-таки охотно соглашаешься мотаться по стройкам, по глухим углам и только урывками возвращаться к нам в Москву. Я знаю: ты ждешь, что я измучаюсь одна и опять приеду жить с тобой в какой-нибудь дыре. Нет, Василий! Этого больше не будет никогда, понял? Никогда! На Турксибе это было в первый и последний раз. Я не хочу больше мучиться, Вася. Но я не хочу и тебя мучить, мой любимый, мой небритенький. И вот что я решила: мы оба уступим один другому. Я откажусь на год-два от Москвы, а ты откажешься от своей степной трущобы. Мы помиримся на областном городе и не будем больше ссориться, пока не кончится эта невыносимая магистраль. Переходи на работу в аппарат управления, — вот и все. Это и есть то условие, о котором я тебе писала в телеграмме, вызвавшей твое сумасшедшее милое письмо. И я забуду все твои грубости и буду опять такой, какой ты любишь меня.

Твоя Лина.

Жить буду пока в общежитии, вместе с Анкой. Она у тебя очень славная. Мы познакомились совершенно неожиданно, хотя я и знала, что она с теткой живет в этом городе. Но о ней я поговорила с тобой отдельно.

Мальчика оставила пока у бабушки. Когда мы с тобой получим здесь квартиру, то конечно привезем и его. Правда?

Целую твои прищуренные серые глаза».

\*\*\*

Письмо было написано тут же, на освобожденном от бумаг краю канцелярского стола, за которым совершалось таинство превращения эффектной гражданки изысканно-модного обличия в старшую чертежницу проектного сектора.

Таинство совершал хмурый мужчина в толстовке, вооруженный полдюжиной анкет. Он назывался «ответствен-



ный исполнитель», и в каждом движении его, в каждой манипуляции за столом изображалось действительно полное сознание ответственности всего того, что он «исполнял».

Он зорко просматривал все многочисленные пункты магдалининых анкет, еще более зорко слыл их с ее документами, переспрашивал, испытующе глядя то на докуменгты, то на их обладательницу. несколько раз таинственно удалялся за перегородку к начальнику отдела кадров и возвращался оттуда с таким выражением на лице, какое приличествовало бы скрипачу, принужденному насильем играть с помощью палки на железном верде.

Дважды он отрывал Магдалину от письма зловеще-официальными вопросами: правда ли, что гр. Волкова состоит в родстве с практиканткой т. Дорофеевой? И верно ли, что прораб т. Дорофеев—в действительности муж гр. Волковой?

Магдалина коротко кивала в ответ, продолжая письмо. И это, видимо, превысило лимиты терпенья и выдержки у ответственного исполнителя. Так негодует прокурор на преступника, продолжающего завтракать во время объявления приговора. Ответственный исполнитель поднялся, гремя стулом, и заявил, что должен отправиться для некоторого выяснения дела к главному инженеру.

— Скажите, гражданка... А доведено ли было вами до сведения товарища Гесса — при наложении им данной резолюции — о вышеизложенных родственных отношениях?

— А? Да-да... — сказала Магдалина, продолжая писать:

«... и буду опять такой, какой ты любишь меня...»

Она перечитывала быстрые неровные строчки, она облизывала губы кончиком языка и увлеченно писала дальше, не замечая, что ответственный исполнитель уже исчез. Он медленно и неуклонно поднимался в четвертый этаж, к кабинету главного инженера. А там, за тишиной коридора, высланного дорожками, события в это время сдвигались, как тучи перед грозой.

Главный инженер принимал доклады руководителей по всем отраслям работ. И только теперь, в самом разгаре подготовки к строительству, главный инженер понимал со всей ясностью, что именно осмелился он вместе с Гедвилло обещать людям, слушавшим их обоих в Кремле.

... С юга к северу, из края драгоценных антрацитовых залежей, из самых малоразработанных еще районов гигантского угольного бассейна страны начинался на карте Советского Союза будущий стальной путь.

Преодолев скалы, реки и глубокие балки, на десятки километров пролегал он по нетронутым пластам черного золота, покрытым тонкою коркой сухой, проросшей травами степной земли; здесь, в этой степи, попадались сейчас редкие полукустарные еще шахты, и одной близостью своей новая дорога делала эти шахты новыми мощнейшими очагами угледобычи.

Отсюда, переплетаясь на двух станциях со старой железной дорогой края, шел будущий путь мимо старых казачьих станиц, вблизи гигантского завода, и в прошлом поставлявшего стране не только паровозы, но и рабочих-большевиков, и в настоящем славного не только могучими бегунами «ФД», но и сыном своих цехов — народным комиссаром по военным и морским делам. Обогащая завод новой дорогой к углю и к центрам страны, стремился дальше стальной путь — в бесплодные горячие пески. Через сыпучие просторы, где нет ничего, кроме ветра да ивняка над обмелевшими речушками, через бесконечные барханы, где каждый кубометр насыпи и каждый метр рельсовой колеи будут памятниками трудового героизма, дорога должна была проникнуть в плодородный хлебный район: еще с прошлого века безнадежно и терпеливо ждал он этого благостного вторжения, столько раз обойденный хищническими комбинациями железнодорожных компаний, — и до сих пор, до второй социалистической пятилетки, дожил центральный город этого района, как в диком средневековье, затерявшись среди пашен и лугов—в шестидесяти киломе-

трах от ближайшей железнодорожной станции! От этого советского города, впервые приобщая его к технической цивилизации, рельсы шли дальше на север — в советскую Аргентину. Хлеб, свекла, картофель — тысячи тонн сельскохозяйственных грузов ждали каждую станцию новой дороги на этих черноземных равнинах, несмотря на то, что богаче их железными дорогами была по всему Союзу одна лишь Украина.

Дальше, все выпрямляя бег свой на север, новый путь вступал в таинственную область, узкой полосой протянувшуюся на двести пятьдесят километров. Полвека назад здесь увидели ученые чудо: закон земного магнетизма действовал обратно во всей этой полосе. Буссоль — точнейший инструмент геодезии — грубо врал в этих серых холмистых полях: намагниченные полюса буссольной стрелки показывали север вместо юга и юг вместо севера. Миллиардные запасы высокосортных железных руд были спрятаны природой в этом подземном кладе, какого не выдумала бы и самая волшебная сказка, — и этим рудам также предстояло когда-то влиться в грузопотоки будущей дороги. Отсюда она шла уже напрямиком к сердцу страны — к всесоюзной столице — и все новые и новые производительные центры захватывала на своем пути. Мощный завод синтетического каучука, вплотную примыкающий корпусами к будущей трассе; огромные каменоломни — неисчерпаемый резерв отборного камня для крупнейших строительных столицы — и для метрополигена, и для Дворца Советов; целый энергохимический комбинат вокруг гигантской электростанции, а вокруг самого комбината — строящийся специально для него социалистический город на сто пятьдесят тысяч людей будущего населения, — все это тяготело к новой железной дороге.

Так, с юга на север предстояло ей нести миллионы тонн угля и хлеба, руды и картофеля, химикалий и машин, свеклы и камня, не считая огромного количества людей и не считая еще всего того, что должна каждая дорога возить для самой себя. И среди всего

этого потока грузов главной массой шел уголь, антрацит, наконец получивший широкие ворота на север, — шел, подавляя напором своим всё остальное, как заливают всё вокруг вода, прорвавшая плотину. Уголь тек по новой дороге, оживляя, разжигая, приводя в движение на своем пути новые и старые очаги индустрии; чуть не половина угольного потока рассеивалась так на пространстве от юга до всесоюзной столицы, и тут вливался в этот поток еще уголь из второго бассейна, лежавшего десятками шахт на северных перегонах магистрали..

Так рос груз.

Как река, начинаясь в истоках ручьями, несет на себе сначала лодки и бревна, потом баржи, а потом, расширяясь, наполняясь водами притоков, поднимает и мчит легко громадные пароходы, — так новая магистраль намечалась:

южными перегонами — на 24,  
всеми срединными перегонами — на 72

и последними северными перегонами — на 105 пар ежесуточных полногрузных поездов.

Чтобы поднять эту лавину грузов, нечего было и думать о дороге обычного типа. Здесь нужны были поезздочудовища в две тысячи тонн весом, с огромными паровозами высшей мощности; предстояло создать дорогу с предельно-ровным профилем, с неслыханной еще массой земляных работ, с целыми перегонами высоких, особо укрепленных насыпей, со сложнейшими мостами и виадуками, с тяжелыми, американского типа, рельсами и шпалами, на шебеночном первосортном баласте.

Делжна была строиться дорога-великан.

Все это, новое или даже совсем еще неизвестное для многих ее строителей, главный инженер с самого начала хорошо представлял себе. Техническая идея проекта рисовалась ему грандиозной и ясной в одно и то же время, как все великие предприятия. Иногда, в первые недели работы, он даже чувствовал, что охватывает уже даже фронт

ты стремительно разворачивающегося дела как его подлинный вдохновитель и командир. Он вспоминал тогда о Лессепсе, строителе Суэца, об инженере Аллане, легендарном герое келлермановского «Туннеля». Вместе с начальником строительства Гесс выступал с докладами в правительственных и партийных органах, помещал в центральную и местную печать свои стенограммы и статьи, давал интервью, говорил по радио, произносил речи о магистрали на массовых собраниях, руководил непрерывными техническими совещаниями и чувствовал все яснее, что стоит в самом центре дела, за которым следит вся страна.

Проект магистрали разрабатывался с небывалой скоростью.

Десятки изыскателей, с'ехавшиеся со всех участков трассы, консультанты из центра, профессора институтов и молодые практиканты — все днем и ночью сидели над профилями и планами уже вторую декаду. Гесс сам наблюдал за ходом их работы, поправлял, указывал, вызывая эрудицией и смелостью изумление самых опытных инженеров. И вот составление проекта близилось к концу. Максим Робертovich торопил всех и каждого: план, утвержденный правительством по варианту Гедвилло и самого Гесса, требовал начала самой стройки с середины апреля, а за оставшиеся до этого срока последние дни надо было еще «спустить» планы и чертежи на участки, оттуда — на проработанные пункты...

Быстрее, быстрее!

Между тем в отдельных точках трассы проект зиял еще массой недоделок. На севере оставался ряд неувязок по вторым путям, параллельным существующей уже линии, проблему реконструкции кое-где пытались подменить перелицовочкой à la Trischkin kaftan; в середине происходила путаница с узлом — тем самым, на котором побывал зимой сам Максим Робертovich; наконец на юге, на новостройке, почти все участки возились с вариантами, перепроктировывая заново целые километры, трассированные в условиях зимних изысканий.

Тогда Гедвилло и Гесс, собрав весь основной материал, вдвоем просидели над проектом до вечера, и положение стало ясным: вещи, именовавшиеся пренебрежительно «доделками» и «поправками», грозили затянуть проект по крайней мере до конца месяца. А ведь предстояло еще утверждение его комиссией из наркомата...

— Слушай, Ян, — сказал главный инженер. — Это засосет нас, как тина. Такую дорогу нельзя строить обычными методами, это должны наконец понять и мы сами, и НКПС! В конце концов возня с проектом затормозит стройку даже там, где ее можно было бы давно начать, а тогда так...

— Хорошо. Что ты предлагаешь?

— Я предлагаю добиться в НКПС, чтобы комиссию по проекту заставили работать так же оперативно, как работаем мы.

— Хорошо. Конкретно, чего ты хочешь?

Начальник строительства смотрел напряженно, как смотряг очень усталые люди, не желающие однако обнаружить этой усталости перед другими.

— Я хочу оперативности, — настойчиво повторил главный инженер. — Я хочу, чтобы они проверили проект на ходу.

— То-есть?

— Комиссия должна проехать по всей трассе, с юга на север. В каждом участке, в каждом пункте необходимо тут же на месте, с изыскателями и проектировщиками, решить и утвердить окончательный вариант.

— Так. И тогда?

— Тогда через неделю участки получат рабочий профиль, и мы начнем земляные работы точно в срок.

— Делай, Максим! — коротко сказал начальник строительства. — Сегодня же согласую в обкоме.

Ночью, прямо с заседания областного комитета партии, он зашел на квартиру Гесса.

— Вопрос согласован. Утром телеграфируем в Москву. Но знай, Максим, это нам с тобой может дорого обойтись... Обком настроен ко всему этому подозрительно, это я должен сказать прямо.

Гесс приподнял брови:

— Тебе не доверяют?

— Что значит — «тебе»? — рассердился Гедвилло. — Нам доверяют, товарищ Гесс! Если бы не доверяли, так не согласились бы, чудило ты! Но Кулик мне прямо сказал: «Вы,—говорит,— начинаете с лихорадки».

— Кто это Кулик?

— Секретарь обкома по транспорту. Так вот что, Максим: имей в виду, партия для магистрали не пожалеет ничего. Но ответ за организацию — целиком на мне и на тебе. Весь авторитет партии, все ее рычаги,— вот наше с тобой вооружение. Но за то, как мы его используем, надо крепко отвечать, дорогой мой! Ты понимаешь, о чем я говорю?

— Подкрепись-ка, Ян, — сказал главный инженер, открывая нижнюю створку книжного шкафа. — Он вынул пузатый флакон, две рюмки, налил, не торопясь. — Насколько я помню, меня еще не приглашали в члены коммунистической партии. Так что перед обкомом ты уж как-нибудь сам отвечай. А беспартийного спеца, самое большее, посадят на несколько лет в соответствии с советским законодательством, да и то лишь в том случае, если окажется, что он взялся строить железную дорогу, будучи по профессии агрономом или хирургом. Выпьем, Ян, за здоровье товарища Кулика!

Гедвилло молча смотрел на него, поглаживая ладонью желтый лысеющий лоб. Вид у начальника строительства был совсем больной — воспаленные веки, вытянутое бледное лицо, тусклый, напряженный взгляд. Он рассеянно взял рюмку, чокнулся с Гессом и выпил и, вздохнув, молча посмотрел опять на усмехающегося, развалившегося в кресле инженера.

— Брось панику, Ян Михайлыч, — серьезно проговорил Гесс. — Ты ведь как будто третью дорогу строишь...

— То разве дороги были. Ветки по сравнению с этой.

— А Турксиб?

— На Турксибе я работал не больше полгода. Ты же знаешь — меня перебросили на западную границу.

— Эх, сироты мы с тобой горемычные! — засмеялся Максим Робертович, наливая по второй. — А я вот, грешный, и вовсе не был на вашем божественном Турксибе, — как же это нам с тобой, Ян, вдруг взяли и такое дело доверили, а?

— Ты — другое дело.

— Я? Брось комплименты, товарищ начальник... Впрочем ты прав, откровенно говоря. Ведь, если я впервые строю в своей стране крупную магистраль, то что же, — разве этим хоть что-нибудь сказано? Турксибовцы — это всё хорошо, но где у них, Ян, европейский опыт? Ха! Выпьем, Ян. Мне скоро стукнет пятьдесят, милый человек, и я имею право знать себе цену. Мой дед пять железных дорог построил в России вместе с французами, моего отца знали в Париже лучше, чем собственных министров, я сам проработал всю молодость на постройках франко-бельгийского общества! Я и в глаза не видал вашего Турксиба, но, дорогой мой, почему же всякий раз, когда заходит речь о технике Европы, народный комиссар вызывает к себе меня! Знает ли об этом твой обком, товарищ начальник?

— Вероятно знает, — устало проговорил Гедвилло. Он слушал, думая о чем-то своем, а Максим Робертович все говорил, развываясь в кресле, и борода его победоносно вздымалась вверх. Онпил рюмку за рюмкой, не хмелея, и только упрямее и тяжелее становился его взгляд, и мясистая нижняя губа отвисала высокомерно...

Утром полетела в Москву, в наркомат, телеграмма-молния. В управлении строительства мгновенно разнеслась весть о решении руководства, но подробностей не знали даже начальники отделов. Гедвилло опять заперся в своем кабинете с Гессом, и только парторг магистрали был приглашен туда через час. Напрасно руководители финансового и материального хозяйства, снабженцы и профработники, плановики и люди, занятые вербовкой рабочей силы, напрасно все они выспрашивали друг у друга:

— В чем дело?

Никто из них этого не знал.

И откуда каменский дьякон блуждал по этажам и плотники с узловой станции разыскивали в управлении строительства какое-то знакомое начальство, а в аппаратах главного инженера, напрасно осаждаемых сотрудниками, беседовал с Платоном Гветадзе старый Гесс, — в это время в кабинете начальника строительства сидели три человека. Они готовили план фронтальной атаки на скалы, степи и поля — атаку на пространстве 1.200 километров, вытянутых в одну линию.

Один из этих трех людей — недавно назначенный партийный организатор строительства — был впрочем скорее зрителем, чем участником этого совета. Он сидел сбоку стола, посапывая носом и напряженно согнувшись в сторону Гедвилло, утвердительно и хмуро кивал в ответ на каждую его реплику и вступал в разговор только тогда, когда заходила речь о взаимоотношениях магистрали на том или другом участке с местными территориальными организациями.

— Нажмем в обкоме, — шипло выговаривал тогда парторг и записывал в блокноте номер участка и город—центр соответствующего района. Едва совещание кончилось, в кабинет начальника были вызваны все руководители отделов. Начальник финансово-счетного отдела и главный бухгалтер, начальник снабжения и председатель дорожного рабочкома, начальники плано-производственного отдела и отдела кадров — все расселись на стульях вокруг открытого сужном стола.

— Товарищи, — сказал Гедвилло, — предполагавшаяся задержка с проектом трассы нами ликвидирована. Проект в основном будет спущен по участкам к пятнадцатому апреля. Так что работы с мая должны быть развернуты по всему фронту.

Он обвел собравшихся строгим взглядом, голос его звучал командно.

К двадцатому апреля все участки должны иметь, согласно разверстке, свои суммы из первых трех миллионов рублей, отпущенных нам наркомом...

— К двадцатому? — изумленно спро-

сил главный бухгалтер. — И к первому вряд ли успеем, Ян Михайлыч, ассигновки еще из Москвы не получены...

Гедвилло повернулся:

— То-есть как не получены? А сколько у нас денег на текущем счету?

— Двести тысяч, — сказал начальник финансового отдела.

— Сто тысяч, — сказал главный бухгалтер. — Остальные уже розданы участкам.

Начальник строительства молча смотрел то на одного, то на другого.

— Вы свободны. Зайдете ко мне через полчаса, — с расстановкой сказал он обоим, и руководители горюпливо покинули кабинет. — Дальше. Стройматериалы. В первую очередь доски и гвозди, а также весь инструмент для землекопов и плотников должны полностью поступить на участки к двадцать пятому числу.

— Будет исполнено, — четко отозвался начальник снабжения. — Только на выкуп дубликатов по первоочередным материалам необходимо перевести немедленно...

— Сколько?

— Двести тысяч. Я с утра как-раз собирался вам доложить. И потом ряд наших грузов еще в пути, товарищ начальник, — безобразно застревают на всех направлениях...

— Что именно?

— Доски катальные, подтоварник, стекло, толь, кирпич...

— Почему не сообщили раньше?

— Докладная записка у вас — представлена перед вашим последним выездом...

— В Москву?

— Так точно.

— Зайдете ко мне через час, — зловеще-спокойно произнес начальник строительства. На обтянутых скулах его ворочались желваки. — Дальше. Рабочая сила на трассе по плану концентрируется на всех участках к тридцатому апреля. Отдел кадров, у вас тоже какие-нибудь объективные причины?

— Никаких! — громко ответил начальник отдела кадров. — По донесениям вербовщиков, план перевыполнен на двенадцать процентов...

— А по срокам?

— Товарищ Гедвилло, это ж не мы... это же ж от транспорта зависит, — менее громко произнес начальник отдела кадров. — Едут со всех концов, а когда доедут — тогда и на трассу... Я же ж тебе телеграммы показывал. А вот деньги на авансы рабочим готовить надо, а бухгалтерия...

— Зайдешь ко мне через полтора часа, — оборвал Гедвилло. Глаза его сверкали, кирпичный румянец пятнами проступал на щеках. Один за другим отвечали на его вопросы руководители разных отраслей, один за другим они покидали кабинет, — и в кабинете становилось все малолюдней и мрачней. Наконец в нем осталось опять трое: Гедвилло, Гесс, парторг.

— Так... — прошептал начальник строительства, держась за голову обеими руками. Он едва шевелил губами, глаза его смотрели на стол, — на разостланный план магистрали, — как в пустоту. Максим Робертович молча поглаживал бороду. Парторг сопел и смотрел на начальника.

— Придется в обкоме нажимать, — сипло выговорил он.

— А ну, нажми! — грохнул Гедвилло кулаком по столу. — Не мы, а обком теперь будет жать, да так, что из нас масло пойдет! — Он вскочил за огромным своим столом, юркий, тощий и низенький, отшвырнул план и метнулся к окну, а парторг смотрел на него, вынув глаза, словно спрашивая себя, сколько же можно выжать масла из сухощавой особы начальника. Гесс покачивал головой.

— М-да... Выходит, и спешка с проектом — ни к чему... — с расстановкой проговорил он, принимаясь набивать трубку.

— Что?! — Гедвилло резко повернулся. — Что? Спешка с проектом? Да мы из-за твоего проекта все строительство к чортовой матери забросили! Дело не в спешке, а в потере перспективы, товарищ Гесс! Зря мы не слушали Рыбакова, когда он предупреждал...

Главный инженер холодно улыбанулся:

— Я занимался проектом, другие

должны были заниматься всем остальным.

— Другие? Ты что же, на меня намекаешь! А кто, по-твоему, в Москве бы тогда все проталкивал?

— Я ни на кого не намекаю, Ян Михайлыч. Я говорю только, что каждый должен отвечать за то, что составляет его компетенцию.

— Ах, вот как! Так ты считаешь, что твоя компетенция исчерпывается составлением технического проекта? Тогда ты не главный инженер, а начальник проектного сектора, дорогой мой!

Максим Робертович медленно поднялся.

— Я уже предлагал вам, товарищ Гедвилло, как начальнику строительства освободить меня от должности главного инженера. У вас же есть такая блестящая замена, как Рыбаков...

Он повернулся и так же медленно вышел, сжимая трубку стиснутым ртом.

Через полчаса они помирились, как всегда в таких случаях; но картина общего положения на линии осталась перед обоими во всей беспощадной наготе. От Гедвилло начальники отделов один за другим переходили в кабинет главного инженера, и он обсуждал с каждым, что и кому надо делать немедленно для спасения плана работ. Он подписывал телеграммы, прикидывал цифры, соображал, урезывал, распределял — где-то что-то получалось, улаживалось, и тотчас в другом месте что-то расплзалось, образуя новую трещину в плане организации работ...

Нехватало всего. Нехватало денег, нехватало материалов, нехватало удовольствия — и больше всего нехватало людей.

За полмесяца до открытия работ, за несколько дней до окончания технического проекта командование строительства увидело, что командовать ему еще нечем, что на фронте у него ничего еще не готово для боев.

Как, как это могло случиться?

Об этом спрашивали себя и других каждый коммунист, каждый беспартийный специалист в управлении, спрашивали с изумлением, с гневом, еще

чаще — с растерянностью, а некоторые — с тайным злорадством:

«Допрыгались, голубчики...»

И многие вспоминали статью инженера Рыбакова в строительской многотиражке: там начальник южного участка резко, без обиняков, указывал на полную неподготовленность всей трассы к строительным работам. Но тогда, в разгаре парадных рапортов о невиданных темпах, голос Рыбакова многим казался брюзжанием устарелого спеца.

А теперь...

У подъезда уже фыркал автомобиль начальника строительства: Гедвилло с ближайшим же поездом уезжал опять в Москву — спасать положение, выхлопывать дополнительные нажимы, «двигать» и «толкать».

А главный виновник всего этого сидел в своем кабинете, окруженный инженерами, экономистами и бухгалтерами, сидел, угрюмый, осунувшийся и злой, зажав в углу рта давно потухшую трубку. Столовые и бараки для рабочих, проталкивание по дорогам грузов магистраль, борьба с неповоротливостью местных организаций по линии трассы, заботы о деньгах, о пайках, трудности вербовки людей, — всё, всё это вместе с самой техникой дела, с проектом, неожиданно оказывалось непосредственным делом его, Максима Робертовича Гесса, все требовало участия главного инженера магистраль — заместителя начальника строительства...

Так вот что значит быть строителем на языке большевиков!

Максим Робертович погружался вместе с окружающими его людьми в сводки и подсчеты, а перед глазами у него стояли далекие счастливые годы чистых от всего остального технических восторгов на постройках Франции и Бельгии, потом — постройки всяких военносрочных веток в годы военного коммунизма, когда все делалось как-то «само собой»... Он вспоминал наконец то совсем недавнее, спокойное время, когда вокруг его московского кабинета, в тихих комнатах одного из этажей НКПС, работали за длинными столами инженеры-проектировщики, его ученики и преемники, благоговейно внимающие каждому его

замечанию, а сам он, отгороженный от всякой суеты, делил свои спокойные, полные почета и достоинства дни между просмотром бесчисленных проектов, высокоответственными заседаниями в разных комиссиях по поводу этих же проектов и между профессорской работой в двух институтах, наперерыв выражавших уважение к его научному авторитету...

О, как раскаивался он в уходе от всего этого благополучия, в погоне за шумной славой строителей!

В институтах он читал студентам об искусстве выбирать направления дорог и конструкции мостов; в наркомате он учил инженеров проектировать эти мосты и дороги, создавать новые улучшенные типы и двигать строительную науку вперед. Он делал это с достоинством и с удовольствием, а потом студенты раз'езжались по всей стране, и проекты тоже уплывали куда-то, и никто не тормозил и не дергал Максима Робертовича, а только появлялись новые студенты в институте и новые проекты дорог в наркомате, чтобы потом также устремиться от него, Гесса, куда-то дальше, к каким-то другим людям, может быть, вот к таким старым инженерам, как Фаддей Рыбаков, или к молодым партийцам, как прораб Дорофеев, — одним словом, к людям, которые из идей и лекций инженера Гесса должны были делать железные дороги, как по эскизам и мыслям зодчего каменотеса делали пирамиды и дворцы...

...Он опомнился, когда из кабинета ушли последние сотрудники.

Товарищ Дорофеева, временная секретарша шестнадцати лет, спрашивала с порога:

— К вам тут еще посетители. Можно?

— Давайте по очереди, — рассеянно сказал Гесс.

Топоча, вошли гуртом шестеро плотников.

— Этот самый! — обрадованно сказали они друг другу, и вожак их, молодой скуластый парень, развязно заговорил:

— Товарищ начальник, може, помни-те — на станции работу нам посулили?

— Как же, помню, помню... — сказал инженер. — Ага, пришли все-таки!

— Да уж... Значит, согласны мы. Цельный день вас ищем, с настоящим инженером желательно сговориться, а то у вас тут всё народ непонимающий...

— Верно, друзья, со мной не пропадете! — улыбаясь, громко сказал главный инженер. Он отослал плотников в отдел кадров, приказав запиской дать им направление на южный участок и, всё еще усмехаясь, подумал:

«И это называется — нехватает рабочих!»

Затем в дверь кабинета пролезла шуба каменского дьякона. Всмотревшись в лицо Гесса, проситель грузно отмахнул поясной поклон и загудел перед столом:

— Господин товарищ, милостивец... Заставьте бога молить! Не обращают ваши служащие никакого внимания, а ведь тут по-человечески надо... Явите милость, разберитесь самолично! Я и с вагона, коли помните, доброты вашей век не забуду...

И дьякон, тяжко дыша, вновь отмахнул поясной поклон.

— А, так это вы!.. — вспомнил Гесс. — Что у вас, просьба?

Он прочел документ, задумался и сказал мягко:

— Оставьте это у меня. Инженер Дорофеев скоро будет здесь, и я сам поговорю с ним. А вас уведомят по адресу.

Дьякон ушел, кланяясь, пятясь задом и гудя славословия.

«И после этого говорят, что строительство магистрали еще не соприкоснулось с населением» — подумал Гесс, глядя в прикрытую дьяконом дверь.

Последней в кабинет тихо вошла женщина в старомодном мешанском пальто, похожая на учительницу.

— Не признаёте? — робко сказала она и подняла на инженера смущенный и в то же время ждущий чего-то взгляд.

— Нет... — проговорил Гесс, всматриваясь недоуменно в бледное лицо под белым платком. И вдруг — темное купе встало перед ним, серая расстегнутая кофточка и вот эти же испуганные, робкие глаза...

— Позвольте, я помню!.. Да-да, помню... — быстро сказал он.

А женщина уже говорила торопливо и смущенно о том, что вот она и братья услышали про постройку, а братья у нее — один десятник, а другой — по кооперации, и она тоже может работать, и вот все они трое очень бы хотели поступить к такому хорошему человеку, и до сих пор благодарны насчет билетов...

Максим Робертович слушал, оглядывая ее щеки, губы, глаза, и гладил пальцами бороду. «А ведь она чем-то похожа на ту... на Магдалину...»

— Вот что, милая, — негромко сказал он. — Братьям вашим работа найдется, только не в городе, а в районе, на линии...

— Да они согласны, куда укажете, согласны... — заторопилась опять женщина, но инженер жестом остановил ее.

— А вы, — сказал он так же негромко и ровно, — вы можете работать и в городе, если пожелаете... Дело в том, что мне как-раз нужна хорошая... домашняя работница.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Последний апрельский день таял на теплом ветру. А в штабе инженера Фаддея Дамиановича Рыбакова все еще ощущалось:

«На фронте — без перемен».

По всему участку положение было так же безрадостно, как и погода.

Уже трое суток ползли с юго-запада низкие грязно-серые тучи, влажное их дыхание веяло над селом, рябью гнало темную воду в лужах. Южный участок новостройки переживал последние часы надежды.

Приедут — или не приедут?

С трассы, со всех четырех пунктов, звонили по телефону, слали гонцов.

— Ничего не известно, — угрюмо отвечали в участке.

Начальник участка стоял на крыльце своей конторы. Парусиновый толстый макинтош вздувался на нем, усы и щеки были влажны от ветра. Тяжелые волны свинцово текли над ним, грозной мощью своей колыхая воздух, неся в на-



бухших водами недрах гулкие потоки энергии. Но инженер Рыбаков не замечал мрачного их величия. Другая долгожданная сила была нужна ему. Стоя на высоком каменном крыльце, напряженно смотрел он по ветру на Северо-восток; там, белея на темной пашне, тянулась с далеких холмов широкая лента шоссе. Оттуда, навстречу ветру и тучам, где-то, может быть, уж близко, может быть, еще далеко, полз, тек, катился другой многомошнный поток:

люди.

Девятьсот первоклассных грабарей с Урала и Украины с пятью сотнями коней и грабарок — ладных, вертких, извечных спутниц путевой стройки; двести пятьдесят комсомольцев — штурмовой отряд районной организации, набранный по горняцким поселкам на помощь магистрали; четыреста — или малость меньше — колхозников с окрестных полей, отряженных общими собраньями колхозов на строительство железной дороги, которой ждали эти поля без малого семьдесят лет, — вот какую силу ждали на участке, во власть усамого инженера в толстом парусиновом макинтоше.

Этим людям, вместе с пришедшими раньше, предстояло строить «ворота» сверхмагистрали, — самый громадный участок ее, растянувшийся фронтом на восемьдесят восемь километров.

И вся эта масса должна была пройти через контору участка на пункты за последнюю декаду апреля.

Каждый день, с рассвета до сумерек, строительный штаб ждал свою армию; каждый день выезжали нетерпеливые встречальщики на единственное в районе древнее шоссе: семь томительных дней не дали никого, восьмой и девятый — две грабарских артели по пятнадцать-двадцать человек, с отощавшими, понурыми лошадьми. С трассы, что ни час, названивали по телефону в контору, в рабочком; с дальних пунктов ежевечерне скакали гонцы: фронт требовал бойцов. Там прорабы, техники, строймастера, раскиданные по своим километрам, с горстками землекопов бились над вязкой, не просохшей еще целиной. Молчаливые кучки людей с уны-

лым упорством ковырялись в земле, все чаще отходя покурить, а то и просто отсиживались часами в пустынной степи, бесцельно оглядывая туманную, сизую даль. Простор шумел над ними, ветер и птицы весело носились над степью, но у людей дело шло вяло и скучно. Торопиться, напрягать волю и мускулы казалось бессмыслицей: жалкие усилия этих одиноких горсточек подвигали земляные работы в каждом пункте участка на сто-двести кубометров в сутки, — так можно было строить магистраль и десять, и двадцать лет.

Ефрему Дьякову, председателю рабочкома, вторая артель грабарей привезла со станции письмо от дорожного комитета. Был Ефрем — еще месяц назад — кондовым шахтером, нрав имел крутой и горячий, шибко стал обидчив еще со времен партизанщины против Мамонтова и Шкуро; шел слух, что за это и выдвинул его шахтком на строительство магистрали. Похудавший, сутулый от новых непривычных еще беспокоейств, сидел он теперь не на корточках в сыром забое, а на плетеном кресле за письменным столом, и черную стриженую голову его видно было с утра до вечера всем проходившим мимо окна рабочкомовской хаты.

В тот час, когда семь грабарских повозок стало на площади, пестрея тряпьем и бренча старыми ведрами, Ефрем Дьяков только-что кончил с секретарем отчет в центр. Грабари ждали с кнутовищами в кулаках, провожая глазами своего старшого к рабочкомовскому окну. Старшой, не здороваясь, положил кнут на подоконник и вытянул из-за пыльного голенища темный от грязи почтовый конверт. Присоединивши к нему артельную путевку, он расправил все на бугристой бурой ладони и поднес Ефрему:

— Драсте, начальник. Работать приехали.

Ефрем молча потряс ладонь и сгреб с нее все сразу — конверт оказался сверху, сигнализируя яркозеленой надписью: «Весьма срочно».

Ефрем, поплевав на пальцы, осторожно рванул его наискось, добрый кусок упечатанного плотно циркуляра остался

в конверте, но и вынуженной части оказалось слишком много даже на вес. Настороженно ползая глазами по строчкам, председатель рабочкома долго читал. Потом высунулся в окно по пояс, отодвинув плечом изумленного артельного старосту; и так же медленно пересчитал повозки: все равно — их было семь, не больше. Ефрем согнулся обратно, безвольно шевеля жесткими губами. Семь да вчерашних девять, шестнадцать... Он бешено скомкал бумагу и через плечо швырнул ее на стол, жилистый кулак сразмаху бухнул в косяк.

— Ы-ых, свволочи!!

Староста грабарей быстро отшагнул, выбросив к окну руку, но кнут его уже взвился в руке предрабочкома. Громыкнув стулом, Ефрем двинулся из комнаты, на пути хлестко жвикнул кнутом по столу, — бумажка слетела на трепетные колени секретаря. Через десять секунд Дьяков показался на пороге, кнут волочился за ним. Дьяков повернул к старосте, тот оглянулся — грабари подходили плотной кучкой, убыстряя тяжелые шаги. Ефрем выжидающе стал, шагнул — и вдруг сразу вдвинулся в тесный круг настороженных, хмурых лиц.

— Братухи, — сказал он отрывисто, задыхаясь от гнева и жалости, — братухи, ведь чего пишут, сволочи!.. Да рази я с вами едак могу? — Он взмахнул кнутом, чуть не задев по виску старшого, и крепко стиснул ему плечо. — Мало вас до чего, ребята! Пропадем мы с вами, все тут пропадем! Шестнадцать телег... А тыща-то где? Не видали? Ну, ладно...

Он тяжело вздохнул и смолк. Потом сказало тихо:

— На работу послезавтра встанете. Завтра праздник всемирный. Чего? Отощали, говоришь? Айда со мной к начальнику.

С кнутом в руке он пошagal к конторе, грабари шли за ним с понимающими лицами, переглядываясь и оправляя картузы.

Поглядев им вслед, секретарь рабочкома закрыл окно и бережно расправил смятые листки. Пока Дьяков устраивал грабарей, секретарь успел принять к

руководству первую дюжину пунктов циркуляра, трактовавших тесным ундревудным шрифтом о широких перспективах организации социалистического соревнования между грабарскими аргелями. В пунктах предлагалось разбить людей на бригады, по тридцать-сорок, с тем, чтобы число бригад в основном соответствовало количественному объему работ на каждом прорабском пункте». Далее излагались условия соревнования, образцовый текст договора и аккуратно выбитые отдельными приложениями статистические формы учета грабарского энтузиазма.

Секретарь, наморщившись так, что старательная прическа его лезла на самые брови, неторопливо, истово вникал в смысл каждой графы и рубрики. Он, видимо, наслаждался сознанием, что непосвященному и совсем не под силу было бы понять, какая аптекарская точность психологического анализа скрывается в этих серых, аккуратно пронумерованных столбцах, по которым он, секретарь, без запинки должен будет учитывать типы и характеры, социальные признаки и тайные настроения людей, их работоспособность и коэффициент полезного действия.

По временам, отрываясь от статистических форм, секретарь посматривал в окно на площадь: семь повозок все еще стояли, тесно груженные скарбом, лопатами, ребятей, худоребрые коняги по-нуро переминались под секретарским взглядом, словно чувствуя свою неподготовленность к столь многогранному статистическому исследованию. Секретарь видел это; но он был, несмотря на не старые еще годы, закоренелым романтиком. Семь грабарок, как семь фараоновых коров, являли ему образ избыточной внутренней насыщенности, заключая в себе не меньше как семь бригад по сорок повозок, соответственно пунктам. Одно смущало слегка секретаря рабочкома: о грабарских бригадах циркуляр уверенно выражался всюду в прошедшем времени, спокойными словами: «созданные», «сработавшиеся», «расставленные по трассе», «даввшие наилучшие показатели». Выходило, что грабари — много грабарей — должны бы-

ли притти на участок много раньше, чем циркуляр; в действительности же получалось наоборот, и секретарь, потревоженный сомнением, уже готов был поставить себе кощунственный вопрос: кто виноват в этой неприязни — грабари... или те, кто составлял циркуляр?

Он поглядел еще раз на унылые морды грабарских лошадей и опять углубился в ровные, четкие строчки циркуляра: они звучали непререкаемо, как самоучитель эсперанто, любимая книга секретаря.

Бумага, прозрачно-тонкая, шелестящая таинственно своей безмятежной мудростью, шла по земле легчайшими и точными путями, — не только люди, но и целые фабрики, и пишущие машины, и всякие скоросшиватели, и автомобили, и мотоциклы, и лакированные шкафы с хитроумными регистраторами, и паровозы, и аэропланы — все служило ее рождению, сохранению и движению; грабарь по сравнению с ней выглядел безнадежно первобытным.

Дикарь с заросшим обветренным лицом, с жесткими волосами и хриплым, отвыкшим от стен голосом, он возникал перед секретарем рабочкома со своей извечной лопатой в руке, как пещерный человек с каменным топором. Он тоже двигался по земле, современник пишущей машины и аэроплана, но как? Грабарка — древнее дощатое сооружение на колесах — ползла за конягой по проселкам, шляхам и большакам под ветром, дождем и снегом, а когда и взбиралась на рельсы техники, современность кисло уступала ей дырявую теплушку со знаменитой «малой скоростью», — утешением лошадиного самолюбия в двадцатом веке, — с бесконечным стоянием на станциях, полустанках, раз'ездах...

Секретарь разглядел прическу на лбу и поднял в окно суровый, осуждающий взгляд. Но грабарок уже не было там: Ефрем Дьяков уводил артель на стоянку, нагрузив грабарей пайковыми караваями и добытым в конторе авансом. И грабари шагали с председателем позади своих повозок и громко и дружелюбно рассказывали ему о своих дорожных мы-

тарствах, словно земляку или старому знакомому.

Ночью Ефрем не утерпел и пошел проверить, как устроили их на конном дворе, — он квартировал по соседству. Артель спала вповалку, спиртной дух густо застыл под навесом, несмотря на холодную ночь. Председатель рабочкома быстро прикинул на-глаз валявшиеся соломе вещественные доказательства: число литровок почти покрывало вчерашний аванс.

Так начался десятый день ожидания. Истекали считанные часы трехнедельного подготовительного периода. А давно ли казался он таким обнадеживающе долгим! И к тому времени, когда Фаддей Дамианович Рыбаков вышел на каменное крыльцо своей конторы, в грозовой атмосфере ожидания возникла уже совершенно нелепая, фантастическая дилемма:

или с первого же дня будет сорван майский план фронтального разворота работ на всех пунктах, или всю массу людей, сгрудившуюся по дороге сюда где-то на путевых неведомых плотинах, участку предстоит принять сразу, в один этот последний день.

Грабарей:  $200 + 300 + 250 + 150 = 900$ .

Комсомольцев с шахт:  $75 + 75 + 100 = 250$ .

Колхозников:  $14 + 20 + 26 + 31 + 17 + 51 + 13 + 22 + 19 + 43 + 36 + 8 + 30 + 25 + 40 = 395$ .

Оперативная сводка — мятый листок линованой ученической тетрадки — сжала полторатысячную человеческую массу в семь карандашных строчек. Так баллон сжатого кислорода, утешающийся в небольшом ящике, способен дать воздух целому отряду людей; так резиновый мяч, наполненный аммоналом, может взорвать скалу.

Начальник участка записал эти семь строчек вчера ночью, собрав воедино все телеграммы управления, все донесения вербовщиков, все протоколы колхозных собраний; подсчитал сам, не доверяя даже бухгалтеру участка, — тот, привыкший к семизначным числам, вряд

ли знал сокровенные тайны подсчета живых людей, превращающего детскую арифметику в новейшие логарифмы.

На рассвете листок ученической тетрадки был бережно спрятан во внутренний карман пиджака, но в теплом сатиновом покое стало тесно — еще на пути в контору — динамитной силе листка: в рабочком вырвался он из кармана и минут пять летал по шершавым и потным ладоням, темнея все новыми пятнами и освещая тревогой хмурые лица людей; в партийном райкоме жесткие пальцы заворга долго держали его, словно пробуя на ощупь, и твердый аккуратно подстриженный ноготь резко подчеркнул орду грабарей; наконец уже за площадью, недалеко от конторы, рессорная линейка начальника остановилась в последний раз — у шеренги недостроенных барачков. Оклик начальника вызвал из хаоса камней и досок взъерошенную фигуру помпрораба по труду. Упитанный рослый детина с огненными волосами, уже наживший на участке язвительно-сокращенную кличку «трудовик», подошел к линейке с видом обреченного.

Лохматое серое небо сеяло мокреть на оголенные ребра барачных крыш. Измятый листок простерся перед детинкой, как приговор. Угрюмо молчал он, готовая возражения и слушающая обидно-громкие попреки начальника, исподлобья косясь на проклятые бараки. Последняя фраза, сказанная тише, заставила его окаменеть. Отступив с дороги, оторопело смотрел он вслед отъезжавшей линейке, — произошло неслыханное в районе: беспартийный усатый спец пригрозил ему, кандидату в партию, встрепкой от райкома!

Растерянно смотрел он на сельские хаты, на широкую грязную улицу — нет, все оставалось прежним, утренний дым мирно курился над крышами, голые ветлы надежно охраняли колодезь на перекрестке, но его, помпрораба, не охранял никто...

В это время линейка уже подкатила к конторе, и листок опять торопливо пополз по рукам. Уже надоело начальнику лазить за ним в пиджак, он совал его на ходу в шершавые карманы макинто-

ша, но оттуда скоро вытеснили бумажку ежедневные дары природы: острые и гладкие куски камня — образчики барачного плитняка, конкуренты драгоценного в этих местах теса, пакетики с разнородными пробами песка, трехдюймовые гвозди без шляпок — образцы забот центрального отдела снабжения. Рабочий день только начинался, но карманы начальника участка являли вид предельной нагруженности. Вчерашние бутерброды, обретенные в ящике письменного стола, окончательно довершили дело: и злополучный листок, в спешных поисках подходящего места, был засунут в подкладку кожаной фуражки.

Шел двенадцатый час, свинцовые волны неба попрежнему текли над конторой, и попрежнему пусто было на шоссе.

Начальник участка всё не уходил с крыльца. Стоя тут, он слушал доклад прораба с дальнего пункта — с Песков, тут же допрашивал строймастера по столарным работам, ругал пьяного конюха, осматривал новых купленных лошадей; через час из конторы, потеряв терпение, стали выносить ему сюда же для подписи бумаги, счета, ордера, и он подписывал их на чьей-нибудь спине или на косяке двери, а сам все поглядывал на далекую ленту шоссе.

Наверху, в дощатом чулане с цветными окнами и жеманным названием «мезонин», телефонистка звонким девичьим голосом перекликалась с прорабскими пунктами:

— Шукино! Шукино! Принимай, говорит участок... «Грабарей нет... Грабарей нет, землекопов нет. По прибытии направим немедленно».

— Пески! Алё, Пески! Маруся, принимай... «Лопаты, тачки получены, дайте приемщика, землекопов нет».

— Каменка, слушаешь? Алё, алё, Каменка! «Грабарей нет, землекопов нет, по прибытии напра...» Ага, понятно? Передала Сосыкина... Да нет, не Фуфыкина! Сеledка, огурец, опять сеledка, ышак... Ну да, я, Галя! Узнал? А это Сурков? Да ты разве вернулся? Еще не женился? Чего? Некогда? Ну и мне некогда... Шукино! Шукино! Еще принимай...

Звонкий девичий голос радостно сообщал по всей трассе «новости», от которых у людей каждый день все крепче сжимались кулаки.

Неунывающая Галя Сосыкина звонила на пункты, на склад, на конный двор, на ближайшую железнодорожную станцию, звонила и с хрустом покусывала неизменную морковку, зажатую в левой руке вместе с очередной телефонограммой. Этот сочный хруст был для всех абонентов построечной телефонной сети чем-то вроде символа бдительности участка; он воспринимался как шифр или условный знак, по нему за километры от Гали Сосыкиной люди узнавали, что говорит штаб инженера Рыбакова. Так радиослушатели земного шара узнают по кремлевским курантам — Москву и Лондон — по колоколам Вестминстерского аббатства.

Фаддей Дамианович Рыбаков одним ухом слушал с крыльца галину передачу, другим ухом — прораба с Песков. Дылда, бубнит и бубнит, а что толку... У него самый легкий профиль: ни скал, как на шукинском прорабстве, ни моста и балок, как у Дорофеева, а вид у человека такой, что смотреть тошно. Глаза мертвые, нос унылый, воротник поднят и еще шарфом обкручен, пенсне дрожит в пальцах, а спина сутулится, словно прорабу не тридцать шесть, а шестьдесят лет...

— Вы что, Кульшин, нездоровы?

— Ничего, Фаддей Дамианович, держусь пока...

— Да что у вас? Грипп?

Инженер Кульшин бледно улыбается и молчит.

— Это не годится, — строго говорит начальник участка. — Сегодня же пошла к вам врача, и если что, немедленно в постель, и сразу все двадцать четыре лекарства. Нам долго болеть некогда!

Кульшин поправляет пенсне.

— Благодарю вас, но вы напрасно беспокоитесь. Никакого гриппа, я ежедневно меряю температуру и знаю, что ничем не болен физически.

— Так почему же у вас вид такой, словно у безработного немецкого конторщика в очереди за бесплатным супом?

Инженер Кульшин пытается улыбнуться опять, у него лицо человека, одухотворенно и тонко страдающего.

— Вы всегда шутите, Фаддей Дамианович. А у меня — очень тяжелое моральное состояние...

— Да, да, у меня — тоже... — рассеянно отвечает начальник участка. Он смотрит на шоссе, там показалось что-то. Но нет, это участковый грузовик идет со станции с партией досок.

— Так вы говорите — моральное? — оборачивается он к прорабу. — А что, доски катальные у вас на пункте в достаточном количестве?

— Досок у нас почти нет.

— Как нет?

— С ведома вашего помощника отданы временно на барачное строительство.

— Так что же вы заявку на май не сделали? Я вашей заявки не видал.

— Фаддей Дамианович, ну, что я буду писать вам заявки, когда вы же знаете, что у меня на всем пункте три десятка землекопов! Даже из наличных тачек половина стоит без дела. Если придут люди, тогда конечно...

— Постой, постой... Тачки лишние, говоришь? А зачем еще требуется?

— Я не требовал тачек.

— Как так не требовал? Вот же сейчас к тебе на пункт телефонограмму передавали.

— Не знаю... Может быть, кто-нибудь там без меня...

— Хорош командир! — Начальник участка гневно вздымает брови, моржевые усы его топорщатся. — Кто же это без тебя там может этак распоряжаться? Нет, брат Кульшин, это не дело...

Раздражаясь, инженер Рыбаков всегда и с любым собеседником переходит на «ты». Он поворачивается на крыльце и кричит наверх, на «мезонин»:

— Эй, товарищ! Как тебя... Галя! Соедини со складом, передай — тачек на Пески не выдавать, а выдать доски, наряд от прораба поступит через час. Понятно?

Наверху сочно хрустит морковь, Галя молниеносно вызывает склад, и, пока там ищут кладовщика, она так же молниеносно флиртует по телефону с конторщиком склада.

Начальник участка поворачивает прораба к себе спиной, пишет на ней несколько слов в своем блокноте и отдает прорабу:

— Вот распоряжение, оформишь там. А сейчас позвонишь к себе на пункт, пусть наряд переделают немедленно да чтоб подсчитали точно все наличие и тачек, и досок! Завтра донести мне.

Кульшин едет в контору. От его сутулой спины веет одиночеством. Инженер Рыбаков молча глядит ему вслед, потом поворачивается опять лицом к шоссе. В толстом брезентовом дождевике он кажется еще толще и неповоротливее, чем в действительности. Он трогает вислые усы, влажные от ветра, он хмурится, потому что капли дождя попадают ему на щеки и на густые брови, еще потому, что его давно раздражает нынешняя инженерская молодежь. То зазнайки—способный народ, но эгоисты и шкурники, то карьеристы с ловким языком, но без знаний, то вот такие шляпы интеллектуального фасона, вроде этого Кульшина.

«Ему бы при Чехове жить, — горестно думает о прорабе начальник участка. — Сидел бы в вишневом саду да чаю с вареньем у няньки просил...»

Инженер Рыбаков вздыхает. Что и говорить, вишневый сад — вещь очень хорошая. Этак стоит в цвету... а потом ягодки, ягодки... И вечер июльский, и самовар под деревом, и горка вишен в глубокой тарелке... А потом — настоечка собственного изготовления... Но Кульшин все-таки шляпа. Ведь не так уж и молод, лет двенадцать, поди, инженером, а инициативы никакой. Скверно с такими. Вот поставили его, Рыбакова, на самый большой участок строительства. Условия — хоть караул кричи: ни материалов, ни рабочих, трасса огромная, а какие у него помощники? Эх, разве это прорабы... Только и есть, что один Дорофеев. И его, того и гляди, перетянут в управление. Таких дельчих и там по пальцам сосчитать можно. Вот если бы на каждом прорабском пункте сидело по Дорофееву...

Фаддей Дамианович плотнее запахнул дождевик. Пустынная даль попрежнему лежала перед ним, у него все тос-

кливее щемило внутри. Из конторы вышел Кульшин. Рыбаков посмотрел хмуро:

— Когда едете к себе?

— Вот сейчас, я жду верховую. Проселком — такая грязь, что на линейке и пробовать нечего...

— Так вот. Смелянскую артель переставьте на тяжелый грунт. Ребята — молодцы, справятся, хотя бы на котлован или дальше, к раз'езду.

— Как хотите, Фаддей Дамианович... Но если опять забузят, я их к вам pošлю, так и знайте.

— Никогда этого не делайте! Хотите дисциплины, а не дорожите авторите том...

— Да какой тут авторитет, когда...

— Вон вам коняку ведут. До свиданья. Вечером, если надо, звоните ко мне домой.

— Есть... — Прораб поправил шапку, пенсне и осторожно спустился со скользких каменных ступенек. Обозный рабочий вел к конторе мышастого сытого конька под казацким седлом. Рыбаков смотрел сверху. Все село раскинулось перед ним, пестрея черепичными крышами вдоль желтой кустистой речушки до самого шоссе. Мимо каменной низкой ограды проходили и проезжали плотники, землекопы, местные ответработники, конюхи с конного двора, молодые техники в кожанках или в прорезиненных плащах с засаленными дочерна воротниками, женщины с ведрами, костистые широко шагающие грабари. Все они шли тройливо, мало глядя по сторонам, на ходу перекликаясь со встречными, но те из них, кто случайно поднимал глаза, невольно замедляли шаг. Плотная фигура в неуклюжем мешке дождевика издали видна была на крыльце, и люди, самые разные по характеру и положению и даже по степени своей причастности к строительству, — все эти люди неизменно оборачивались в сторону инженера Рыбакова. Люди приветствовали его улыбкой или молчаливым снятием шапки, веселым восклицанием или товарищеским взмахом руки. И он отвечал всем коротким военным жестом — к козырьку, хмурясь и усмехаясь в моржевые свои усы, и лю-

ди негромко говорили друг другу или думали про себя — разными словами, но одно и то же:

«Хороший старик...»

«Боевой старик...»

В это время грузовик с досками вернулся из-за угла и загрохотал мимо, разбрызгивая фонтанами лужи.

— Стой! — крикнул Рыбаков, махая рукой шоферу. И все, кто оказался в эту минуту на улице перед домом конторы, — два бородатых плотника, конюх, инструктор из партийного райкома, девушка с корзиной, ребятишки, шлепавшие по лужам, — все остановились, оглянулись и принялись кричать и махать шоферу с таким азартом, как будто остановка грузовика была им нужна не меньше, чем этому усатому толстяку.

— Стой! Стой!

— Сто-ой, тебе говорят!

Грузовик остановился. Рыбаков грузно сошел с крыльца и прямо по лужам зашагал к машине. Все молча следили за ним, шофер высунулся ожидающе.

— Минчук, — тихо сказал начальник участка, — Минчук, никого по дороге... не обгонял?

Он смотрел на шофера своим всегдашним тяжелым и спокойным взглядом, но была в этом взгляде такая острая, такая просящая человеческая тревога, что шофер понял и потемнел с лица.

— Никого нет, Фаддей Демьяныч... — так же тихо ответил он. — От самой станции сашэ пустое. — И смотрел на начальника сочувственно и виновато, словно и сам нес ответственность за общую беду.

Рыбаков обошел машину, открыл дверь и, пыхтя, сел рядом с шофером:

— На склад поедешь мимо райкома, там слезу.

Грузовик понесся мимо кооператива, мимо ларьков на площади, миновал клуб, обогнул новое помещение столовой и строящиеся на пустыре бараки. Гудя и фыркая, он подкатил к деревянному особнячку райкома партии, высадил инженера и загромыхал под гору — на склад.

В это самое время и тем же самым путем двигался к райкому еще один че-

ловек. И те же самые дела, и те же самые заботы влекли его туда. Только он не торопился так, хотя был вдвое моложе начальника участка и, пожалуй, вдвое уступал ему и объемом, и весом. Он шел пешком. Он напевал про себя что-то протяжное и унылое, но вид его смуглого лица был совсем не унылый. Он осматривал мир внимательными, чуть выпуклыми глазами, шагая легко и неслышно, распахнув прорезиненный серый плащ и открывая ветру черную суконную рубаху, ловко и туго подпоясанную военным ремнем.

Дойдя до кооператива, он зашел и, не торопясь, осмотрел товары, потом вежливо поздоровался с заведующим.

— Гребешки опять нет, — так же вежливо сказал он, глядя заведующему в заспанные глаза. — Папиросы опять нет, спички нет.

Кооператор яростно высморкался в сторону, глазки его налились кровью.

— Не извольте беспокоиться, товарищ, — заговорил он быстрым тонким голосом. — В правление заявка уже послана, будьте покойны.

— А что правление?

— А правление конечно обещает снабдить. Только они говорят, товарищ, что вашим строителям и так все сделано. Вам же два отдельных ларька дадено, товарищ...

Посетитель вышел и зашагал дальше. На площади дощатые ларьки — для строительных и один колхозный — теснились друг к другу, робко выставляя товар на просторных полках. Колхозный ларек приятно выделялся свежей тесовой белизной, — он стоял всего второй день, — и внутри ларька было также чисто, светло и бело: ряды крупных, свежих, голубовато-белых яиц, смуглые глиняные крынки густо застывшей сметаны, желтая гора творогу, пахучими слеглыми пластинами наполнявшая широкую деревянную бадью, — все выглядело весело, как выглядит утром первый пушистый снег, устлавший грязную мерзлую улицу. Продавцы строительных ларьков были явно смущены соседством этого ослепительного великолепия. Один, демонстративно отвернувшись, читал газету, другой старательно пере-

кладывал с полки на полку толстые рулоны лампового фитиля и связки новеньких платяных щеток. Верхние полки у него по всем трем стенкам были сплошь завалены пухлыми пачками разноцветных вязаных, «с начесом», шарфов. Увидев перед прилавком внимательное лицо покупателя, продавец приостановил свое занятие и ждал вопросов. Покупатель пасмурно оглядел полки:

- Гребешки есть?
- Ожидаем, товарищ.
- Нитки есть?
- Были.
- Посуда есть?
- Завтра будет.
- Лампы дешевые есть?
- Есть, как же, только без стекол.

Вчера я вам показывал.

- Папиросы, спички есть?

— Нынче как-раз накладную получили, товарищ, на-днях с базы привезут, пожалуйста! — обрадовался продавец. Он испытывал скромную гордость труженика, имеющего возможность не отвечать отказом ни на один вопрос.

Покупатель молча посмотрел на него, купил щетку и пошел дальше, мягко ступая по дороге.

В столовой он спросил о количестве ножей, вилок и ложек; в клубе зашел в читальню — узнать, сколько каких поступает газет, на стройке бараков не стал искать рыжего «трудолика», а присел на бревнах с плотниками — покурить и послушать, чем недовольны плотники и отчего так медленно работают.

Так, задерживаясь повсюду, он появился в особнячке райкома только тогда, когда Фаддей Дамианович Рыбаков уже собирался покинуть кабинет секретаря.

— Вот он, пропащий! Наконец-то! — шумно поднялся инженер.

— Мы ждем тебя пятьдесят семь минут, Гветадзе, — сухо сказал секретарь райкома. Он был малого роста, очень худой и щуплый на вид, несмотря на толстую вязаную фуфайку, так что Гветадзе рядом с ним казался высоким.

— Почему ты опаздываешь? — строго повторил секретарь. — У меня нет времени. Через полчаса повезут доклад

обкому, а по твоей линии нет ничего.

Платон мельком взглянул на него и сел к столу.

— А там, на линии, есть что-нибудь? — негромко сказал он, кивая в окно. — Там тоже ничего нет, товарищ Орвис. Не торопись доклад писать.

— Где там? На трассе?

Секретарь сморщился, как человек, которому досаждают повторением давно известных вещей.

— Вот об этом мы и будем писать, Гветадзе. Бери перо и бумагу.

— Что писать?

— Первое. Положение в районе строительством магистральной — угрожающее. Партизанщина со стороны соседних районов создает полную путаницу в вербовке рабочей силы. Второе. Райколхозсоюз безобразно медлит с привлечением на трассу свободных от посева колхозников. Третье. Комсомольцы, выделенные шахтами, до сих пор прибывают только одиночками. Четвертое. Бюро райкома наметило ряд жестких мер по отношению к руководителям всех орга...

— Не буду писать, — сказал Гветадзе.

— Что-о? То-есть как ты не будешь?

— Не надо писать.

— Ты... ты хочешь замазывать положение? Тогда мы поговорим иначе.

Секретарь райкома обернулся к инженеру:

— Товарищ Рыбаков, вы простите, но нам предстоит небольшое закрытое совещание. В партийном порядке. А потом мы снова пригласим вас...

— А? Ну что ж, пожалуйста...

Начальник участка, все время молчавший в углу, торопливо поднялся к выходу.

— погоди! — резко произнес Гветадзе. Он тоже встал, рука его легла на плечо инженера, как будто защищая этого большого усатого человека от щуплого низенького секретаря:

— Товарищ Орвис, не так делаешь! Рыбаков — начальник участка, зачем от него тайну делаешь?

Секретарь сморщился опять, он ненавидяще смотрел на Гветадзе.



— Слушай... прекрати это. Мне стыдно за тебя перед беспартийным товарищем...

— Пускай беспартийный, я при нем хочу говорить, понял? Он уйдет — я уйду! Втроем давай говорить, понял?

В кабинете секретаря стало тихо. Два коммуниста молча смотрели друг другу в глаза, старый инженер растерянно стоял у самой двери.

Орвис медленно вернулся к столу. Он сел, откинувшись на стуле к окну, и Фаддей Дамианович увидел, как побледнело его худое и гладкое лицо латыша.

— Хорошо, не будем терять время на споры, — ровным голосом произнес секретарь. — Говори, что ты предлагаешь.

Гветадзе быстро подвинул к столу два стула:

— Товарищ Рыбаков, садись, пожалуйста!

Он сел и сам. На смуглых щеках медленно гас румянец.

— Я предлагаю так. Делать — надо, писать — не надо. Колхозникам разъяснить, комсомольцев в работу взять... Разве кто кругом знает — какая магистраль, зачем магистраль? Никто не знает! Ты сам не знаешь!

Он протянул к Орвису ладонь, словно предупреждая возражения:

— Рано в обком писать. Давай сделаем, тогда напишем!

Фаддей Дамианович кашлянул в кулак.

— Товарищи, разрешите все-таки мне как начальнику участка. Дело ведь не только в мобилизованных комсомольцах и не в колхозниках. Главное дело сейчас — за грабарами, за квалифицированной в нашем строительстве рабсилой, которая идет к нам сразу большой массой и где-то застревает. И товарищ Орвис прав, что надо обращаться в центр. И в обком, и к начальнику строительства. Ведь возможно даже, что наших грабарей перехватывают другие участки, у нас и это бывает. Я абсолютно не уверен сейчас, несмотря на все эти телеграммы и подтверждения, получим ли мы сегодня-завтра хоть половину всей той массы...

— Это хорошо, — кивнул Гветадзе.

Фаддей Дамианович замолк на полуслове. Орвис поднял голову:

— Что хорошо? Что людей не будет? Ты болен, Гветадзе. Работаешь неделю, а совсем переутомился. Теперь я вижу, в чем дело!

Гветадзе гибко перегнулся к нему через стол. С полминуты он молча смотрел на секретаря — смотрел внимательно, почти грустно, и голова его грустно покачивалась над столом.

— Ты не видишь, — горестно усмехаясь, сказал он. — Ты ничего не видишь, Орвис. Кооператив видишь? Нет! Столовую видишь? Нет! Ничего не видишь! Значит, всю магистраль не видишь!

Он хлопнул ладонью по столу и сел, сверкая глазами:

— Тысяча человек приедет — куда денешь?

Секретарь райкома смотрел на чернильницу, инженер — на него. Гветадзе оглядел обоих, помолчал и сказал совсем тихо:

— Писать не надо. Работать надо.

— Ты кончил? — Орвис встал, опять сухой и строгий. — Из всего этого ясно только одно, что руководство строительного участка пытается свалить все свои беды на районный комитет партии... Почему же начальник участка...

— Позвольте, товарищи!.. — заволовновался Фаддей Дамианович.

— ... почему начальник участка не беспокоится о столовой, о ларьках, о барачном строительстве? Это его прямая обязанность, и райком будет требовать...

— Да постойте, товарищи! — рявкнул Рыбаков и тоже встал, громадный и круглый в своем дождевике. — Я разве сваливаю? Тридцать лет работаю и никогда ни за чью спину не прятался, это уж извините! Напрасно, товарищ Орвис! Насчет столовой, ларьков там и прочее — слезу каждый день, насколько времени хватает, но... Разве райком не обещал помочь? Ведь товаров я не рожу, продуктов не рожу, а все это райкомом обещано, товарищ Орвис, и у меня выписка из вашего протокола лежит, да-с! А уж если насчет барачков...

— Знаю, знаю... — секретарь раздраженно замахал рукой. — Дадим сте-

кол и кирпича дадим, только нельзя же сразу, товарищи... Ну, есть решение, и будем выполнять. Но следить-то, следить кто должен, товарищ Рыбаков, вы или я? Не могу же я, чорт возьми, заниматься только вашим строительством! У меня и без него трудностей хватит...

Платон Гветадзе молча, с усмешкой смотрел то на инженера, то на секретаря.

Ему казалось теперь, что он знает обоих не десять дней, а давно-давно, и этого боевого русского усача, и маленького латыша, колючего, как еж. Он вспомнил родную Грузию, он увидел картину, которую встретил раз где-то на родине, в Мингрельском краю, а может быть, в солнечной Абхазии или в жарком дождливом Аджаристане. По горной дороге катится вскачь древняя двуконная крытая линейка, дребезжащая, обшарпанная, но еще сохранившая на качающемся балдахине — над облезлым, когда-то бархатным сиденьем — рваную, когда-то нарядную бахрому... Еще есть такие линейки за Кавказским хребтом! Еще возят они людей, возят и грузы, существуя рядом с многосильными автобусами, поездами-экспрессами и огромными морскими пароходами. И куда величественней, независимей и хладнокровней смотрит смуглый человек с их высоких козел на растущую вокруг быстроту движения, чем любой прославленный московский «лихач» на сверкающие троллейбусы! Любят еще люди не машину, а живую, горячую езду!

Вот на такой линейке везет человек в корзинах поздние груши, везет ранние мандарины, везет сочный инжир и спелую оранжевую хурму.

Вскачь несется линейка, поёт человек, и возница поёт на козлах, и оба помогают друг другу голосами, подхватывая один и тот же бесконечный мотив, и обоим наверно кажется, что другой без него ни за что не спел бы так хорошо. Катится линейка под гору, переезжает мелкую горную речушку. Но камениста речка — крах! — и наскочила линейка на большой гладкий камень, как-раз врезался он между колесами во всю ширину. Перекосилась линейка, посыпал-

ся в речку сочный инжир, посыпалась и хурма, и поздние груши, и ранние мандарины. Соскочили оба певца и ругаются яростно:

— Ты что конями не правишь?

— А ты что за корзинами не глядел?

А лошади стоят понуро в речке, и уносит быстрая вода мандарины и груши, инжир и хурму...

Тогда сделал Платон Гветадзе просто. Подошел он к спорщикам, развел осторожно направо и налево к линейке, а сам сзади взялся, и втроем наконец сняли они линейку с камня.

И теперь взял он за руку старого опытного инженера, потряс тощий локоть секретарю и сказал дружелюбно и весело, показывая обоим белые крепкие зубы:

— Делать надо, кацо. Ругаться потом будем. Писать тоже потом будем.

Дверь кабинета открылась:

— Товарищ Гветадзе тут? К телефону!

В трубку Платон услышал хруст, сочный и аппетитный, как молодость. И молодым, аппетитным, сочным голосом девица Галя Сосыкина крикнула в трубку:

— Товарищ парторг! Едут!! На шоссе видать!



Лошадей не было.

— Я побегу! — крикнул Гветадзе, кидаясь к двери.

Фаддей Дамианович торопливо потряс руку секретарю и широким шагом пустился вслед парторгу.

День прояснялся. Тучи катились над селом, уже разорванные. Рыбаков шаггал, торопясь, к шоссе. Издали, на взлобье равнины, виднелись там темные точки, и Фаддей Дамианович зашепшил, как не приходилось ему спешить уже давно. Старинная любовь к ходьбе пружинила его шаг, он двигался быстро, но скоро дорога пошла в гору, и он почувствовал, что отвык ходить. Усы его раздувались на ветру, ноги путались в толстых полах макинтоша. Он запыхался, порозовела бритая шея под кепкой, внутри прерывисто колотилось, но он

все шел, поглядывая на шоссе, и только тучи, отражаясь в лужах, обгоняли его.

В поле стало свежее. Начальник участка снял на ходу кепку, вытирая лысину платком, он волновался тревожной нетерпеливой радостью, как юнец, опаздывающий на свидание. На повороте, за старой часовней, он увидел парторга. Гветадзе стоял к нему спиной, расставив ноги, сняв от быстрой ходьбы плащ. Ветер обтягивал на нем рубашку, — длинная, она чуть не до сапог закрывала его военные синие брюки.

Инженер подошел и стал рядом, шумно дыша. Парторг даже не оглянулся. Он смотрел на шоссе и напевал что-то тихое, не раскрывая губ, и сам был опять тихий, как всегда, словно в рай-коме не произошло ничего.

Оба молчали, пристально всматриваясь вдаль.

По шоссе медленно сползала к селу длинная вереница подвод. Ветер относил скрипы, фырканы и перекликающиеся голоса, и оттого издали казалось, что люди едут угрюмо и молчаливо, как на похороны. Длинная цепь телег тянулась обрывками, и Гветадзе заметил — чем дальше, тем длиннее становились интервалы. За последним обрывком очень долго лежало пустое шоссе, потом вынеслись вскачь еще две телеги, за ними — верховой, и опять пусто. Парторг покосился на инженера: Рыбаков смотрел вперед, надивинув кепку на седые брови. Передние повозки подъезжали всё ближе. Опустив морды, низкорослые лошаденки семенили труско; на кургузых тележках дребезжала торчащая во все стороны кладь, качались укутанные бабы и ребята.

Это двигалась к трассе сила, которую помнили столетия, — это ехали на строительство долгожданные артели грабарей.

Ой, тяжка была, как барщина, и славна, как воинский подвиг, стародавняя служба ваша, грабари! Изпод Киева да Черкасс, да с Полтавщины пошло кочевое ваше племя — сколько сел, волостей, целых уездов потянулось за вами со всех концов!..

Широки просторы российские. Колы-

мажники тамбовские — из Алгасова, коновозчики нижегородские — из Лукьянова, курские — с Обояни, знаменитые за Уралом таратаечники миасские, тютнярские, угрюмые бородачи с далеких берегов Енисея — разнолика и неисчислима, видно, грабарская армия, коли не взялся еще никто ее сосчитать! Всюду, где стройка, где срыта или насыпана громадными массами земля, — всюду потрудились грабарь с тарахтящей своей грабаркой; но нет для него сподручнее дела, чем насыпь под рельсовый путь да выемка, да карьер — и не было в Российской империи ни одной железной дороги, где строители обошлись бы без грабаря.

Почему?

Уперлась, что ли, в тупик инженерная наука? Или так уж хитра да сноровиста грабарская онасть?

Широки просторы российские. Много, ой, много надо вскопать земли, чтобы этакую-то ширь да покрыть, словно сеткой, колеями стальных путей. Не натаскать ее, земли, в пригоршнях, не наносить в носилках, не навозить в тачках — хоть и нужен, да жидок такой инструмент для настоящих многоверстных работ... Тут и выехал, как высшая боевая техника, никому еще не известный грабарь — лопата в руке, в другой — вожжи веревочные, лошаденка да корытце дощатое на колесах, — вот он весь, на любую стройку готов!

— Э-эй, тпру!! Куда рассказали, лапотники? За свое ли дело берешься, мужик? Тут чугунную дорогу ученые люди задумали, а ты — чего? Что сказал бы о тебе кавалер фон-Герстнер, инженер и профессор австрийской службы — первый строитель, первый машинист, первый директор и первый кондуктор российских железных дорог?

Прикинул, прищурился инженерский глаз...

Силу меряет время, и оно же рождает ей смену; так, от силы к силе, вечно меньшей вчера, чем сегодня, пробивается сквозь времена человек. Аркебуз и пищаль, победивши пращу и стрелы, сами били полвека три-четыре выстрела в час. Пушкин мчался к царю под фельдгерской стражей, как ветер, про-

езжая за сутки один неширокий уезд. А давно ли из пушек, грозу на врага наводивших, сотни каменных ядер летели на сотню шагов?

Так пусть же тарахтит и пылит по стройкам, пробивая дорогу подлинной технике. самодельный крестьянский снаряд! И вот уже потянулись, поехали грабари, оглашая трассу руганью, скрипом и криками, и мелькают, звеня, вгрызаясь в землю, лопаты, и — не успел оглянуться поставленный инженером десятник, как полны уже через верх дощатые корытца грабарок... Нахлестанные веревочными вожжами, шустро втаскивают их на откос лохматые лошаденки, и, высыпав грунт, так же ловко и шустро прыгает возница на задок колымажки и так, стоя, даже не натягивая вожжей, стремительной рысью с'езжает по откосу, прямиком вниз, по рыхлой круче, — только визгнет, треснет где-то, выпрут сразбега над лошадиной мордой оглобли, чуть не стаскивая с нее хомут, накренится, перекосит сразу весь дребезжащий снаряд, — вот сейчас грохнет кувырком, разлетевшись на щепки! — но миг еще, и тарахтят по дороге все четыре разболтанных колеса, и дробно и быстро стучат копыта, и возница, все так же стоя, пускает вскачь — за другими повозками, за новым грузом... А насыпь растет, подымается на глазах, и восхищенный десятник докладывает подехавшему инженеру:

— От народ, ваше благородие!.. Полтыщи кубов навалили, по такому-то грунту...

И кто только выдумал, кто создал тебя, грабарь? Какая сила оторвала от пашни крестьянина, погнала с родного двора на кочевую цыганскую жизнь?

Широки просторы российские. Много кругом земли, да нет ее для крестьянина. Не стало давно крепостных, — зато безземельных всё больше да больше. В город податься — на фабрику одного приняли, а десятерых обратно погнали — нехватает работы на всех. Что ж теперь делать? Слышно, где-то за тысячу верст чугунок задумали, там вот нужен народ, и деньгу дают длинную.. Эх, была не была! Коли нельзя мужику стало землю пахать да сеять, — айда,

братцы, с места на место ее, матушку, пересыпать... Так и пошли грабари — из поколения в поколение.

Сыновья за отцами, правнуки за внуками учились тяжелому своему ремеслу, так целыми семьями и ездили по стройкам: дед с отцом копают, подросток отвозит на грабарке, а грудной ползает в стороне около матери, пока та, бросив лопату, похлебку варит в котле.

Этак же ползал когда-то и вожак черкасской артели, сивоусый Охрим Кочубей. Он и родился на стройке, в горячую самую пору, под высокой песчаной насыпью, и уже тем одним стал виноват, что отнял рабочий час у отца да целые сутки у матери — восемь гривен, как ни клади! Каждый год потом, с ранней весны до первого снега, видел Охрим одно и то же: мотающиеся потные лошадиные морды, треск и скрип нагруженных землей повозок, и у всех кругом — лопаты, кирки, а то и топоры, безустанно вонзающиеся в глину, в песок, в мергеля, в каменные крутые глыбы. Подрастая, таскал Охрим Кочубей воду и хворост, поил коня, а потом... Вместе со сверстниками, на десятом году жизни, вскочил он на задок грабарки с вожжами в загорелых ручонках, а скоро — раньше времени, раньше всех товарищей — пришлось сменить вожжи на держак лопаты, отполированный вглядь отцовскими мозолями: распоров о камень ногу, в три дня почернел и помер отец. Плакала мать, причитали старухи со всей артели, только Охрим не плакал: он сторожил отца — со вторника лежал покойник за табором в кустах, хоронить до воскресенья было некогда. В эти пять долгих суток, отгоня от мертвого псов и зевластое воронье, впервые и окончательно определил Охрим, что такое жизнь человека на свете. Глядя в обросшее лицо отца, раздувшееся от носа к ушам и уже черное, как земля, он думал о том, что вот прошибся отец, пропал сам, а теперь пропадут и они с матерью и сестренкой. Шел у них заработок шибче, чем у многих в артели, и в последние дни все чаще толковал отец, что скоро уж откупит у подрядчика и лошадь, и все снаряженье, как откупили уж и Панковы, и

дядя Гризук, а теперь... Где же им с матерью! Кабы лошадь своя, наработали бы на зиму — ладно; а тут — не миновать голода к рождеству, и будут они биться голяками, как бились отец и дед...

Много лет прошло, пока стал Охрим Кочубей заправским опытным грабарем, потом старшим в малой артели, а потом и одним из вожakov всех грабарей черкасских.

Кто на стройках не знает теперь Кочубея?

Знают и высокие начальники, командующие целыми строящимися дорогами, знают и молодые инженеры да техники, хоть два-три года пробившие на земляных работах; но лучше всего знают таких Кочубеев старые инженеры-строители, проложившие за свою трудовую жизнь столько новых дорог, сколько проложил их инженер путей сообщения Фаддей Дамианович Рыбаков.

Он сейчас стоял рядом с парторгом у часовни, пытливо из-под бровей всматриваясь — не знакомые ли едут артели? Не старые ли товарищи по прежним трудовым фронтам? Вот, оглядев людей и грабарки, он шагнул к дороге и зычно спросил:

— Киевские?

— Киевски, — хмуро откликнулись грабари, понукая коней. Молодые ехали мимо, равнодушно разглядывая Гветадзе и Рыбакова, старые, подвезая, медленно снимали шапки, и Гветадзе, стоявший впереди, молча отвечал им, прикладывая ладонь к козырьку.

— Брось, Платон, — тихо, по-отечески, сказал инженер сзади. Гветадзе оглянулся — и покраснел: грабари, снимавшие шапки, проезжали перед часовней, истово крестясь.

Грабарки тархтели по дороге, лошади, легко перебирая короткими ногами, бежали ходкой собачьей рысцой. Между артелями, словно между частями войска, заметны были интервалы: четыре артели насчитал Рыбаков. Пятая ехала особняком, всей повадкой отделяясь от цыганского таборного облика колонны. Утварь в повозках лежала ровно, пузатые кованые сундучки были аккуратно пригнаны в углы грабарок, плотно зало-

женные тугими мешками, овчиной, подушками в линиях полосатых наволочках. Многие повозки были укрыты брезентом — старым, но тщательно заплатанным, малых ребят не было видно, зато подростки почти всюду правили лошаадьми.

На каждой из этих грабарок люди поднимали шапки, но теперь Платон видел, что это относилось уже не к часовне, а к начальнику участка. Многие грабари улыбаались ему, перекликались и долго оглядывались назад, на усатого человека в длинном дождевике. Тот стоял, быстро всматриваясь в лица, ища кого-то на каждой грабарке, и по тому, как весело щурились под козырьком его глаза, как успевал он отвечать на каждое приветствие коротким кивком, добродушной усмешкой в усы, Гветадзе понял, что эти грабари и инженер Рыбаков хорошо знают друг друга и что встреча очень приятна и им, и ему.

С одной из грабарок легко прыгнул на ходу высокий, сухой бородач, в рыжей фуфайке и болотных сапогах.

— Кочубей! — радостно крикнул Рыбаков, шагнув навстречу.

Бородач встряхнулся весь, словно конь, — пыль облаком встала над ним. Он ударил картузом по руке, обер ладонь о штаны и подал ее инженеру.

— Фаддей Демьянычу честь-почтение, — тулко сказал он, освещая широкой улыбкой обветренное лицо.

— Сколько привел, Кочубей?

— Коней без пары полста да рук сто пар с четвертью, только и всего, Фаддей Демьяныч!

Грабарь еще раз встряхнул картуз и надел. Он стоял перед инженером в свободной позе независимого человека, но во всем облике его, в выражении обветренного бородатого лица было видно откровенное расположение к Рыбакову — готовность, почти преданность.

Светлые глаза грабаря смотрели на мир изумленно и ясно. Зорко оглядев Гветадзе, он протянул руку и ему.

— Мало, мало привел. А что ж так задержался, Кочубей? — спрашивал Рыбаков, продолжая осматривать проезжающие грабарки.

Бородач раскинул руки:

— Кони встают, хозяин. Беда.. — Он метнул глазом в Гветадзе и, видимо, решив, что при нем можно, стал рассказывать, как их при отправке обманули с фуражом, как подбились они в дороге, покупая на последнее гнилую солому для коней.

— Только и вздохнули, что на базе. Вижу — начальник знакомый, тоже по старым постройкам вспомнил, ну, дал кукурузы, овса даже малость. А то прямо встают кони, беда!..

Базой была ближайшая — и все-таки очень далекая — узловая станция соседней дороги, куда должны были стекаться все грабари, законтрактованные для южных участков трассы. Рыбаков слушал молча, беспокойно жуя усы. Мимо полз уже хвост артели, грабари соскакивали с повозок, окружая стоявших. На шоссе опять было пусто. Дымным туманом висела над кустами пыль и медленно уплывала на восток, к холмам.

— Вот и все... — протяжно сказал инженер. — А много ли, Кочубей, еще осталось на базе?

— Грабарок сорок.

— И все?

— И того не будет, — отозвались некоторые из грабарей. Они стояли за Кочубеем, подбочась и в упор оглядывая начальство, от них пахло пылью и дружбой, ветром и дерзостью — суровым и вольным дыханьем кочевья. Один, плечистый и маленький, в грязных спортивных туфлях на босу ногу, шагнул к инженеру:

— Народу ждешь, начальник? Ну, жди-погоди, коли время впереди. Мы с тобою будем спать, а бог — насыпь насыпать!

Вокруг засмеялись. Подступая ближе, грабари знакомо кивали Рыбакову, тот сощурился в усмешке и сразу же ухватил остряка за плечо:

— И ты здесь, Душкин? Отдохнул уж, герой, после Турксиба?

— Придет время подышать, тогда будем отдыхать, — негромко сказал кто-то. Но его не слушали: инженер, раздувая усы, явно собирался сказать что-то смешное. Он отпустил плечо Душкина, покачивая головой, как бы жалея, что

придется действительно «погодить», и сказал серьезно:

— Ничего, Душкин. Будут у нас и кони, и люди, не придется вот только спать на верблюде!

Грабари дружно загрохотали, скаля крепкие зубы, раскатистым басом загудел и сам Кочубей. Душкин сконфуженно отвернулся.

На открытии Турксиба, получивши премию как лучший ударник рыбаковского участка, он напился с киргизами до бесчувствия и в поселок был доставлен на верблюде, как вьюк.

Рыбаков веселыми глазами оглядывал хохочущих грабарей, а лицо его оставалось серьезным и встревоженным. Тронув Кочубея за рукав, он зашагал с ним по дороге, вслед повозкам.

— Слушай, старик... сорок еще, говоришь?

— На базе-то? Без коней они, Фаддей Демьяныч.

— Как без коней?

— Такое дело вышло. У них, слышь, на погрузке коней не приняли.

— На станции отправления?

— Ну да. Закон там, что ли, какой вышел от местной власти, чтобы конского состава из района не выпускать. Они — вертать, а вербовщик, дурак: «Езжайте, — говорит, — так, на трассе всем коней выдадут». Поверили сдуру, теперь пятые сутки на базе сидят. Жрать нечего и работать нечем.

— Платон, слышишь? — Рыбаков резко повернулся, но Гветадзе уже шел рядом, молчаливый и внимательный. — Та-ак И больше — никого?

— Никого, Фаддей Демьяныч.

— А орешковские? От них телеграмма была, что выезжают.

— Что ж телеграмма. Письменный стал народ, во все концы пишут. Им тоже телеграмма есть от самого Гедвилы, от Ян Михалыча, — дескать, аванс на дорогу по телеграфу выслан. Телеграмма-то в скорости дошла, — говорят, «молния», а уж денег, видать, ждатель доведется, куда гром грянет...

Он посмотрел на небо, тучи ползли теперь медленно, в поле было тепло и тихо. От села, огибая колонну повозок, катила парная линейка. Рыбаков узнал

своих лошадей и остановился, поджидая грабарей.

— Вот что, друзья. Завтра праздник, отдохнете, а второго—прямо на работу. Кочубей сегодня же сходит к прорабу, возьмет наряд, продовольственные там карточки и все прочее.

— Это — спасибо, Фаддей Демьяныч, с тобой не пропадем, свои люди! — наперебой заговорили грабари, опять окружая инженера. — Главное, насчет пищи, чтобы руки-то ходили...

Душкин вывернулся опять:

— Раззудись, моя рука, будет сала да мука!

Но тут, отодвинув Душкина, Кочубей заслонил собой всю свою ватагу:

— Первое дело, Фаддей Демьяныч, сами знаете не хуже нас... Какой будет расценок — вот в чем разговор.

— Ну, что расценки — расценки у нас одни, — равнодушно и быстро заговорил Рыбаков, двигаясь к под'езжавшей линейке. — Что нам с тобой первый раз, что ли, вместе работать? Расценки правительством утверждает на весь Союз. Вот встанешь на грунт, тогда и поговорим. Ну, до завтра, ребята, отдохните малость да коней подкормите как следует. — Он сел на линейку, тяжело качнув рессору, написал что-то в блокноте и подал листок Кочубею:

— Отдашь в конторе завхозу, он выдаст фураж на три дня. Поехали, Платон.

Гветадзе тронул его за локоть.

— Обожди, пожалуйста, Фаддей Дамианович. Товарищи! Кто пожелает, приходи завтра на митинг. Завтра первый май, праздник труда, товарищи...

— А чем угощать будешь? — баламутно откликнулся было Душкин и осекся. Остальные смотрели непроницаемо. Кочубей строго косился на Душкина через головы грабарей. Гветадзе встал на подножку линейки:

— Значит, все приходите, товарищи! После митинга будет собрание коммунистов, открытое для всех граждан. Будем говорить про все нужды, насчет снабжения, культурботы...

Грабари дружно молчали. Молодые с любопытством осматривали парторга, старые отводили глаза.

— Благодарим, товарищ! — гулко выговорил за всех Кочубей. Выражение лица его, заросшего русым волосом, надежно пряталось в бороде и усах.

Лошади с места взяли рысью. Гветадзе молча смотрел на бегущие мимо кусты, плотная спина инженера упиралась ему в плечо. Рыбаков, покачиваясь, бормотал что-то, видимо, оям себе. Так они проехали целиной по степи до первых хат, и сейчас же, обогнув на пустыре бараки, линейка вынеслась на широкую улицу; в конце ее виднелась контора.

— Плохо, плохо дело.. — бормотал инженер. Парторг молчал, покачиваясь на рессорах за его спиной, и Рыбаков обернулся на сиденье:

— Чего молчишь, Платон?

— Тебя слушаю, Фаддей Дамианович.

Они оба не замечали даже, что после разговора в райкоме почему-то перешли на «ты» — два совершенно разных человека, знакомые едва неделю, и по возрасту скорее отец и сын, чем товарищи.

— Плохи дела, говорю! — повторил инженер. Они под'езжали к конторе.

— Ничего...

— Чего «ничего», людей-то, видал, сколько прибыло? Вовсе ведь мало людей!

— Зато это — я вижу — хорошие люди, — соскакивая с линейки, отозвался парторг.

Начальник участка тяжело слез и молча пошел к крыльцу. На ступеньках он обернулся к Платону, шагавшему сзади:

— Много ты видишь, да мало знаешь. Эх, ты, а еще коммунист... Хорошие дрожжи, молодой человек, в тесто класть надо! Одними дрожжами — это только мало кровных пичкают, а Россию, брат, малокровной считать не приходится...

Он говорил негромко, ворчливо и отрывисто, а люди уже шли к ним со всех сторон: и техникам, и десятникам, и землекопам, и инженерам нужен был начальник участка, — продолжались нескончаемые дела и заботы строительского дня.

Рыбаков в своем толстом дождевике оборачивался к тому и другому, он решал одно дело за другим неторопливо и безостановочно, словно не замечая, что дела эти все тесней окружают его. Так продирается через чащу медведь, привыкший к лесной своей глухомани.

Платон с безмолвным восхищением следил за ним. Он любил получать уро-

ки, но больше всего ценил уроки неожиданные. Он слушал, как распоряжается начальник участка, а сам думал:

«Хорошо бы знать, каких у нас спецов больше, — таких, как этот, или таких, как Гесс?»

И сам не знал теперь, какого ответа хотелось бы ему на этот риторический вопрос.

*(Продолжение следует)*

---



# Стамбул, Анкара, Измир

Л. НИКУЛИН

## III. ГЮЗЕЛЬ ИЗМИР<sup>1)</sup>

«Путешественнику разрешается говорить: «Я был в Нью-Йорке, оттуда я отправился морем в Южную Америку; я добрался до Санта фе де-Богота. По пути комары и москиты измучили меня, и в течение трех дней я ничего не мог видеть правым глазом» Такого путешественника нисколько не обвиняют в том, что он любит говорить о себе. Ему прощаются все эти я и меня, потому что это самый ясный и интересный способ изложения того, что он видел».

Стендаль — «О любви».

**К**аршияка — предместье Смирны. Южная станция, гортанный смех, восклицанья, шорох шагов на платформе. Электрические матовые шары светят сквозь прозрачный навес листы. В воздухе — влажная свежесть, запах мазута и соль морского прибой. Затем все скрывается в облаке пара. И опять ночь, редкие огни, нефтяные цистерны, тусклые пересохшие лужи, унылый, как бы океанский, пейзаж, большая гавань в Ламанше.

Последняя остановка. В окне замедляющего ход поезда появляются головы людей. Световые полосы и пятна плывут по плечам, лицам мужчин и женщин. Я наугад кричу в пространство: «Товарищ Терентьев!» и слышу зычный и радостный возглас: «Эге! Привет! Это я!»

Затем мы долго едем по совершенно темной набережной. Безмолвные мертвые здания, наглухо закрытые железные ставни. Далеко, под прямым углом к набережной, рассыпаны огни, млечный путь огней, стелющийся по горизонту. Но здесь все мертво, морская бездна, бархатный мрак за парашетом

набережной. Как это не похоже на город-мечту — Гюзель Измир — Прекрасную Смирну.

Вот мы сидим в большой и высокой комнате с расписным потолком, лепным карнизом. В камине плавится кокс, пламя жжет мне лицо и руки, но спит холодно. Вообще грустно и холодно в этом мрачном, отдающемся в наем, особняке смирнского негодянта.

Я рассказываю соотечественникам о родине, которую я оставил два месяца назад, они не видели ее два года. Я рассказываю пространно и долго и поймаю, как должно быть грустно четырем советским людям в холодном доме-гробнице, в лабиринте пустых комнат, соединенных скрипучими лестницами, коридорами и галереями. Ночью по коридорам, топая, как человек, ходит большая крыса.

Я засыпаю под плеск прибой, глухие гудки парохода и вдруг просыпаюсь от грохота и удара в стену. Затем сонный голос осведомляет меня: «Ушла» (это относится к крысе), и тот же голос желает мне крепкого сна и спокойной ночи. Так проходит ночь, я открываю глаза и вижу щели ставен, пылающие, как полосы расплавленного металла. Одним

<sup>1)</sup> См. «Новый мир», кн.кн. 7 и 8 с. г.

духом я открываю ставни. Взрыв, пожар, каскад слепящего света обрушивается на меня. Сначала день ошеломляет и ослепляет, затем я привыкаю к торжествующему блеску и сиянию смирского утра. Море. Смирнский залив стоит перед моими окнами, как малахитовая стена, как густосиний плотный занавес, расшитый серебряными зигзагами прибоя. Двадцать шагов—ширина набережной—отделяют меня от моря. Тяжелая синяя влага ходит за паркетом, изредка переливаясь через край. Морская вода испаряется на горячих плитах набережной, и воздух наполнен солью, свежестью, теплом и светом.

Я достаю бинокль и поднимаюсь на вышку старого дома. Смирна открывается, как с высоты крепостной башни. Цилиндры «Стандарт Ойл», трубы заводов, мачты, стальные повисшие над путями арки, тростники минаретов и турецкая Смирна, старый город, дома, сбегаящие врассыпную с горы и припадающие к синим водам залива. Руины башен и крепостных стен лежат на вершине горы, как корона с выломанными зубцами. В радуге и блеске проскакивают перед стеклами бинокля кварталы Решадие, и вот я вижу пристань. Корма пассажирского парохода висит над набережной, и канаты, как струны, протянуты между берегом и морем.

Я вижу удаляющиеся дымы пароходов, мостки купален, виллы богатых эспаньолов и сады, спускающиеся к морю. Я вижу каменную дугу набережной, двенадцать километров уложенного в море камня. Мраморные дома набережной тихи и молчаливы, как ночью. Спущены шторы и закрыты железные ставни. Итальянский и греческий, немецкий и шведский флаги почти неподвижно стоят в воздухе, как разноцветные воздушные змеи. Почти на середине обрывается строй двухэтажных особняков, и здесь набережная похожа на челюсть, в которой не хватает передних зубов. Я перевожу бинокль вправо, чуть-чуть поднимаю бинокль и вижу мертвый город. Я вижу необъятную впадину, плешь — пустырь, окаймленный жилыми домами, улицами и людьми. На не-

объятном пустыре, среди дикого кустарника, щебня и ям чуть поднимаются руины сожженных и разрушенных улиц. Сверху можно проследить их направление, — улицы были параллельны набережной. Можно угадать границы кварталов, перекрестки, но все же это трудно, потому что мертвое идет на потребу живому. Исчезают щебень, кирпич, скрученные огнем железные балки, остаются впадины, заросли диких трав, кладбище, пустырь посреди живого города.

Человек, обладающий живым воображением, может представить себе сентябрьскую ночь 1922 года, когда половина Смирны горела, охваченная пожаром. Ветер гнал пламя к морю, ветер гнал в море толпы потерявших рассудок людей, и это походило на гибель Помпеи, стихийное бедствие, пожар, вызванный землетрясением, а не пожар, вызванный человеческими руками. Надо было вернуть город туркам, надо было уходить из города после трех лет оккупации, и поджог Смирны был жест остервенения, звериной ярости — «не мне, так никому». Горели банки, конторы, консульства, магазины, гостиницы, особняки богатых левантинцев, греков и армян.

Теперь здесь все мертво; и в том, что осталось, нет ни величия, ни примиряющего покоя древних руин, а есть одна мерзость запустения, щебень, битый кирпич, раны обнаженной, обугленной земли. Люди уже проектируют новые улицы, отхватывают у пожарища клочки земли, проводят тротуары и мостовые, строят дома, одинокие, отстоящие друг от друга на расстоянии квартала дома, но мертвый город, выжженная и рагромленная половина Смирны лежит под бирюзовым апрельским небом, у малахитового залива, как памятник войне, памятник оккупации Смирны греческими войсками.

Это был город левантийских, греческих и армянских негоциантов, интернациональный порт, населенный иностранцами, компрадорами, коммерсантами, экспортёрами, концессионерами и богатыми купцами-эспаньолами. Они жили в мраморных особняках, похожих на

крепости и мавзолеи. Затеяливые железные решетки, переплетающиеся, как стебли лилий, железные ставни защищали их от фанатичной и нищей толпы, жившей в нагорной части города. Дома негоциантов были похожи на крепости, потому что здесь помнили те отдаленные времена, когда безумный дервиш мог собрать толпу фанатиков и повести ее в кварталы неверных. Гром камней обрушивался на дом неверного, и в тот же час консулы и послы посылали угрожающие ноты и требовали возмещения убытков и формального принесения извинений за личный и имущественный ущерб, нанесенный иностранцу. Когда на рейде появлялись иностранные крейсера, — на площади воздвигались виселицы, и настоящие или мнимые виновники погрома расставались с жизнью на глазах удовлетворенных иностранцев. Все это было лишним предлогом для того, чтобы вырвать у Высокой Порты привилегию для подданных европейских держав, потому что нельзя же без настоящих гарантий торговать в стране, где правительство не может защитить жизнь и имущество иностранца.

В Европе негодовали и удивлялись дикому фанатизму османлисов, хотя дело было не в одном фанатизме, и ненависть к иностранцам обьянялась грубыми материальными причинами.

Влиятельные господа в кулуарах парламентов и клубах отдавали предпочтение турецким сигаретам. Эмблемы султанов украшали коробки превосходных турецких сигарет, но сигареты были не турецкие и даже не султанские, а скорее всего французские, потому что в ту пору существовала «Режи» — табачная монополия и концессия. За старые султанские долги французские концессионеры отнимали у турецких крестьян табак по тем ценам, которые устанавливали сами концессионеры. Они же указывали крестьянам сорта табаков, которые должны сеять крестьяне, и так как на содержании у «Режи» были жандармерия и полиция, то концессионеры наполняли тюрьмы так называемыми контрабандистами, и все это делалось для того, что-

бы не допустить снижения цен на табак. Турки-рабочие погибали от безработицы, потому что табак в сыром виде увозился за границу, обрабатывался за границей, и все, от очаровательных коробочек со знаком султана Решада до золоченой бумаги, в которую обертывались мундштуки, было сделано не руками турок, а руками европейцев. Между тем в ароматном дыму настоящих турецких сигарет было так приятно поболтать о варварстве и фанатизме диких османлисов.

«Гечмиш олсун» — да будет это в прошлом, как любят говорить турки.

Теперь это в прошлом.

Вот набережная Смирны, одна из самых прекрасных в мире, каменная лента, охватывающая полукольцом бухту. Тощие лошадки в ленточках и бахроме катят украшенные бронзовыми и никелевыми бляхами экипажи, каких, пожалуй, уже не увидишь нигде в Европе, кроме Леванта. Итальянские и французские пароходы прижимаются почти вплотную кормой к плитам набережной, корма висит над самой головой на высоте четвертого этажа дома, и с балкона пароходной конторы можно переговариваться с матросами на палубе. Но для того, чтобы попасть на пароход, обязательно нужно сесть на пристани в лодку и заплатить за трехминутный переезд от пристани до пароходного трапа соответствующую сумму по таксе. Это осталось от того времени, когда суда останавливались на рейде, а не подходили вплотную к берегу, и путешествие на лодке тоже относится к эпохе концессий, так же, как замечательный памятник прошлого, о котором я сейчас расскажу.

По набережной катится крохотный вагончик конно-железной дороги, по нашему — конки. Старая бесхвостая лошадка шлепает копытами по камням и медленно катит вагон по набережной. Это даже умирительно здесь, рядом с быстроходными теплоходами «Ллойд Триестино» и «Мессажори маритим». Но от площади Конака, губернаторского дома, по направлению к кварталам Решадие ходит превосходный новый электрический трамвай, и вы остано-

вливаешься в изумлении. Как же случилось, что набережную Биринжи Кордон — первый кордон, улицу консульств и особняков — лишили трамвая? И старожилы расскажут потешную историю о смирнской конке.

На основании договора, заключенного с концессионерами в 1866 году, французская компания имеет право эксплуатировать конно-железную дорогу девятью годами, и, следовательно, только в 1965 году, то есть через тридцать один год, перестанет существовать конка на смирнской набережной. Над нашей планетой будут летать стратопланы, сверхскоростные поезда достигнут скорости пятисот километров в час, над нами будут летать аэропланы, управляемые по радио, мало ли чудес будет в 1965 году, но в Смирне, на Биринжи Кордон, бесхвостая лошадка будет попрежнему меланхолично катить вагончик конки. И, может быть, тысячи туристов будут приезжать сюда именно для того, чтобы прокатиться на конке 1866 года.

Так себе представляли жизнь концессионеры, живущие в прошлом всеми своими мыслями, чувствами и желаниями. Когда же их стала беспокоить мысль о том, что смирнские власти могут пренебречь бумагами вековой давности, концессионеры прибегли к испытанному в оттоманские времена средству — к подкупу.

И тут стряслась настоящая беда. Люди, от которых зависели покой и доходы концессионного общества, вежливо согласились взять барашка в бумажке, но, когда передача взятки состоялась, в то же мгновение появились свидетели и засвидетельствовали попытку подкупа администрации и привлекли концессионеров к уголовной ответственности. Тут консула державы, заинтересованной в существовании смирнской конки, буквально хватил удар от неожиданности и прискорбия.

Вот какие перемены произошли в Смирне через шестьдесят семь лет после того, как был заключен договор о смирнской конке.

Увлекательно и разнообразно складывается биография городов, все равно,

будь это город, выросший в полгода у доменных печей, или город с тысячелетней историей. Сейчас мы говорим о Смирне, и вот из вороха событий и дат, нагроможденных вокруг тысячелетнего прошлого, мы вспоминаем не книжные, архивные даты, а все еще живые, сохраняющиеся в памяти у современников исторические события. Поэтому, когда я говорю «прошлое Смирны», мне представляются не музейные древности, не Смирнский музей и раскопки форума I века, а площадь Конака. Я думаю о 15 мая 1919 года и 9 сентября 1922 года. В промежутке между этими двумя датами длилась оккупация Смирны греческими войсками.

«Согласно решению держав Измир будет занят греческими войсками. Приложите усилия к тому, чтобы народ занимался своими делами».

Повидимому, народ понимал свое прямое дело иначе, чем правительство султана. И он занялся своим прямым делом. Народ вышел на улицы города и открыто уличал в измене султанских чиновников (вали Иззет-пашу) и называл трусом командующего войсками Али Надир-пашу. Затем загремели выстрелы. Народ разгромил склады оружия и освободил из тюрьмы политических заключенных. Они сидели в тюрьме за непочтительность к иностранцам и связь с Комитетом защиты прав.

Это было настоящее массовое движение, отчасти напоминающее нашу Февральскую революцию, напоминающее Февраль даже тем, что офицеры и политические деятели не сразу присоединились к народу.

На рассвете у мыса Кара-Бурун появились греческие военные суда, и начались десантные операции. На рассвете, в тот же час по всем дорогам, ведущим из Смирны в горы, отступали вооруженные люди. Они шли на соединение с жителями Менемена и Эдемиша, на соединение с партизанскими отрядами зейбеков-горцев черкесского происхождения, живших в Смирнской зоне.

Сейчас мы стоим на площади Конака. Часы на восьмигранной башенке пока-

зывают полдень. По календарю — весна 1933 года. Следовательно, прошло четырнадцать лет. Люди, уходившие в горы на соединение с партизанскими отрядами, состарились на четырнадцать лет. Слова «национальный обет», «Комитет защиты прав» уже не звучат для них, как боевой сигнал. Одни все еще гордятся Смирной — очагом национальной революции. Для других время юношеского задора давно прошло. Перед ними — наполовину сожженный город и опустевший порт. Сузилась зона экономического воздействия. Родос отошел к Италии, Хиос — к Греции. Иностранцы не слишком склонны дать свои капиталы стране, которая ставит преграды иностранным капиталистам. Тем более теперь — депрессия, всемирный кризис. Смирна, «жемчужина Леванта», теряет свое значение, смирнская буржуазия прислушивается к речам оппозиционеров и 30 сентября 1930 года с радостью и умилением встречает лидера новой, либерально-республиканской партии, бывшего посла в Париже Фетхи-бея. Он говорит о сближении с Западом, о сотрудничестве с иностранными капиталистами, он гребует льгот для турецких предпринимателей, сокращения монополий, свободы частному капиталу. Он говорит: это все следует сделать для того, чтобы внушить доверие иностранцам и привлечь в Турцию иностранный капитал.

В Стамбуле, так же, как в Смирне, присматривались к программе либерально-республиканской партии. Можно ли забыть прошлое, миллионные барыши, подарки и подачки капиталистам, адвокатам, журналистам и оттоманским чиновникам? Что изменилось в Турции? Разве буржуазия портовых городов не может попрежнему богатеть за счет нищенствующих анатолийских крестьян? И те, кто не забыл старую Смирну и старую Турцию, пришли с флагами и цветами на смирнскую набережную. Они встречали лидера партии, обещающей прежнюю легкую жизнь.

Сошлись две манифестации, сторонники либерально-республиканской пар-

тии встретились с правящей Народной партией, произошло столкновение, уличные бои, и на этом, собственно, кончилась легальная оппозиция партии Фетхи-бея.

Затем перестала существовать и самая либерально-республиканская партия.

Теперь некоторые жители Смирны стараются забыть день 30 сентября 1930 года. Им остается крепко помнить другую дату — февраль 1923 года, дни Смирнского экономического конгресса, когда в старом здании инжирной фабрики глава государства впервые говорил представителям страны об экономической независимости Турции.

Перед ним сидели новые люди, представители социальных групп, впервые пришедших к власти. («Пришедшие к власти», пожалуй, сказано несколько сильно, но действительно это были новые люди — никто из делегатов конгресса не играл никакой роли в политике Оттоманской Турции.) Здесь были земледельцы и крестьяне, промышленники и ремесленники, купцы и банкиры, здесь были рабочие и работницы смирнских табачных фабрик. Женщины с открытыми лицами, женщины без чадры, впервые за всю историю Турции, появились среди представителей турецкого народа. Поймет ли наш читатель силу и значение лозунгов, впервые брошенных в массы с трибуны конгресса: «Рабочие, организуйтесь в профессиональные союзы! Земледельцы, объединяйтесь в сельскохозяйственные союзы! Промышленники, купцы, создавайте свои синдикаты!» Эти слова произносились в то время, когда пушки неприятельских крейсеров держали на прицеле Смирну и здание фабрики, где заседал конгресс.

«Иностранный капитал занимал привилегированное положение в нашей стране. Султанское правительство было жандармерией иностранных капиталистов... Нам нужен иностранный капитал, мы готовы дать иностранным капиталистам необходимые гарантии, но они должны подчиняться нашим законам».

Так был изложен вопрос об участии иностранного капитала в экономике новой Турции. Что же касается пожеланий рабочей группы, организации профессиональных и земледельческих союзов и восьмичасового рабочего дня для батраков, — эти пожелания не осуществлены. О том, что сделано, я уже говорил не раз. Все же нужно признать, что Смирнский конгресс начал с сокрушения социальных норм дореформенной, султанской Турции. И это хорошее начало связано с городом Смирной, это — новая история Смирны, одна из тех исторических дат, которые говорят турку больше, чем даты греческого и римского владычества на этих благословенных берегах.

Организованный путешественник, обладатель фотографического аппарата, цейссовского бинокля, путеводителя и плана города, все же будет серьезно озадачен при первом знакомстве с городом. Он развернет старый план Смирны и не найдет половины города, уничтоженной пожаром, он возьмет более новый план и там, где указан пустырь, пожарище, найдет новые улицы. Наконец там, где на плане указаны кладбища, он увидит пальмы и лавры нового городского парка. «Мне странно, — сказал мне итальянский турист, обладатель бинокля, «лейки», путеводителя и плана, — меня удивляют современные русские — мы едем с вами вдоль берега и видим прелестную панораму Смирны, а вы спрашиваете нашего любезного спутника о Смирнском конгрессе и истории оппозиции Фетхи-бея, о том, что, в сущности, не должно занимать мысли художника. Вы почти не смотрите в карты и в план города, за исключением одного случая, когда мы с вами встретились у председателя Народной партии».

Действительно, председатель Народной партии в Смирне показывал мне необычный план города Смирны. Это был план города времен греческой оккупации, названия улиц были напечатаны на греческом языке. Загадка этого плана заключалась в том, что сквозь чертеж, наподобие секрета в загадочной детской картинке, вырисовы-

валась фигура греческого солдата в полном вооружении, стальном шлеме и с греческим флагом в руке. Смирнская зона на этом плане была отмечена крестом в венке — эмблемой греческого государства. Мне подарили копию этого документа с надписью на турецком языке: «Храбрый сын турецкой родины! Смотри на этот пример и не забывай черные дни!»

Я поблагодарил за подарок, но пользоваться этим планом, разумеется, не мог и бесстрашно углубился в запутанные улочки смирнского базара и в кварталы Решадие. Я миновал спланированные кладбища и попал в еще не тронутые джунгли поставленных стоймя могильных плит. Они торчали из кустов лавра вкривь и вкось. Новая дорога проходила через эти кладбища, дети играли в войну среди могил, женщины развешивали белье на мраморных чалмах, венчающих памятники. Уличный парикмахер брил клиента, посадив его на корточки, так, чтобы спина клиента упиралась в мраморный столб. Так жизнь играла среди старого кладбища с очаровательной беспечностью, и равнодушная природа Леванта сияла вокруг вечной и радостной красотой. Только мои друзья и товарищи из Нефтесиддиката не замечали этой жизни и красоты и ревниво поглядывали на колонки конкурентов «Стандарт Ойль» и «Рояль Дэч Шэлл».

Мы углублялись в кварталы Решадие. Особняки эспаньолов выглядели нежилыми и давно оставленными людьми. Кварталы Решадие были пустыни и тихи, как набережная в южные часы. Я представил себе, как выглядели эти кварталы в тот день, когда сюда ворвалась толпа молодежи и ломала вывески со знаками султана Фатиха, Меджида и Хамида и в полицейском участке не знали, как поступить — «тащить и не пущать» молодежь или помогать ей разбивать вдребезги султанские эмблемы.

Сейчас в квартале эспаньолов была мертвая тишина, и трудно было понять, что думают безбавшие пять столетий назад от испанской инквизиции

эспаньолы, что они думают о судьбе своих единоверцев, убегающих в 1933 году от инквизиторов Гитлера.

«Хизмет», реакционная и довольно злобная газета, ехидно допрашивала эспаньолов, почему они бойкотируют германские товары и нет ли в этом бойкоте антитурецких чувств. «Можно ли считать эспаньолов лояльными в отношении Турции после того, как они так горячо принимают к сердцу интересы своих немецких единоплеменников?»

Расовая ненависть, антисемитизм почти не чувствовался в Турции до тех пор, пока средневековый идиотизм немецких фашистов не был завезен в Турцию немецкими коммерсантами. Еще раньше здесь прививали антисемитизм белые эмигранты и эмигранты-мусаватисты из Азербайджана. Антиармянская пропаганда утихла, потому что в Турции почти не осталось ни армян, ни греков.

Тяжко касаться вековой кровавой распри между двумя нациями, но для тех, кто хочет с полной объективностью разобраться в событиях давнего (и недавнего) прошлого, будет ясно, кто, собственно, главный виновник гибели армянского народа в турецкой Армении.

Почти два столетия армянский народ был объектом политической игры России и Англии. Едва ли не каждое вмешательство Европы во внутренние дела Турции оправдывалось необходимостью защитить угнетаемых мусульманами христиан. Таким образом, неустанно поддерживали национальную вражду, натравливали турецкий народ на армян и греков.

Особняки, виллы смирнских негодянтов, кладбища, минареты, кипарисы, виноградники и сады, наконец — желтая лента песка — голый берег, рыбачьи лодки, пестрота купальных костюмов и смех, долетающий сквозь плеск прибоя.

Мы сидим под тентом палатки бродячего кафеджи и держим на весу чашечки с инжирным кофе. Девушки перешептываются с молодыми людьми на пляже. И тут разыгрывается характер-

ная комическая сцена. Автобус высаживает почтенного господина в маленькой, изящно завязанной чалме, с янтарными четками на большом пальце. Провинциальный мулла неторопливо идет к пляжу. Солнце, море, свежий ветер приводят его в блаженное умиление. Он поглаживает седую полукруглую бороду и подбрасывает четки в руке. Кафеджи приносит ему наргилэ, и он тянет ароматный дым сквозь булькающую воду и прислушивается к смеху, плеску и восклицаниям купающихся. Внезапно лицо муллы меняется, судорожно мигают веки, и с выражением изумления и негодования он поворачивается к нам. Турецкие женщины, турецкие девушки и не левантинки и не дочери эспаньолов, а дочери турок купаются голые в море, недалеко от мужчин, даже рядом с мужчинами.

Мундштук вываливается изо рта у провинциального муллы, он обводит глазами присутствующих, он ищет сочувствия, но кафеджи равнодушно отсчитывает медяки.

Какая незаметная и какая глубоко современная для Турции комедия. Чуть не на каждом шагу сталкивается лбами старое и новое, уходящее поколение пугливо озирается на молодежь. Сталкиваются лбами люди, сталкиваются дома, европейские железобетонные, крытые базары и смирнский базар, когда-то древний базар ковров, старого оружия, посуды, сафьяна — великолепной бутафории сказок Шехерезады.

Я любил бродить по лабиринту смирнского базара, отважно углубляться в кожевенные, гончарные, обувные ряды, затем выпутываться из лабиринта улиц и улочек и возвращаться к исходной точке — восьмигранной башенке с часами на площади Конака. Острый запах морской рыбы мешается с запахом табака, кожи и апельсинов, жареного кофе и отсыревшего сукна. Плоские как бы жестяные рыбы единственным глазом дико смотрят на вас, конвульсивно подергиваясь в больших корзинах. Распластанные желто-розовые бараньи туши висят на крючьях, и толстый, гладкий мясник, как бы составленный из мягких полушарий спит у

стойки, положив голову на пухлую, как подушку, ладонь. Бархатные, черные усы, как пиявки, охватывают его влажные алые губы. В окне, в стеклянной клетке с'естной лавки, поворачивается на вертикальной оси, истекая соком, до-нер-кебаб, слоистый шашлык толщиной в небольшую сосну. Извозчичий экипаж, весь в бляхах, звонках и цветных кисточках, пробивается в толпе и вдруг останавливается на перекрестке, только для того, чтобы седок промочил себе горло и порисовался перед продавцами и покупателями галантерейного ряда. Он сидит, расставив ноги, не торопясь, прихлебывая кофе; мальчик из кофейни нетерпеливо сучит ногами и ждет, пока его отпустит клиент. Но седок фаэтона не торопится. Через головы несущейся толпы он беседует со знакомым, обсуждает цены на инжир и дела инжирного кооператива. И наш товарищ из Нефтесиндиката неодобрительно глядит на него. Так могут поступать только «люди сладкой воды» — левантинцы. Настоящий турок не станет говорить о деле посреди улицы и наспех. Нет, он усадит клиента рядом с собой, он прикажет подать чаю или кофе, он расспросит о погоде, об общих знакомых, о новостях, кивая головой, он будет ласково глядеть в глаза и ласково соглашаться с клиентом: «эвет, эвет — да, да», и затем, не торопясь, перейдет к делу. Так делаются настоящие дела, и не чужестранцу менять нравы и нарушать правила приличия.

Час, два часа мы странствуем по базару, случайно мы открываем чудесные, спрятанные в закоулках уголки, старинные фонтаны, накрытые мраморным резным футляром на восьми витых столбах. В узенькую лазейку переулка вдвигаются могучие каменные ребра мечети. Уходящий ввысь столб минарета вырастает на пути между нишей башмачника и лавкой ковров из Ушака. Мы выбираемся, как бы из пещеры, на солнце и оказываемся на маленькой площади, величиной с комнату. Под зеленым сводом чинары, вокруг ее ствола, в беспорядке расставлены стулья и столики, и продавец воды с сверкающим побрякушками и цепочками сосудом

льет мне в медный стакан «буз гиби» — холодную, как лед, ключевую воду.

Я понимаю, можно часами сидеть, опершись о серебристый ствол чинары, и прислушиваться к тысячеголосому гомону, и следить за карнавальным суетой базара. В просвет листвы видно невысокую гору, дома с почти плоскими черепичными кровлями взбираются по скату горы. Крепость эпохи Александра Македонского висит в золотистом, сверкающем небе. Нет, нельзя выдумать такой простой и вместе с тем нестерпимо пышный пейзаж: базар, водоем, чинара, развалины на горе, птицы, пересвистывающиеся в клетках, развешанных над головами.

Незаметно стихает говор, замедляется круговорот толпы, нищие уже не тревожат меня, и тень гигантского полушария-купола ложится на плиты у самых ног. Оказывается, уже вечер. Скоро ночь, и сплющенное солнце уже лежит на чернильной синеве залива.

Вечером мы отправляемся в театр. Мы едем на катере в Каршияка. Стучит машина, слабо всялскивает вода. Края залива осыпаны огнями, в центре ночь, безмолвие набережной и пожарища.

В синематографе «Люкс» играет езжая труппа Решид Риза, актера из стамбульского театра Даруль-Бедаи. Голые стены, оклеенные плакатами американских фильмов, и деревянные скамьи. Дают занавес. Крошечная сцена изображает ателье художника. Оказывается, это старая пьеса Анри Баталь. Она переделана на турецкие нравы. Поли и Пьеры превратились в Ахмедов и Фахреттинов, Люси стала Лейла. Нельзя даже себе представить бедность костюмов и декораций. Но играют хорошо, несмотря на абсолютно далекие Турции нравы. Решид Риза — настоящий герой-резонер с несколько надорванным и волнуемым голосом, скупыми и ритмичными движениями. Жена Решид Риза играет сильно и уверенно, и это удивительно потому, что турецкая женщина появилась на сцене восемь, девять лет назад. До этого времени женские роли играли мужчины и актрисы — гречанки и левантинки. Хорошая сценическая культура актеров



понятна, если вспомнить о народном турецком театре, но откуда эта культура театра у турецкой женщины. Здесь даже в публике немного женщин. В антракте зрители пьют чай из маленьких стеклянных стаканчиков-плошек и звон ложечек наполняет театральныи зал. Я рассматриваю публику. Это—молодежь, рабочие, интеллигенты, несколько знаковых чиновников — покровителей искусств.

В первом часу ночи я возвращаюсь в наш дом на набережной. По причине режима экономии нет света, электрический фонарик находит дорогу. В радужном кругу возникают куски лепного потолка, карнизы, лестницы, двери. Трудно вообразить себе более нелепый план дома. Две больших парадных комнаты, вестибюль, четыре этажа, множество комнат-келий. Из этажа в этаж ведут две винтовые деревянные лестницы. Здесь труднее ориентироваться, чем в переулках базара. Наконец я нахожу свою келью и засыпаю под гудки пароходов, шелест листьев и плеск прибоя и вдруг просыпаюсь от грохота и удара в стену.

Это — охота за крысой.

### Эллада

Если бы не было никаких стамбульских чудес, ни бухты Эйюб, ни Золотого Рога, ни Босфора, ни византийских древностей, если бы во всем Стамбуле было одно здание Стамбульского музея и в нем саркофаг Александра, «Плакальщицы» и финикийский Геркулес, то и тогда следовало бы пересечь Черное море при шторме в десять баллов, высадиться в Галате, перейти через Галатский мост и войти в здание музея. Стоило совершить тридцатичасовое путешествие, чтобы увидеть похожий на прекрасный древний дом саркофаг, по карнизу которого бегут, падают, наносят и отражают удары греки и персы, увидеть боевую ярость, отчаянье и радость победы, переданную с гениальной выразительностью ваятелем — современником Александра Македонского. Дело не в том, кому был предназначен этот великолепный дом мертвых — ве-

ликому греку или одному из его приближенных. Чудо искусства дошло до нас под именем саркофага Александра, но это олицетворенный в мраморе великий и радостный дух монументального искусства древних, одна из величайших побед этого искусства, а не место успокоения греческого царя, победителя Европы и Азии. Это чудо дошло до нас почти неспорадавшим, сохранившим не только линии и форму, но и цвета — нежнорозовую, нежнозеленую расцветку фигур, изваянных на мраморе. Что может быть хуже (если говорить о современной скульптуре), что может быть безвкуснее соединения объема и краски, но здесь это чудесно, — нежнейшие розовые и зеленые световые лучи как бы пропущены сквозь теплый просвечивающий мрамор.

Какая неразрешимая и волнующая загадка этот найденный на Кипре саркофаг и неизвестный мертвец, временный обитатель саркофага, предназначенного для похороненного в Африке Александра... Или «Плакальщицы» — печальные тени, обвивающие дом другого мертвого, никнувшие скорбные фигуры плачущих женщин, воскрешающие в нашей памяти молодую Айседору Дункан в «Ифигении».

Трудно думать о том, что после такого расцвета искусств были крестоносцы, разбивавшие молотами мрамор древних, были попы, сжигавшие Александрийскую библиотеку, и муллы, замазывавшие византийские фрески, выцарапывавшие лица охотников в персидских миниатюрах. И были царские казаки, стрелявшие из пулеметов по бирюзовой мечети Имам Риза в Мешед.

Финикийский Геркулес ужасен и велик полной противоположностью прекрасным «Плакальщицам». Бородатый колосс держит за задние ноги безголового барана; он подавляет нагромождением мускулов, непобедимой мощью в посадке головы, силой коротких ног, поставленных прочно, незыблемо, как ноги триумфальной арки. Это — полная противоположность воздействию эллинского гения: там — умиление и радость, здесь — изумление и огромное уважение к стихийной силе примитивно-

го, но величественного искусства давно исчезнувшего народа.

Ради этих трех уникамов стоило переплыть Кара Дениз — Черное море. А для того, чтобы увидеть руины Пергамы, стоит сделать сто двадцать километров по сравнительно скверной дороге, шесть раз менять в пути шины, задыхаться от зноя и усталости, поднимаясь по крутой тропинке на гору Пергам. Все это следует сделать из уважения к союзнику Трон и для того, чтобы увериться в точности строк Жуковского:

... грудой пепла стал Пергам.

Мы оставили Смирну на рассвете. Город неторопливо просыпался в прохладе и свежести апрельского утра. Римский виадук повис над рекой, светясь на солнце, и гигантские буквы, — реклама «раки» — водки, — с излишней отчетливостью выделялись на тысячелетних камнях виадука. Вдоль дороги, по кособогу, шел почтенный господин, в шляпе, визитке и очках, и задумчиво погонял прутиком козу. Подмышкой у господина была толстая книга, это была прелестная идиллическая картинка — прогулка философа.

Затем мы выехали на древнюю римскую дорогу и проскочили городок Менемен. Здесь в 1931 году дервиш Мемед и его вооруженные единомышленники подняли зеленое знамя восстания против республики.

Дервиш вошел в мечеть и призвал правоверных к восстановлению шарриата: «Зеленое знамя восстания поднято. Мусульмане, станьте под знамя пророка». Народный учитель Кубилай попробовал остановить фанатиков. Он был обезглавлен на глазах безучастной толпы. Голову республиканца подняли на дрекко знамени.

Дервиши секты накши-бенд об'явили народу, что Смирна и Стамбул взяты и что низложенный халиф станет во главе правоверных.

И, говорят, он действительно ждал результатов восстания за границей, в Сирийской зоне. Но ему не пришлось увидеть победу зеленого знамени. Виселицы — орудие казни, символ возмез-

дия мятежникам — два года стояли на площади Менемена. Почему же крестьяне с ужасающим безразличием смотрели на расправу с Кубилаем, почему Смирна — очаг национальной революции — стала гнездом оппозиционной буржуазии и почему Смирнская зона оказалась плацдармом реакционеров? Вообще следовало подумать о том, на кого, собственно, может опираться реакция в борьбе с республикой, откуда следует ожидать удара.

Мы читаем описание инспекционной поездки министра Шюкри-Кая в восточные вилайеты, напечатанное в газете «Хакимет Миллие»:

«Из 1.504 деревень только 3 принимают государственные законы. В Дерсинском районе 62 племени, и над ними главенствуют вожди... Близость сирийской границы, контрабанда... Отсталость, религиозный фанатизм, жестокие старинные обычаи».

«В Урфе есть люди, которые верят, что отрезанная и зарытая в землю голова еврея может вызвать дождь и прекратить засуху».

Если власть может так об'ективно и открыто говорить о положении в восточных вилайетах, значит, она видит свои задачи и достаточно сильна для того, чтобы бороться с врагом. Значит, она помнит старый лозунг национальной борьбы: «Хозяин страны есть крестьянин». Снижение налогов, организация кредитных кооперативов, некоторые послабления недоимщикам — все это в известной степени результат уроков реакционного восстания в тихом и сонном городке, в 14 километрах от Смирны.

Мы миновали Менемен и скоро увидели Эгейское море, лежащий в море плоский мыс, совершенно схожий с трехугольной, плоской, змеиной головой. Гора Пергам уже появилась на горизонте, но мы еще долго приближались к ней. Вдруг гора точно ощерилась длинными, прямыми клыками. То, что нам показалось клыками, было мрамором разрушенных зданий. Сквозь плющ и зелень пробивался тысячелетний мрамор Пергама.

Мы оставили машину и долго поднимались в гору по дороге, которая когда-

то была оживленной главной улицей. Скелет города, его кости и артерии, мостовые, водопровод, его здания — храмы, гимназии, театр — возникали из земли и зелени, как незаконченный акварельный рисунок. И мысленно мы реставрировали быт Пергама, храм Эскулапа, род поликлиники и физиолечебницы с ваннами и нишами для массажа и театром для развлечения больных. Легкая жизнь богатых, тягостное прозябание бедняков — все это угадывалось в обломках мрамора, под рухнувшими сводами бань, притонов, тюрем, лавок.

Обнесенный стенами город на горе был естественной крепостью, а река Кеос была ее естественным крепостным рвом. Каждый клочок земли в укрепленном городе был использован умно и рационально: крутой скат горы превратили в ступени — сидения амфитеатра на двадцать тысяч зрителей, и зритель последнего ряда видел актера на просцениуме почти с высоты ста метров.

Статуи, предметы утвари Пергама давно вывезены в Германию, султанское правительство не слишком ценило обломки мрамора и бронзу, пролежавшую три тысячи лет под землей. Провинциальные султанские чиновники удивлялись: что заставляет европейцев ездить за сто двадцать километров от Смирны по убийственной дороге? Это было время реальных, четвероногих лошадиных сил, караван-сараев, и надо высоко ценить самоотверженность туристов прошлого века. Но за пыль и голязья караван-сараев их вознаграждал Пергам — античный город, мир азиатской Эллады. Кроме того, они видели ошеломляющее сочетание Эллады, Рима и Византии, и старой Турции, собранное в естественном музее, под открытым небом, у подножья горы Пергам, на берегах реки Кеос.

Городок Бергама (турецкое название Пергама) живет, растет и торгует, примирясь с кладбищем древних, не ощущая мертвящей тяжести веков. Колеса турецких арб грохочут по аркам римского моста, овцы пасутся под стенами замка византийского феодала, и современный крытый рынок, я полагаю,

отчасти построен из камней зданий предисторического периода. Здесь, в Бергаме, вы можете видеть жилой дом в два этажа, причем первый этаж построен чуть не в эпоху Троянской войны, а второй надстроен в начале нашего века.

После пяти часов странствий мы находим уют в лавке клиента Нефтесиндиката. Двенадцатилетний пионер, сын нашего консула, исполняет обязанности драгомана, он — единственный наш переводчик и справляется с обязанностями непринужденно и добросовестно. В складе пахнет бензином, карбидом, нагретой резиной, маслом и красками. Нефтесиндикатский грузовой «форд» чадит у дверей склада, и после греческих названий, после восхождения на Пергам удивительно звучат перемешанные с турецкой речью слова «бидон», «тонна», «Шэлл», «Стандарт Ойль» и щелканье на счетах, и пытьень грузовика.

Мы выезжаем заветло и долго оглядываемся на ощерившуюся мрамором гору, на кипарисы и восклицательные знаки минаретов, на величественных аистов. Они стоят на одной ноге в пышных гнездах, рисуясь в небе, как геральдические птицы на голубом поле герба.

Затем непременно нужно увидеть Эфес. Поездка в Эфес проще поездки в Пергам. Мы приезжаем на станцию Сельджук по железной дороге Смирна — Айдын. Это английская концессионная дорога, рассчитанная на туристские поездки. Она соединяет Смирну с Эфесом, Манисой-Магнезией, Тралесом, Гиераполисом, Лаодицией.

Если к этому добавить Триен и Милет, то английские концессионеры правильно рассчитали, когда проводили дорогу из Смирны к памятникам древней Ионии.

И вот мы оставляем вагон на станции Сельджук и попадаем в руки служащих музейного ведомства. Они встречают приехавшего со мной директора музея в Смирне, доктора Салахеттин-бея. Вокруг — провинциальная тишина и глушь. У развалин римского виадука расположились странствующие торговцы сластями и шашлыком.

Доктор Салахеттин останавливается, описывает рукой полукруг, охватывая рощу олив, зеленеющие нивы, и говорит: «Храм Дианы». Значит, здесь надо вообразить себе храм Дианы Эфесской, седьмое чудо света, сожженное Геростратом в ту самую ночь, когда родился Александр. Но полет воображения никак не может преодолеть скудный мирный пейзаж, коров, мирно помахивающих хвостами, глиняные ограды полей.

Что ж, допустим, храм стоял именно здесь... Юстиниан и мистер Вуд из Британского музея увезли в Константинополь и Лондон то, что осталось от разрушенного храма. Только две колонны я увижу в мечети Исса-бей, построенной сельджуками-турками. Две стройных, несущихся ввысь колонны с великолепно развернутыми капителями. Купол мечети рухнул. Над головой у меня небо и остатки небесно-голубых изразцов на страшной высоте свода. Поразительная яркость красок и своеобразии рисунка нравились туристам, туристы нанимали смельчаков, а смельчаки добирались до изразцов и выковыривали для ценителей искусства прекрасные образцы искусства сельджуков.

Только-что кончилось богослужение. К колонне мечети еще прибит лист с написанной на турецком языке молитвой. Закон требует от муллы, чтобы молитвы читались на турецком, а не арабском языке. И пока мулла подучится новому тексту, он открыто читает молитвы по писанному. Так закон 1933 года торжествует в сельджукской мечети Исса-бей, построенной из камней храма Дианы.

Но все это только вступление к Эфесу. Еще четыре километра «форд» прыгает по ухабам проселка. Встречный ветер. Кажется, близко море. Местность напоминает пересохшую дугообразную бухту, залив, из которого ушло море. Море действительно ушло отсюда и обнаружил пристани в развалинах, портовые сооружения, может быть, таможни и склады большого порта.

— Это Эфес, — говорит Салахеттин. Пауза, почтительная тишина, торжественная секунда молчания, и вдруг она нарушается отчаянным лаем, — трехногий

свирепый пес бросается на машину с яростью инвалида, желающего отомстить за старые раны. Тишина, струнное жужжание диких пчел. Из недр коричнево-желтой горы Коресус, из весенней зелени выплывают, как лебеди, осколки мрамора. Рухнувшая колонна лежит гигантским зигзагом, глубоко уйдя в землю, как распиленный ствол у дерева. Спугивая ящериц и ужей, мы обходим топкие, заросшие тинной болота. Большие водяные лилии лежат на воде, и обломок храма поднимается из болота, как гроб, опутанный водяными лилиями. Но нет кладбищенской грусти в этом кладбище великого города.

Мы пересекаем Аркадиану — великолепную улицу, дорогу, плиты, стертые миллионами шагов. Мы идем мимо несуществующей колоннады, мимо бесследно исчезнувших статуй, фонтанов и портиков храмов. Плиты, основания колонн по сторонам улицы, — только это осталось от Аркадианы — главной артерии города. Колокольчик овечьего стада приводит нас к античному театру. Амфитеатр устроен в естественной впадине, как бы в воронке. Мы спускаемся в артистические уборные, мы разглядываем орнамент просцениума, слегка напоминающий свастику, и выбитую на камне фигуру гоплита-гладиатора в цилиндрическом шлеме и с четырехугольным щитом. Гоплит похож на солдата в противогазе.

Какой может быть резонанс в этом театре под открытым небом?

— Эдип! — взываю я громко.

— Антигона, — трагическим шопотом вторит доктор Салахеттин.

— Антигона, — повторяет сторож развалин в последнем ряду амфитеатра. Затем снова тишина, неслышанная тишина вокруг и мелодический звон колокольчиков удаляющегося стада. Овцы уходят, оставляя шарики-многоточия на треснувших ступенях античного театра.

Эфес, Аркадиана, Константиана... Как странно действует магия этих давно отзвучавших, книжных, архивных слов. Чертежи, рисунки реставраторов вдруг обретают объем, материальность, вы проводите рукой по обломку камня, и это дает реальность, плоть и жизнь

всему, что вы когда-нибудь знали об античном мире. Все равно, что в библиотеке Цельсия нет потолков и свода, а в вестибюле лежит мертвый уж, и большая птица взлетает из щели в стене. В мигающем свете восковой свечи вы видите саркофаг Цельсия, похороненного в хранилище мудрости, в подземельи его библиотеки. (Греческие солдаты потревожили прах Цельсия в 1920 году. Они искали золота и не нашли.)

Но более всего убеждают в реальности античного мира прозаические, будничные предметы обихода, то, что, можно сказать, относится к городскому хозяйству, — бани, прекрасно сохранившиеся канализационные трубы (из обожженной глины), наконец место, назначение которого ясно при первом взгляде. Вырез в каменном сидении, водосток; право, современные сооружения этого назначения не слишком опередили эпоху расцвета Эфеса. Что вы например скажете о надписи на трубе, обозначающей имя того, кто поставлял трубы для канализации, фабричная марка фирмы, существовавшей три тысячи лет назад.

Тысячелетие!.. Какое веское, громоздкое слово! До конца нашего тысячелетия осталось 66 лет. Произнесите «три тысячелетия», и вы ощутите тяжесть событий и дат войн, революций, великих открытий и пепел ста поколений... И вы, представитель одного единственного поколения, сознательная жизнь которого редко-редко достигает сорока лет, вы ходите по камням Эфеса и небрежно бросаете слова: «тысяча лет до нашей эры», «две тысячи лет до нашей эры»... Сколько мужества в этой беспечности и прекрасном полете мысли человечества! Вот я иду позади хозяина Эфеса, археолога и историка Салахетина. Легкой походкой он обходит свое хозяйство, он присматривает за руинами храма Клавдия, Аркадианой и гаванью Эфеса, за этим разбросанным по горе и равнине музеем, равного которому нет во всем мире. Он думает о весенних ливнях — не повредили ли они развалинам; он ничего не изменяет, он только предохраняет от разрушения то,

что дошло до нас, что пережило века, войны и землетрясения. Три часа или три дня нужно для того, чтобы обойти хозяйство Салахетина. На его плечах Эфес и Пергам и новорожденные, если можно так выразиться, раскопки форума Смирны, его юное двухтысячелетнее дитя, которое удалось открыть из-под трех пластов древних кладбищ. Мне кажется, что он более всего расположен к своему форуму, к девственной, нетронутой земле — тайне, которая открывается ему первому. И он чуть-чуть сердится, если вы отдаете предпочтение знаменитому городу — старцу Эфесу.

Вот уже второй день мы странствуем по азиатской Элладе. Мы начали с Пергама и Эфеса и кончили раскопками форума I века и музеем в Смирне.

Я видел мраморного льва, которого горная река весной принесла к воротам музея. Двор Смирнского музея похож на уголок Гэнуэзского кладбища. Обезглавленные, лишенные рук и ног статуи поднимаются из лавров и плюща, как надгробные памятники. По свободно падающим складкам опущенной руки со свитком мы угадываем философа. Но головы нет, и статуя философа — как символ убитой, обезглавленной невеждами и варварами идеи. Бородатый колосс, отдыхающий бог плодородия, лежит среди изобилия плодов, — он тоже символ благодатной Смирнской долины. Долина начинается узкой расщелиной в горных массивах и ширится, и растет, и превращается в охватывающие половину горизонта цветущие рощи олив, инжира, беспредельные заросли виноградников. Но странно, что ощущение античного мира, его реальность, неумиряющее очарование его искусства приходит к вам не от простого созерцания барельефов и статуй, а от неизъясных сопоставлений; скажем, от пчел, летающих вокруг статуи философа, от надписи, сделанной водоносом две тысячи лет назад на стене форума, надписи, обозначающей его имя, родину и профессию.

Пора уходить... Я оставил автограф в книге посетителей музея, и случай свел меня, литератора из Страны Советов, с бывшим королем Испании —

Альфонсом XIII. Наши автографы оказались рядом, и, таким образом, будь я тщеславен, я имел бы все основания к тому, чтобы озаглавить эту главу путевых заметок «Моя встреча с Альфонсом XIII». Но я озаглавил ее просто «Эллада» и возвращался из смирнской Эллады пешком.

Я остановился у городской заставы и некоторое время рассматривал четыре бензиновых колонки, стоявших друг против друга в полном вооружении, как гладиаторы-гоплиты. Так стояли друг против друга «Стандарт Ойль», «Шэлл», «Стелла Романо» — чемпион Румынии — и колонка Нефтесиндиката. Это было назидательное и в то же время вполне современное зрелище.

Нефтесиндикатская колонка стояла несколько позади, в скромных зеленых латах. Она была глубоко симпатична своей скромностью и некоторой нескладностью по сравнению с щеголеватыми соперниками. И мне захотелось пожать ее резиновый рукав и пожелать ей ни пуху, ни пера в поединке.

Но еще немного о музеях. В Москве, на уголке моего письменного стола, рядом с моей рукописью, лежат четыре замечательных предмета:

Первый предмет — кусочек желтого, радужного, сверкающего разноцветными искрами сплава.

Второй — обломок серебристого, легкого металла, напоминающий по форме лепесток.

Третий — маленький шарикоподшипник и тяжелый стальной, покрытый никелем, шарик. Он катается по столу, как ртуть.

Четвертый предмет — розово-желтая глиняная посудинка с двумя отверстиями и ручкой.

Все это экспонаты моего музея, и так как я единственный его хранитель и весь мой музей может поместиться на ладони взрослого человека, то для меня не представляет никакого труда объяснить значение каждого экспоната моего музея.

Первый предмет — кусочек ферросплава из Зестафоне в Грузии, солнечный сплав ферро-марганцевого завода.

Второй предмет — кусочек алюми-

ния, взятый в алюминиевом заводе Днепрокомбината.

Третий экспонат — маленький шарикоподшипник с завода имени Кагановича, Москва.

Четвертый экспонат — глиняный светильник, масляная лампа, взятая из раскопок форума I века в Смирне.

Я отодвигаю в сторону светильник и перестаю думать об Элладе.

### Последний вечер

Турецкие странствия приходят к концу.

Завтра я покидаю Турцию на пароходе адриатической компании «Филиппо Гримани». Мои смирнские друзья сделали все, чтобы последние смирские дни были наполнены впечатлениями. Мне уже кажется, я стал старожилом этого города. И потому последний смирнский вечер я провел «extra muros», за стенами города, в обществе ученого археолога Салахеттина, вдали от Смирны, в городке Эдемиш. На этот раз это не было путешествие в античную Ионию. Любезности моего спутника я обязан поездкой в страну зейбеков в день праздника курбан-байрам.

Однако до поездки в Эдемиш нужно рассказать о поездке вокруг Смирны в обществе смирнского вали — Кязымпаши. Это был род инспекционной поездки, губернатор проверял состояние дорог, дорожные работы и с большой охотой рассказывал обо всем, что попало нам в пути.

Вот новые строения, новая деревня, выстроенная для турок — переселенцев из Греции. Крестьяне-греки были переселены из Смирнской зоны в Грецию. Это переселение народов было результатом войны и особой конвенции, заключенной между греками и Турцией. Греческие деревни лежали в развалинах. Под серебристым, сияющим небом, среди идиллической тишины и мирной прелести пейзажа это было суровое напоминание о войне и национальной розни, наследии прошлого. Мне вспомнился рисунок из журнала эпохи освободительной войны. Карагёз, национальный остро слов, насмешник и весельчак, стоит

над развалинами и говорит: «Это имущество греков, оно много раз переходило из рук в руки и пришло в такое состояние».

Прогулка в обществе смирского вали была в известной степени поучительна и интересна. По должности и положению своему Кязым-паша должен был осуществлять прогрессивную политику правительства. Нам например может показаться странным, что губернатор провинции исполняет обязанности председателя крестьянской секции в Народном доме, что губернатор занимается кооперированием населения, организует производственные, потребительские и кредитные кооперативы. Губернатору приходится принимать меры к тому, чтобы крупные производственники не слишком прижимали мелких, входящих в тот же кооператив. Производственные кооперативы существовали в этом районе и раньше, до национальной революции, однако правительство республики, естественно, должно поддерживать новые, созданные при республике кооперативы, хотя бы потому, что они охватывают более широкие круги производственников.

Вот почему иной раз вы можете услышать от представителя власти резкое слово о старых кооператорах, — «в сущности, это предприятие дельцов, торгующих под маркой кооперативов». Старые кооператоры обвиняют администрацию в бюрократизме и казенном, бездушном руководстве. Но то обстоятельство, что правительство старается вовлечь в систему кооперации широкие круги крестьянства, есть положительное явление. Цели правительства в этом случае ясны: нужно поднять благосостояние крестьян, нужно собрать возможно больше сырья для экспорта, наконец нужно привлечь на сторону правительства народ, чтобы он не подпал под влияние реакционеров и агентов империалистов.

Я видел новые, только-что отстроенные здания народных школ в деревнях, я присутствовал при спуске флага, при роспуске деревенской школы на каникулы. Новые здания производили хорошее впечатление, но это не заставляло

забывать о том, что в стране нехватает учителей, что учителя старых, дореформенных школ не справляются с делом, а молодых учителей не так уж много. В горах, среди горных лесов, я увидел школьный домик в три окошка, как бы пряничный домик из сказки. Это была школа имени Мемед-эфе, героя освободительной войны, партизана.

В доме Народной партии, в Смирне, я видел портрет старика с серебряной окладистой бородой, восьмидесятилетнего старца — Мемед-эфе. Винтовка в его руках, пояс из патронов не были бутафорией. Приставка «эфе» к имени Мемед была в своем роде почетным титулом: «эфе» — значит атаман.

Четырнадцать лет под ряд Мемед-эфе вел кровавую борьбу с правительством Абдул-Хамида и правительством младотурок. Его не могли взять ни живым, ни мертвым в горах смирского побережья. В 1919 году, когда греки заняли Смирну, он повел партизан на соединение с отступившими из Смирны отрядами. И восьмидесятилетний старик стрелял по оккупационным войскам с той же меткостью, с какой он стрелял по султанской жандармерии. За четырнадцатилетнюю борьбу с султанскими жандармами, за участие в освободительной войне правительство республики сделало его национальным героем и назвало его именем школу. От султанского правительства такой человек получил бы в награду пулю или веревку.

Отсюда, с поросших лесом высот, открывается весь Смирнский залив и Смирна. Отсюда увидели город наступающие войска Кемаля. И Смирна была им наградой за трудную походную жизнь, раны и гибель товарищей.

Я нарочно рассказал о моих странствиях с Кязым-пашой раньше, чем приступил к повествованию о вечере в Эдемише. Тень Мемед-эфе, школьный домик в горах были как бы вступлением к романтическому путешествию в Эдемиш, в гости к «зейбекам». В Эдемише я мог увидеть последнего атамана зейбеков, Исмаил-эфе. Затем путь в Эдемиш лежал мимо станции Ильк Куршун. В переводе это звучит — Первая

Пуля. Здесь прозвучал первый выстрел, отсюда полетела в греков первая партизанская пуля.

В день курбан-байрама, весеннего жертвоприношения, я выехал из Смирны вместе с неизменным спутником, доктором Салахеттином.

Убранные, как невесты, барашки с вызолоченными рогами, в белых фатах-попонах появились на улицах Смирны. На станциях, в багажных вагонах, на руках у крестьян жалостно блеяли обреченные барашки, и, когда встало солнце и поезд был на половине дороги, по всей Турции тяжело расставались с плотью бараньи души, и кровь десятков тысяч баранов хлынула на камни. Так начался весенний праздник курбан-байрам.

В Эдемиш мы попали на закате солнца, после Сельджука и Эфеса. На станции Ильк Куршун я увидел во всем великолепии первых зейбеков. Ради курбан-байрама они надели старинные национальные костюмы. Вероятно вчера в обыкновенном, будничном платье я не отличил бы зейбека от пассажира нашего поезда, но сегодня, в расшитых шелком безрукавках, в коротких шароварах со множеством складок, с револьверами за поясом, они выглядели, как гости из другого века. И это переодевание ничуть не отдавало маскарадом. Они непринужденно двигались в костюмах, которые превратили бы любого из нас в комическую фигуру.

Я увидел делегацию зейбеков из окна вагона. Они сидели на обыкновенных венских стульях у дверей кофейни. И были величественны и полны сознанием своей миссии, а миссия заключалась в том, чтобы встретить своего ученого земляка Салахеттина и путешественника-чужестранца. Уездный фотограф сфотографировал нас, и я подумал о том, какое изумление вызовет эта живописная группа у моих товарищей и мое скромное присутствие в этой группе пышно одетых воинов. Но солнце уже садилось, фигуры зейбеков рисовались эффектными силуэтами, и ничего не получилось из снимка неопытного фотографа. Зейбеки разместились в легковых «фордах» и грузовиках, и мы мчались мимо

виноградников и инжирных деревьев, ныряя по ухабам предсёлка.

Оглядываясь назад, я видел наш замечательный конвой-свиту, винтовки, кинжалы, артистически расшитые куртки и шаровары и ощущал себя по крайней мере Марко Поло. Только сочетание этих одежд с грузовиками возвращало меня в 1933 год.

Однако все, что происходило дальше, не имело ничего общего с Востоком, в том смысле, как его понимают восторженные ориенталисты. Это было вроде банкета в Народном доме Эдемиша, разговоры о видах на экспорт инжира, дубильного экстракта и фруктов. Врач, судья, директор отделения банка — уездная интеллигенция — непринужденно беседовали о видах на урожай и вспоминали неурожай 1931 года. В сущности, это был голод, об этом голоде откровенно писала газета «Анадолу», орган правительственной партии. Но тут же мои собеседники не без язвительности указывали на юго-запад, в сторону Эгейского моря.

— Взгляните на отнятый у нас Родос. Там сохранились и «ашар», и «зекят», жестокая фискальная система султанской Турции. Там платят подати за каждую кисть винограда, сорванную крестьянином у себя на винограднике. Там облагают налогом не только буйволы и мулов, но даже кур. Там крестьянин платит за каждый камень, взятый в горах, за жердь, срезанную в придорожном лесу. На эти деньги выстроены роскошные гостиницы для туристов. Прекрасные автомобильные дороги пересекают остров, но по ним ездят одни туристы. Крестьяне сами оплачивают сельского врача, учителя, даже карабинера, который охраняет население от вредных мыслей...

— Это мысли о том, что дали турецкому народу война за независимость и национальная революция. Заповедник султанской — Турции с чадрой, сонной одурью арабских кофеен и арабским алфавитом, — вот что такое отнятый у нас остров Родос. Колонизаторы-империалисты оберегают старые обычаи и нравы потому, что обскуранты и консерваторы не представляют никакой



опасности для империалистов. Пробуждение национального сознания в народе, стремление к прогрессу, — вот что пугает империалистов.

Я слушал эти горячие речи и думал, что страна уже имеет кадры страстных агитаторов-пропагандистов, умеющих говорить с крестьянскими массами.

У Рефик Халида есть рассказ. Он называется «Бык». Рефик Халид рассказывает о старом быке, которого купили за бесценок для того, чтобы он работал весну и лето. Зимой же быка предполагали продать на мясо мяснику. И вот, несмотря на жестокие побои, бык отказывается работать. Он терпеливо переносит удары и голод. Когда же хозяин, уверившись в том, что быка нельзя заставить работать, зовет мясника, бык покорно, без принуждения идет на убой. Он предпочитает смерть тяжелой работе и голодному существованию. Это несчастное животное — символ угнетенного султаном и духовенством турецкого крестьянина прошлого века. И этот рассказ отчасти объясняет фатализм и бессмысленное мужество султанского аскера...

Нас прервала музыка. Студенты, молодые учителя и учительницы собирались в одной из комнат Народного дома. Они играли и пели европеизированные турецкие мелодии, затем мы услышали национальную музыку и увидели военную пляску зейбеков.

Атлетически сложенный пожилой, но очень легкий и подвижной человек, одетый в национальное платье зейбеков, со сосредоточенным и задумчивым лицом ходил внутри круга зрителей. Он как бы находился в горах, на опасной горной тропе, и осторожно пробовал ногой прочность почвы. В его движениях и походке была сила и легкость, достоинство и гордость, — и тут приходила в голову мысль о том, что именно эти люди могли четырнадцать лет под ряд драться насмерть с султанской и младотурецкой жандармерией, отстаивая вольности черкесского племени, не покоряясь грабителям-чиновникам и иностранцам-концессионерам.

Замечательным представителем этого вольнолюбивого черкесского племени

был Исмаил-эфе, вождь зейбеков, которого мы посетили в тот же вечер.

В старом, скромном жилище, в тесной комнате, у железной печи, сидел еще нестарый человек с суровым и даже надменным лицом. В доме было холодно (мы были в горах, и вечером здесь становилось прохладно). Пахло раскаленным железом печи и сладковатым табачным дымом. Широкоплечий человек в круглой шапке наклонился к огню и взял щипцами уголек и долго и старательно раскуривал трубку.

Отсвет раскаленных углей придавал его лицу суровое и энергическое выражение. Он был молчалив и держался с высоким достоинством. Вдоль стен, не произнося ни слова, сидели его гости. Дверь открывалась и закрывалась, приходили родичи и гости-крестьяне, друзья и соратники Исмаила-эфе. Они спустились с гор ради праздника, они пришли к своему атаману, чтобы выразить ему почтение и пожелать здоровья в день курбан-байрама.

Рядом с атаманом лежал костыль. Атаман лишился ноги, и это произошло не на войне, а вследствие несчастной случайности. Даже костыль придавал ему важность и своеобразное величие. Он принимал нас, как человек, имеющий заслуги перед родиной и имеющий право на то, чтобы родина ценила его заслуги. Он не снисходил к фамильярности даже с теми, кто укрывал его в горных деревнях в годы, когда его головы добывались султанские чиновники.

Уже была ночь. Мы провели ее в уютной, но очень чистой гостинице. Только-что закрылся кинематограф, и праздничная толпа проходила под нашими окнами. Радио стенола на всю улицу. Прага и Будапешт передавали танго. В свете электрических фонарей делали свой вечерний туалет аисты. Воздух гор, прохладный и живительный, усыпил нас мгновенно и легко, несмотря на танго из Будапешта. Утром мы, не торопясь, отправились на станцию и вместо чая выпили чистой горной воды из фонтана. Я наклонился над водоемом и увидел, что это римский саркофаг, и увидел латинские буквы и орнамент.

Доктор Салахеттин поспешил объяснить:

— Эта вещь не имеет никакого значения. Если бы она имела ценность, вы бы увидели ее не здесь, а в музее.

В Смирне он показал мне новое кладбище и памятник. Надпись на памятнике была сделана латинскими буквами на турецком языке.

— Это плоды реформ. Даже на кладбище мы вводим латинский алфавит.

Затем он добавил с меланхолической усмешкой:

— Покойнику впрочем это безразлично.

До полудня я кончил со всеми формальностями. Знакомый левантинец сопровождал меня в бюро паспортов и на пристань.

— Как это было просто раньше, — с прискорбием сказал он, — в правый карман я опускал книжку чеков, в левый — паспорт и отправлялся в Европу. Сейчас — ограничение в валюте, закон о внутриконтинентальном плавании. Я люблю комфорт, я хочу ехать, плыть в Стамбул на пароходе «люкс», французском или итальянском, а меня заставляют ехать на турецком пароходе. Допустим, он не так плох, но зачем меня стеснять.

Тут он умолк и вздохнул, и в этом вздохе было все — жалобы на всемирный кризис, контингенты, стеснительные для оборотистого коммерсанта законы и тоска по иностранным солидным клиентам, словом, все, что безвозвратно ушло вместе со старым режимом.

Лодка подвезла меня к трапу «Филиппо Гримани». Стюарты в синих куртках с золотыми пуговицами указали мне каюту. Советский консул и турецкий археолог некоторое время стояли рядом со мной на верхней палубе. Отсюда была видна вся Смирна, набережная, пожарище, башня Александра Македонского на горе, далекие синеющие горы и орлиные гнезда зейбеков. Я оставлял Турцию с обычной грустью пожилого человека, покидающего новую для него страну и не уверенного в том, что он еще раз ее увидит в своей не-

долгой жизни. Затем я пожал руку товарищам и моему смиренскому спутнику и, сняв шляпу, смотрел, как их лодка удалялась от трапа.

Через шесть часов мы были в открытом море. Солнечное кружево, отражение волн, трепетало на тенте верхней палубы. Над пенистым водоворотом, за кормой, визжали хищные чайки. Мы уже прошли Чешме, — по-русски Чесма, — память о морской победе, одержанной русским флотом над турецким при Екатерине Второй. Но ни гордости, ни патриотического воодушевления эта Чесма не вызывала.

Монотонный стук машины, слабый плеск волны, живительное дыхание моря... Дорога.

«Какое странное и манящее, и несущее, и чудесное в слове: дорога!

Как ты хороша подчас, далекая, далекая дорога. Сколько раз, как погибающий и тонущий, я хватался за тебя, и ты всякий раз меня великодушно выносила и спасала».

Это конечно из Гоголя.

## Эпилог

Один злой и разочарованный собеседник, с которым я повстречался в Анкаре, спросил меня с некоторой долей иронии:

— Вы конечно будете писать книгу о Турции?

— Да Для этого я приехал.

Он помолчал и оглянулся. Французская, немецкая и английская речь слышалась вокруг. Заглушенно, чтобы не мешать разговорам, квакал и журчал джаз. Можно было подумать, что мы в любой столице мира.

Нас окружали дипломаты, офицеры, журналисты и депутаты парламента. Утром я видел их в меджлисе, казалось, не было никаких разногласий у этих людей, знающих друг друга и связанных участием в борьбе за независимость. Двенадцать, четырнадцать лет назад они вели боевую, походную жизнь и клялись, что не станут покупать английского угля — кардифа, даже если его будут продавать по пиастру за тонну. С негодованием они говорили о

«Dette Ottomane», государственном долге Османской империи. Сейчас они постарели на двенадцать, на четырнадцать лет.

По-разному думали и говорили окружающие нас люди. Впрочем трудно сказать, чтобы в этой обстановке говорили о серьезных вещах...

— Сколько времени вы пробудете в Турции?

Я ответил, и мой собеседник опять обвел глазами залу, и я опять уловил в его вопросе иронию. Мне не хотелось показаться самонадеянным, но завязать здесь принципиальный разговор, под аккомпанемент румбы. было трудным, немислмым делом.

— Что же, это будут путевые заметки, — продолжал он, — или род романа, вроде «Четырех дам из Анкары» Клода Фаррера?

— Может быть, это будут путевые заметки, — сказал я, — но это не будут ни «Четыре дамы из Анкары», ни капитальный труд экономиста или политика...

— Я очень рад, что задел вас за живое, — прервал меня собеседник, — перестанем говорить с вами на птичьем языке салонов.

И мы перестали говорить на птичьем языке.

— Я понимаю, — начал я, — я понимаю, что в два месяца нельзя увидеть лицо новой Турции, я понимаю, что поездки на мотоцикле в деревню недостаточно, что короткие встречи и беседы с учеными, журналистами, писателями не особенно помогут... Наконец — язык. Я не знаю языка, следовательно, я не могу говорить с народом, с крестьянами и рабочими, даже с народными учителями, которые не знают европейских языков... Разговор через переводчика, вот что остается...

— Тогда о чем же вы можете писать?

Я ответил не сразу. Мне захотелось рассказать о юношеских представлениях, о приморском городе, куда заходили турецкие парусники, о прочитанных книгах...

Так можно было начать, если бы этот разговор происходил у нас, и это

был бы ночной привычный спор, до которого все мы охотники... Но мы сидели на атласных подушках, и вокруг нас говорили о незначительных и необязывающих вещах...

Поэтому я коротко сказал:

— Основой старой Турции был ислам. Я думаю, что моя главная задача состоит в том, чтобы узнать, что объединяет новую Турцию. Раз религиозная основа перестала существовать, что же держит и скрепляет и движет вперед обновленную страну? Вот, по моему, первое, что следует понять.

— Допустим, — серьезно сказал мой собеседник, — пожалуй, так. Но быт, но язык, но нравы, которых вы не знаете.

— «Что же касается нравов, то человек везде одинаков: везде, без исключения, борьба между богатым и бедным, везде она неизбежна». Это слова Бальзака.

— Хорошо, — вдруг оживляясь, говорил собеседник, — я знаю, вы — материалист, марксист. Вы говорите: борьба между богатым и бедным... Но вы же в Турции, в стране, которая говорит об единстве нации. Можете ли вы питать симпатии к нашей стране?

— Вы правы, я материалист и марксист, но именно поэтому у меня нет иллюзий. Я вижу тот этап развития, на котором находится ваша страна. Вы начали строить промышленность, вы поставили себе целью превратить крестьянскую страну в страну индустриальную, и это приводит в ярость западных империалистов. Это наши общие враги. Они до сих пор видят в Турции полуколониальную страну... В шестнадцатом году, именно в 1916 году, наш учитель Ленин писал о том, что большевики «должны самым решительным образом поддерживать наиболее революционные элементы буржуазно-демократических национально-освободительных движений в полуколониальных странах и помогать их восстанию, а при случае и их революционной войне против угнетающих их империалистских держав». Наши общие враги не понимают, что перед ними не старая, полуколониальная страна, султанская Турция, а страна, за-

воевавшая политическую независимость... Теперь вы боретесь за экономическую независимость, и мы сочувствуем вам и в этой борьбе, потому что вы боретесь за тот прогресс, ту западную цивилизацию, которую желал видеть в Турции Маркс...

Составлялись партии для игры в бридж, и нашу беседу прервали.

— Я очень сожалею, — сказал мой собеседник, — но теперь бридж вроде психоза. Не думайте обо мне дурно... Последнее слово за вами; я говорю о вашей будущей книге.

И наш разговор кончился почти так

же, как в третьем акте «Горе от ума»:

«Оглядывается: все в вальсе кружатся с величайшим усердием, старики разбрелись к карточным столам».

Я вспомнил об этом разговоре год спустя, в Москве, когда стамбульская весна, Анкара, большие дороги Анатолии и прекрасная Смирна были уже позади. И я записал этот разговор и сделал его эпилогом книги «Стамбул, Анкара, Измир», эпилогом книги о Турции 1933 года.

Февраль 1933 — июль 1934.

Стамбул — Москва.

---

## Два стихотворения

В. НАСЕДКИН

### ДОЖДЬ

В эту ночь мне снились горы хлеба,  
А проснулся — вижу, дождь опять.  
В лужах, отражающих полнеба,  
Поле будет долго утопать.

Отдаю и слух, и зренья хляби.  
Поднимаюсь, думая ю ней.  
Полосой туманно-сизой ряби  
Опустился дождь еще сильней.

Только другу милому в угоду  
Я бы мог назначить день такой.  
Тихо одеваясь в непогоду,  
Исчезают рощи за рекой.

Теплое, желанное ненастье!  
Майское гудение струны.  
Это — праздник. Этот дождь, как  
счастье,  
Для людей моей большой страны.

\*\*\*

Я был разбужен шорохом.  
В окно  
Глядел рассвет,  
И пели птицы лето.  
Я молча улыбнулся:  
Уж давно  
Я не встречал  
И не видал рассвета.

Как хорошо,  
Как молодо светает!  
Двор еще пуст,  
Не пляшет детвора,  
И дворник торопливо  
Заметает  
Следы того,  
Чем жили мы вчера.

---

# Похождения факира

Роман

В.С. ИВАНОВ

(Продолжение <sup>1</sup>)

13

Я поступил в типографию Кочешева, набирать газету «Курганский вестник». Типография находилась в сыром и длинном подвале. Вверху был магазин «писчебумажных принадлежностей и книг». И наборщики, и печатники были оборваны, устали и грязны. Рядом со мной за реалом стоял Алешка Жулистов, так же, как и я, «на сплошняке». Это был длинный, развязный и красивый парень.

Окончив верстку номера, мы вышли с ним из типографии. Ночь влажная и прохладная, встретила нас. Я стоял задумчиво на углу, хотя особенно думать мне не над чем: я устал, мне хотелось спать, и надо было итти на постоялый.

— Ты где остановился? — спросил меня Алешка.

Когда я шёл по городу декабристов, я решил быть искренним. Но как скажешь, что ты приехал из Павлодара, откуда-то с глухого Иртыша. Кому интересно слушать меня? Большинство наборщиков, работавших в типографии Кочешева, спали на постоялом. Кому интересно знать, что ты тоже спишь на постоялом? И я сказал:

— На Тоболе, в лодках, сплю. Утром встану раным-рано, половлю рыбки, сварю уху, искупаюсь.

— Осень ведь, небось вода холодная?

— Я всю зиму купаюсь.

— А ты откуда явился? — спросил с любопытством Алешка.

— Из Самары.

Я считал, что Самара — это уже не такая сильная ложь. Другое дело, если б я явился из Москвы или Петербурга, или из Берлина.

— А какой город Самара?

— Широкий. Вокруг река.

— Какая там река? Обь?

Сразу заметно, что у Алешки отвратительная память. Он перепутывал подробности, лица, дни. Если передавал только-что слышанный рассказ, то делал вставки совершенно несуразные. Он начал расспрашивать, красива ли река Обь, много ли на ней военных судов и как одеты обские морские офицеры. Добверчивость его и шальные его вопросы взволновали меня. Я чувствовал, что «декабристская» искренность покидала меня.

— Мне плохо удалось рассмотреть Самару, — сказал я. — Произошел тут со мной чудной случай. Выхожу на пристань посмотреть на пароход, а навстречу по тротуару идет капитан Лягасов.

Алешка прервал меня.

— Ты через всю страну прошел? Ты обратил внимание, сколько форм и на всех формах золото? Пышная страна! Я вот из Кургана еще не выезжал, но

<sup>1</sup>) См. «Новый мир», кн. кн. 4, 5, 6, 7 и 8 с. г.

я отсюда вижу, что пышность превышает всех пышностей. Свыше донизу пышность! Ну, ну, а ты рассказывай. Какая форма-то на капитане? А матросы в синем или в другом? А ты думал, когда тебя забреют, в каком полку быть? Тебя, Всеволод, в Павловский полк назначают, туда, брат, всех курносых определяют.

Напоминание о носе несколько огорчило меня. Это огорчение и расспросы Алешки совершенно погубили мою искренность. Я сказал торопливо:

— Все, что произошло в Самаре, как раз и произошло из-за носа.

— Нос как нос, очень даже прочный. Ты обожди, Всеволод, рассказывать. Мы с тобой ляжем спать в голубятник, там и расскажешь. А утром посмотришь, какой формы у меня голуби.

— Я привык спать на реке.

— Ну, одну ночь испробуй в голубятнике, а понравится—переезжай «на хлеба».

Если бы Алешка сразу захотел выслушать мой рассказ о самарском капитане, я бы ограничился тем, что капитан напоил меня в трактире чаем, потому что мой нос походил на нос его умершего брата, что матросы по ошибке вместо капитана избили меня, но я вырвался, вскочил в поезд и приехал сюда в город Курган, славящийся своей справедливостью. Но Алешка угостил меня молоком, дал мне два ломтя сдобного хлеба и под голову мою положил свою подушку. На чердаке было жарко, душно, по железной крыше бегали коты, но запахи дома нравились мне, нравилось мне и то, что голова моя лежит на подушке. По углам голуби сонно перебирали крыльями. Да, здесь придется рассказать что-нибудь высокое и большое! Алешка торопил меня.

— Так, значит, идет по площади адмирал? Форма-то на нем какая?

— Идет навстречу тротуаром капитан Лянгасов. Останавливает меня, молча поворачивает со всех сторон и говорит басом: «Не по форме оде!».

Алешка даже взвизгнул от восторга.

— Молодцы наши капитаны! Люблю!

— «Очень,—говорит мне капитан,— очень ожидают вас большие несчастья

из-за носа. В нашем мире, — говорит, — с таким носом, как у вас, молодой человек, жить невозможно. Я это испытал на себе, пока не пробрался в капитаны, потому что тут мой нос был заменен пароходным носом».

— Скажи ты, пожалуйста. Как же это ему заменили-то?

— Обращали больше внимания на капитана, потому что он командовал наведением пароходного носа.

— Так, понятно. — Но, видимо, Алешка все еще не понимал меня. — Очень понятно.

— «Идемте,—говорит мне капитан,— нужно исправить ваше счастье, молодой человек».

— В полной форме, говорит?

Дальше я рассказал Алешке о том, как пароходный капитан Николай Николаевич Лянгасов, усатый и солидный мужчина, привел меня к себе и угостил чаем. Лянгасов, видите ли, сразу почувствовал ко мне приятное расположение, увидел, что я человек с высокими стремлениями. Лянгасов недавно потерял сына, который, как две капли, походил на меня. Сын его, Саша, видите ли, влюбился в гимназистку, но так как он был курнос до поразительности, то гимназистка отвергла его, и Саша застрелился. Капитан сочувствовал мне. Я подробно описал гостиную капитана Лянгасова. Зеленый бархат украшал ее. Даже клетка, в которой сидел попугай, была из бархата.

— А попугай-то какой формы? — спросил Алешка. — Ты мне о попугае побольше расскажи. Вот, говорят, нет в нашей России попугаев, не растут. А я не верю. Не такая страна Россия, чтобы попугайных форм не существовало.

— Попугай славен не формой, а способностью говорить человеческие слова.

— Говорить и вороны могут, — сказал Алешка и вдруг крикнул во весь голос: — «Каркнул ворон: ну вермор!»

Алешка знал наизусть стихотворение «Ворон», потому что там хорошо описана «воронья форма». Правда, Алешка предпочитал формы яркие и воронью

форму принимал только потому, что «описано складно». Он прочел мне стихотворение, перепутав строчки, переначив слова, например вместо ворона он говорил коршун, а иногда и цапля.

— Каких цветов-то попугай и клюв у него какой?

Я смутился. Я никогда не видывал попугаев, но и Алешка, оказывается, их тоже не видал. Тогда мне стало легче. Я подробно описал длинные светлозеленые крылья, крутую серую спину, а когда попугай взмахивал крыльями, я видел низ крыльев оранжевого, мягкого цвета. Звали попугая «Худак». Но Алешке и этого было мало. И тогда я рассказал ему историю о попугае, которую любил рассказывать отец мой. Я рассказал это потому, что мне трудно было от усталости и сонливости придумать что-либо новое:

— Надоели Худаку наши серые края, у него и без того серого цвета уйма на крыльях. Вот собирается Лянгасов плыть в тропические страны, а попугай ему и говорит: «Есть у меня к вам просьба, Николай Николаевич. Отправляйтесь вы на Яву. Будете вы останавливаться в портах Ботавии, и войдете вы в искусственный рейд Танджонг-Приока. И когда ваш пароход отпустит якорь, вы садьте в лодочку и поезжайте по реке. И как только заплывете в такое место, где ветви переплетаются над рекой, образуя свод, вы увидите на ветвях множество попугаев, я попрошу вас крикнуть им: «Худак кланяется вам!» Вот и все». Капитан удивился. Приплывает оч в порт Танджонг-Приока. Пароход останавливается, грузит уголь. День грузит, другой. Капитану делать нечего, пил он зельтерскую, квас, содовую, ничего не помогает, — жара и духота. Лодман ему и предлагает: «Прогулялись бы вы, господин капитан, прохладными местами, скажем, этой рекой». Лянгасов и поплыл. Согнулись ветви в виде свода, запорхали попугаи, вспомнил он свою птицу, оставшуюся в Самаре, и крикни: «Худак вам кланяется! Сидит он в стране Урал, в городе Самаре, в зеленой клетке!» Только услышали это попугаи, упали все в воду. Сыплются мимо лодки, как листья. Капитан испугался,

еще больше вспотел и повернул лодку обратно.

— Испугаешься, когда они все одинаковой формы. Или разной?

— Одинаковой.

— Что же это за страна, если всех попугаев в одинаковую форму нарядили?

— Приезжает капитан домой, сидит в кресле возле клежки и грызет орехи и пьет чай в накладку. Попугай тоже грызет орехи. Вспомнил тут капитан Лянгасов прогулку по притоку реки в рейде Танджонг-Приока, говорит он Худаку: «Так, мол, и так, передал я твой привет, но повалились все твои соотечественники в речку». Только услышал попугай эти речи капитана, как хлоп с жердочки на пол клетки. Смотрит капитан, а попугай вытянулся, клюв раскрыл, язык наружу, глаза под лоб. «Вот дурак», — думает капитан о попугае. Раскрывает клетку, щупает: сердце молчит у попугая. Рассердился капитан и на себя, и на попугаячью слабость, для чучела он некрасив. И выбросил капитан попугая в окно прямо в ручей: только-что прошел дождь и ручьи вылочили всяческую гадость в реку Волгу. Но не проплыл попугай и трех шагов, как расправил крылья, вспорхнул и говорит, летя в поднебесье: «Сам ты дурак, хотя и капитан дальнего плавания». Оказывается, это попугаи посоветовали ему притвориться мертвым и таким способом освободиться от плена. Вот летит попугай на родину в Африку. Летит он день, два, а пища все пшеница да изредка каргошка, ни тебе ни ореха, ни тебе тропических ягод. Попробовал попугай смородину есть, только брюхо болит. Залетел он под облака, огляделся, а вокруг все пшеница на тысячи верст. Устал! Вот и вернулся попугай к самарскому капитану Лянгасову и говорит: «Оказывается, тропические-то законы для России не обязательны».

— В Сибирь бы летел балбес. Здесь его форма больше годится, здесь и для его пищи кедровый орех растет.

Алешка нисколько не сомневался в достоверности рассказа, и это доставило мне громадное наслаждение. Впервые я встретил необычайно доверчивого слу-



шателя. Он был не мечтателем. Когда например на другой день он предложил мне поселиться у них на хлебником, он торговался со мной долго и упорно. Очтщательно перечислял стоимость проддуктов, расходы, беспокойство. «Попробуй займи у него денег», — думал я. Но со всем тем он слушал мои рассказы с упоением.

Утром нас разбудило хлопанье голубиных крыльев. Ломовой извозчик Степан Кочетков, алешкин дядя, кормил овсом коней. Голуби рвались к овсу. Алешка выпускал их по одному, подробно объясняя мне достоинство каждого. Мы залезли на крышу. Я увидел отсюда, что крыши всего города покрыты голубями. Город пламенел от белизны голубиных крыльев! Казалось, что крыши стонали от страсти. Общеизвестно, голубь птица любвеобильная и вежливая.

Вскоре подошло время, когда я ощутил в себе эту голубиность.

В доме, куда привел меня Алешка, жило две семьи: Жулистовы и Кочетковы. Семьи различались только фамилиями. Собой они были громоздки, грудасты, усасты. По двору ходили грудастые ломовые лошади. По крыше степенно гуляли грудастые голуби. И дом, казалось, идет по Курганской улице грудью вперед, сизый, воркующий.

Соседями были грузины-булочники, тоже грудастые, румяные. Меня удивляло, что они не отличаются ничем от русских, так же пьют водку, ругаются. По праздникам они обряжались в черкески. Плечистые, веселые, они шли в церковь.

Через забор я смотрел, как грузины ловко орудут тестом и мукой. Сашенька Кочеткова, степенная, молчаливая, громоздкая не по летам, — ей было всего 17, — садилась на забор и тоже смотрела на грузин. Я думал, что она влюблена в кого-нибудь. Но, оказалось, она любовалась на все, что делалось быстро и ловко. Любовалась она, как осенний ветер ловко сдирает с деревьев листья, любовалась, как толстые грузины быстро хлопают крышками ларей, быстро черпая оттуда громадные ковши муки. Однажды булочники подрались. Са-

шенька всплескивала руками, глаза ее горели:

— Смотри, Всеволод, как ловко!

Голубоглазый грузин пырнул черноглазого ножом. Сашенька еще пуще обрадовалась.

— Ой, кишки, Всеволод, полезли, ей-богу, кишки! А этот еще лучше работает.

Черноглазый грузин, всовывая кишки в живот, догнал своего противника уже на улице и все-таки ударил его ножом в спину. Булочники оба умерли через полчаса. Сашенька смеялась над тем страхом, который появился у меня, когда я увидел смерть. Посмеявшись, Сашенька бросилась помогать вдове. Она работала не менее ловко, чем покойные грузины. Она расспрашивала меня, как работают в типографии, знала размеры шрифтов, не будучи там ни разу. Она ловчей любого ломовика умела запречь, распречь, погрузить. Но обольстила меня вовсе не ее ловкость.

Рассказав Алешке из вежливости о капитане Н. Н. Лянгасове, я этим самым возвратил себя в Индию. Долго я не хотел выезжать из Самары. Я рассказывал Алешке о капитанах, о волжских лоцманах, о водоливах на баржах. Алешка расспрашивал меня и не верил, что я был только в Самаре.

— Нет, ты дальше ездил. Ты мне не скрывай.

И тогда я сообщил дополнительно нечто о капитане Лянгасове. Сострадательный капитан, дабы улучшить мою жизнь, предложил мне через посредство знакомого хирурга сделать более благородный нос. Ужасная судьба его сына пугала меня, но хирург не внушал мне доверия. Алешка Жулистов обладал вполне приличным носом, и страдания из-за рыхлости его не трогали. Он признавал ценной форму одежды, но не людей, не их частей тела. Когда я отказался резать овой нос, Алешка сказал:

— Правильно. Можно такую красивую форму подобрать для человека, что любой нос окажется сносным. Ну, а как же отнесся капитан? Наверняка разозлился?

Вежливость терзала меня. Алешка бил безошибочно. А, кроме того, мы с

ним перешли спать в комнаты. Спало нас в одной комнате шесть человек, рослых и здоровых. Пятеро спали на полу, «вповалку», Сашенька спала на кровати. То ли коротко было одеяло, то ли жарко в комнате, но Сашенька постоянно открывала во сне свои ножки!

Капитан Лянгасов почувствовал ко мне любовь, я ему был близок не менее, чем его погибший сын, и он повез меня в Индию. По дороге он захворал оспой, несколько дней я самоотверженно ухаживал за ним, но все-таки бедный капитан в бреду, путая меня со своим сыном, ушел к праотцам, оставив на мое попечение корабль и все свое имущество. Несчастного капитана бросили в Красное море, привязав к ногам чугунное ядро. Напали было пираты, но я так здорово командовал, что мы отбились. Итак, я приехал в Индию. Наш корабль остановился в рейде Бенареса!

Должен сказать, что, покинув навсегда «шестивие факира», я тотчас же многое забыл об Индии. Сейчас я утешал себя тем, что возвращение мое временное, на несколько дней, поэтому мне было приятно, что я не мог вспомнить, чем же город Бенарес отличается от других индийских городов. Впрочем Алешке было вполне достаточно, что там сливается фиолетовый Ганг с черным Индом. Хуже дело было с одеждой — с «формой». Алешку никак не удовлетворяли белые тюрбаны и светлосиние халаты индусов. А когда я сказал, что факиры ходят в лохмотьях, он не пожелал узнать более этого что-либо о факирах.

— Наше государство богаче, выходит, индусского, — сказал Алешка, — Англия-то одела факиров, самых умных людей, в тряпье.

Помню, мы стояли на кургане, том самом, о котором говорил мне Петька Захаров. Осенние деревья окружали Тобол. Было солнечно. Истомленный рассказами, я чувствовал, что мне давно уже пора вернуться в Россию, но меня обижало алешкино равнодушие к факирам. Перед тем, как итти на курган, я купил в магазине дамских шляп несколько длинных булавок. Я хотел показать их Алешке и поведать ему

о тех чудесах, которые свершают факиры.

Каждое утро Алешка сообщал мне свои сны. Странные это были сны! Белка, играющая на скрипке. Медведь, ревуший в пожарный рукав про свою жизнь. Подробное описание танцующих голубей, их замечательные формы: белые, оранжевые, зеленые. Алешка чрезвычайно уважал музыку. Он целые ночи сидел, бывало, на скамейке, возле дома, где одноглазый гармонист, слесарь, рябой и тоскующий, играл «хайовату».

Когда я показал Алешке булавки, он вдруг вернулся к сновидению, уже рассказанному мне утром. Я обиделся. Я вытер полый рукави булавку — и быстро воткнул ее в грудь! Алешка смотрел на меня с ужасом и восхищением.

— И не больно?

— Вроде комариного укуса, — сказал я.

Алешка рассмеялся:

— Кто же тебе поверит, что факиры ходят в лохмотьях.

На другое утро он мне рассказал, что видел во сне Индию. Эта страна очень походила на ту страну, о которой думал я. Небо розовое, а не такое, как у нас, серое. Деревья распускаются наверху громадными пучками листьев, а не так, как у нас, от самой земли ползет ель с мелкой, как песок, хвоей. Медведя, самого крупного нашего зверя, легким ударом хобота убивает слон. А у нас слоны схоронены под льдами, и для того, чтобы не было обидно, мы их называли по-иному — «мамонтами».

Нет, и люди там иные! Нет, не вернуться мне из Индии!!

— Вот кабы ты перед тем, как ехать в Самару, в Курган наш завернул, — сказал Алешка, — я бы тогда тоже побывал в Индии.

Я купил себе гуттаперчевый воротничок и манжеты. Я сам стирал себе белье. Сновидения мои и алешкины быстро надоели мне. Я мечтал опять о Волшебной библиотеке. Я бросился на последние страницы газет. Я получал заказные бандероли, покрытые сургучными печатями и штампами «Петербург». Я купил «Практическую магию» Папюса

(черная и белая), 3 тома, 1912 г.; Павел Седир «Магические растения», включающие в себя оккультную ботанику, герметическую медицину, палингенезию. Универсаль из росы, Ботанический атлас 1909 г.; Издания д-ра филос. Б: Сидис «Психология внушения», 1902 г.; «Психометрия», пер. с английского под ред. Синга, 1908 г.; того же автора «Френология», «Астрология», «Хиромантия», «Спиритизм»; «Магнетизм и гипнотизм», лекции профессора психологии доктора Ю. Охоровича, издание редакции журнала «Ребус», 1896 г. Затем на меня посыпались соображения, которые высказывал иог Рамачарака: «Наука о дыхании индийских иогов», «Религия и тайные учения Востока», Суоми Абедананда — «Как сделаться иогом».

Жить надо, говорили книги, по системам. Ни одной главы не обходилось без того, чтобы меня не обвеела какая-нибудь новая система. Система Санкия! Система Веданта! Система иога Петанджали! Все эти системы никак не могли сговориться с собой, даже слова они писали по-разному. В одной книге добро напечатано с большой буквы, а в другой с большой буквы печаталась сила, а добро с маленькой. Поначалу я думал, что у них нехватает букв, как это случалось у нас в типографии Кочешева, где иногда, набирая афишу, приходилось ставить буквы различных шрифтов, но позже я понял, что каждая система старается обвесить, обмануть другую систему «Нехорошо, очень нехорошо, господи индусы!» — думал я.

## 14

В простенке горницы висело зеркало, в которое разглядеть себя невозможно. Дабы не вызвать душевного разлада, в зеркало посматривали мельком. Я поставил к зеркалу маленький стол, купил керосиновую семилитровую лампочку. Прямо из окна, по ту сторону улицы, возле кирпичной ограды, виден ряд тополей, постоянно покрытых дождем. Ограда тщетно старается скрыть водочный завод. Поздняя ночь служит ему оградой. Я читал книги о факиризме до

тех пор, пока пурпуровый восход не открывал мне кирпичную трубу завода. Я добросовестно беседовал с каждой системой и покидал ее неудовлетворенный, потому что она неизбежно говорила в конце:

«Однако мы хотели бы вполне ясно установить, что приводимые здесь объяснения не относятся к высшему классу явлений, производимых учителями и высшими окультистами. Эти люди высокого духовного достижения подчинили себе силы природы высшего порядка и употребляют свои знания для блага и развития человечества».

Я тоскливо смотрел на кирпичную трубу. С тополей лилось такое количество воды, что было непонятно, почему тут нет реки. Шел пьяный мужик, через каждые два шага падая с тротуара. Спать бы ему, а он шляется. Из-за тополя выскакивала баба. Она пыталась поднять мужика, и вдруг — раз-два! — мужик ловко бил ее по уху. Баба падала. Мужик поднимал ее, опять бил по уху и падал сам. Баба пыталась поднять его. Я смиренно смотрел на эту нелепицу. Осень заглушала их голоса, и мне казалось, что никогда муж и жена не будут стоять рядом. Да и нужно ли им? Вот тебе и благо человечества.

Тут же иог Рамачарака говорит по-другому: «Индусская мысль идет по своему пути, чуждому точке зрения Запада, который видит преимущество и добродетель в гласности. Восток твердо держится того мнения, что истина — только для избранных, готовых принять ее».

Книги тербили меня, издевались надо мной. Обо мне они нагло говорили: «У факира нет ни научных побуждений, ни высокого духовного идеала».

А мне казалось, что они просто не могут преподавать более того, чем я знаю сам. Тот же иог Рамачарака вместо объяснений напечатал: «Многие из психических явлений могут иметь место только в Индии, благодаря преобладающему там психическому состоянию масс». Как будто боясь того, что я могу явиться в Индию и проверить его слова, он торо-

пливо добавлял: «Факир с презрением отказывается от предложенных ему денег и скорее умрет, чем выдаст свою тайну. Безрезультатны были все усилия многих европейцев проникнуть в эту свято хранимую тайну факиров».

Системы связно излагали лишь ритмическое дыхание, служащее способности производить магию, то-есть «уметь вводить в заблуждение чувствования присутствующих и заставлять их видеть то, чего нет в действительности».

Я дышал, вполне им послушный. Я дышал месяц, еще месяц, три месяца. Но я не завладел ни одной хотя бы самой маленькой тайной.

Заставлять видеть то, чего нет в действительности!

Я смотрел в тусклое зеркало, и мне казалось, вот я беру пустой ящик и поворачиваю его. Из ящика выползают змеи, изгибаются, раскачиваются, толстеют. Змеи уже толщиной с добрую жердь. Я щелкаю пальцами, змеи исчезают. Затем я беру конец веревки и бросаю его вверх. Веревка поднимается. Я оставляю ее. Она не падает, а нижний конец ее болтается в нескольких аршинах от земли, как будто где-то высоко над землей привязан ее конец. Я приказываю своему помощнику. Мальчик поднимается по веревке все выше и выше, исчезая в облаках. Я хлопаю в ладоши. Он выпрыгивает из толпы. Затем я сажу в землю семя подсолнуха. Я машу руками. Появляется зеленый росток. Он быстро развивается, вот уже листья, вот уже широкий цветок. Я обрываю лепестки — и лепестки покрывают всю лужайку. Затем я беру своего помощника, толкаю его, и он вертится, как волчок. Его движения ускоряются. Мальчик воронкообразно исчезает в воздухе. Я беру ведро воды и лью. Вода льется непрерывно и заполняет всю лужайку. А в конце лужайки, прислонившись к осине, стоит Филиппинский, тяжело дытя. Пашка Ковалев считает сбор. Петяка Захаров, бойко сверкая глазами, думает, как бы так понатужиться, чтобы на следующее представление вместо двух сотен пришло две тысячи человек!

Истинно, нет у меня ни научных побуждений, ни высокого духовного иде-

ала, ни тайны! Я тосковал о шестивии факиров, о своих друзьях, в которых некогда разочаровался. Изредка я думал, что тоска моя оттого, что приближается зима, что у меня нет шубы, что мне трудно подобрать учеников:

«Ученики факира должны ввести толпу в состояние ожидания. Они должны играть на легких инструментах, создавая особые заглушенные звуки, под которые факир медленно и сонно поет слова, оканчивающиеся на «у-ум».

Ведь экие болтуны! Напечатали «у-ум», а какие слова должен медленно и сонно петь факир, чорт их знает. Я беру тетрадку и придумываю:

«перпетуум...  
аквариум...  
террариум...  
консилиум...  
услия ей ум!  
как много сум!  
красивый оппосум!  
пуля дум-дум...»

Сашенькины ножки выбиваются из-под одеяла. Топят, что ли, чересчур жарко? Я говорю старухе Кочетковой:  
— Вы бы, Максимовна, топили поменьше.

— Замерзает, по-твоему, книга?

Меня нежно называют «книгой». Обе семьи дружные и легкомысленные. Они почему-то решили, что я хочу сдать экзамен на учителя. А в комнате все жарче и жарче. Конечно факир должен искать всяческие испытания, но почему же им начинаться с девичьих ножек? Лучше воспитывать в себе искренность, вставать раньше, а не думать об этих семнадцатилетних ножках, крепких и длинных, с удивительно прозрачной кожей. Я пристально смотрю в зеркало, я думаю о словах нога Рамачарака, а на самом деле мне хочется помочь Сашеньке освободиться от тяжелого стеганого одеяла. Кто знает, может быть, она привыкла спать голой?

Вот уж никак не ожидал я от своей воли, что она выкинет такую штуку. Я старался смотреть в книгу. Я прикрепил к воротнику куртки булавки, так, что, обернись я, они кололи бы щеки, напоминая о моих решениях. Но я все-

таки оборачивался и терпел булавочные уколы. Я смотрел до тех пор, пока ножки не расплывались, не теряли очертаний. Мне мучительно хотелось дотронуться до них. Мне казалось, что ножки холодные, как дерево. Нужно ли проверить? Я с радостью привязал бы свои руки, но как тогда перелистывать страницы? Я поворачивал только одну голову, боясь повернуть все тело. Когда шея начинала нестерпимо болеть, я смотрел на Сашеньку в зеркало. Она лежала, закрыв голову, и сквозь муть зеркала, блеклую и водянистую, мне видны только ее ноги.

Женщина без головы! Наконец-то я увидел тот фокус, который мне хотелось видеть давно и который я хотел проделать сам. Я вспомнил Петьку. Мне делалось немножко грустно. Петька не только бы давно дотронулся до ножек, но и лег бы рядом с нею! Но я не совсем еще простил Петьке мои обиды. Я твердил, что из всех книг, прочитанных мною о воле, ясно, что не надо торопиться исполнять свои желанья, а желанья Петьки тем более.

Кормили меня хорошо. Я раздобыл. Щеки мои горели. Я ежечасно ощущал ту примесь, которую вливал в меня этот голубиный дом. Я очень сильно чувствовал свой возраст. Мне казалось, что Кочетковы и Жулистовы хотят, чтобы все в ихнем доме было солидное, крепкое, примеренное к ним самим, и я натуживаюсь для того, чтобы быть таким же, как они. В этом доме все должно быть одинаково. Вот например в сенях жила нищенка Аграфена Пычкина. Это была рыхлая и вялая баба, растолстевшая на голубиных хлебах. Меня сердила ее грубость, ее рыхлость, хотя она была и молода, — лет двадцати двух. Она восхищалась грубой силой мужчин. Увидав драку, она даже визжала от восторга, а если проходил мимо здоровый мужик, она его хватала за руку и говорила: «Дай двадцать копеек», и глаза у нее были бороздящие.

Я наполнялся такой тайной, которую меньше всего хотел иметь. Я с негодованием рассматривал в зеркало свои розовые щеки. Факирские системы не изнурили меня. Труд, преподаваемый ими,

был легок! Я решил придумать свою собственную систему.

Я гулял подолгу вдоль курганских улиц. Давно выпал снег.

Однажды я возвратился поздно. Светила луна. Двор заставлен кожаными верхами пролеток. Уже на зиму приехали извозчики из соседних сел и поселялись в сарае. Я увидел, что одна извозничья пролетка раскачивается. Я подошел ближе. Из-за сарая вышла собака со скучной зимней мордой. Она посмотрела на меня так, как будто хотела сказать, что в наблюдаемом происшествии нет никакой тайны. Я понял ее, но мне хотелось проверить. Я пошел за сарай, обождал.

Из пролетки вылез Степан Кочетков, а за ним — нищенка Аграфеша. От обоих шел густой пар.

— Замерзнешь в сенях-то без этого, — сказала Аграфеша, подпрыгивая.

Голос у нее был молодой, и не было в ней той вялости, которая наполняла ее всегда. Она продолжала говорить, видимо, уже давно начатое:

— Хвалят больше мертвых? Хорошо! Умирать не так страшно. Слава далеко идет. Жизнь наша узкая. Узнаешь, Степан, после смертинки моей, зачем я сплю в сенях! Вот он и возле меня лежит и уйдет. Ни спросу тебе, ни разговору, ни тебе плачу, ни тебе денег. Это тоже радость. Глядишь, умру, а пользователи будут рассказывать, и пойдет славушка об Аграфешке!..

У этой нищенки было свое понятие славы! Она чрезвычайно удивила меня. Кроме того, я понял, почему Алешка выходит ночью на улицу и почему долго не возвращается, а как он только вернется, так на улицу выходит Сережка, молчаливый брат Сашеньки.

Действительно, снисходительность нищенки пойдет в отдаленные страны и века!

Сашенькины ножки все ярче и ярче пронизывали тусклость зеркала своей рельефностью. Даже зеркалу не остановить их. Я не мог читать факирских книг. Я не мог думать о своей системе. Я не мог гулять по зимним курганским улицам. Оно само виновато, это голубиное семейство, что кормит меня!

В доме была предрассветная тишина. Я отодвинул табуретку. Но я не смог подойти к сашенькиной постели. Я немножко боялся скандала и поэтому думал, что приближение к ней чересчур изменно для моих чувств. Я даже не пожимал ее ручки, никогда не посмотрел на нее особенным взглядом. Остатки моей высокой воли вели меня к иной, более высокой любви! Если развивать свою волю, то ее надо развивать более возвышенными способами. Вот неизвестная жалкая нищенка ищет славы, чтоб рассказы об ее снисходительности разносили по всему миру. Если я, всемирно известный факир и дервиш, обойду весь мир, то не на мне ли лежит обязанность разнести эту славу и не стыдно ли будет мне, если я обижу Аграфешу? А кроме того, Сашенька лежит в теплоте и от теплоты раскрывает свои ножки, а там другая замерзает в сених, и ее нужно пожалеть.

Она спала влево от дверей. Я зажег спичку, взятую на кухне, и оглядел ее. Она лежала, закрывшись рваным лоскутным одеялом. Спичка погасла. Я сел рядом:

— Подвинься.

Она привсталала на локте и спокойно подвинулась:

— Хоть бы предупредил вечером. Меня все предупреждают, а то этак и за домового примешь. Видишь, голос-то у тебя какой зыбучий.

Вернувшись, я прикрыл сашенькины ножки одеялом.

Я заснул таким крепким сном, каким не спал ни при каких трудах. Утром я проснулся, наполненный необыкновенным стыдом. Этот стыд мучил меня целый день, и только мучительное желание пищи заставило меня вернуться домой. С болью думал я о встрече с Аграфешей. Но она еще не возвращалась со своей сумой. Особенно меня почему-то возмущала эта грязная ее сума. Я вспоминал, как она болтается сбоку, наполненная кусками хлеба; вспоминал особый вязкий голос, которым Аграфеша просила подаяние; вспоминал то, что, уходя на сбор, она мазала лицо копотью, чтобы «податели» не ругали ее за молодость и здоровье. Я вспоминал

ту ласковость, с которой она приняла меня, и то, что не смеялась над моей неопытностью. Я очень мучился. Случившееся мне казалось чрезвычайно низменным и грубым, несмотря на то, что я разнесу ее славу. Может ли это в какой-либо степени отразиться на моем факирстве? Могло ли это быть искушением, которое я не поборол? Слово «искушение» соприкасалось со мной с церковью. А я хотел, чтобы моя система никак не соприкасалась с церковной системой! Следовательно, это не было падением? Факир не отказывается от «этого», но мне было больно, что должное произойти произошло впервые именно с Аграфешей.

За вечер я написал три послания к Аграфеше. В первом письме я сообщал ей, что все происшедшее было минутным заблуждением, что похоть, охватившая меня, не повторится, но я признателен ее дружескому поведению и навсегда останусь ее другом. Запечатав письмо и наклеив марку в 7 копеек, я вдруг подумал, что местное письмо оплачивается в 5 копеек, и мне стало стыдно, я как будто пожалел 2 копейки. Я написал второе письмо. Перед тем, как писать это письмо, я наклеил на конверт марку в 7 копеек. Я написал приблизительно так:

«Несомненно, должно произойти было множество несчастий в твоей жизни, Аграфеша, чтобы прийти к тому выводу, к высшей мудрости, что только снисходительность, спокойствие, управление страстями есть то счастье, которого добивается человек, что, в сущности, все «тайные учения Востока», все Веданты и Сутры как-раз говорят то же самое. Едва я попаду в Индию, я признаюсь, что как-раз ваша помощь, Аграфеша, открыла мне великую душу русского народа и помогла мне дойти до Индии. Только дрянное мое тщеславие позволило мне стыдиться наутро тех ваших поцелуев, которыми вы проводили меня. Все это я вытраваю из себя! Уже сейчас ваш образ, Аграфеша, становится для меня высоким и радостным, и, когда пройдут многие годы, этот образ светлой первой любви встанет предо мной в необычайно ярком ореоле! Вы для меня

не друг, а подлинный и настоящий учитель».

Оба письма показались мне вскоре несправедливыми. Я написал третье. Я наклеил на него две семикопеечные марки. Я писал, что ее слова о знаменитости и славе открыли мне многое. Я благодарен ее чуткости, с которой она увидела, что именно я обладаю способностью передать ее слова потомкам. Поэтому пусть она хранит письма знаменитого факира и дервиша Бен-Али-бея, творца великой системы, еще не имеющей имени. Пусть хранит их, как бы ни разноречивы они, ибо только в этой разноречивости их ценность, потому что Бен-Али-бей искал тогда великую истину своей системы. Придет время, я устремлю маяю, и все люди увидят чудеса, которых прежде не замечали, и среди чудес первым будет раскрыто и показано чудо вашей души, Аграфеша! Я появлюсь в Кургане, осененный славой, и возьму у вас письма, чтобы их напечатать в книге с золотым обрезом, как руководство для людей, которые будут изучать мою систему. Книга эта будет стоить дешево! Я приложу портреты вас, как моей первой ученицы и последователя великого Бен-Али-бея.

Нельзя сказать, чтобы и третье письмо мне очень понравилось. Но я боялся, что на четвертом я уже совершенно не справлюсь с собой. Я хотел было передать только последнее письмо, но, подумав, что это событие для меня и для нее чрезвычайно выдающееся, — передам все! Пусть во всем этом она разберется сама.

Утром во время чая Аграфеша обычно садилась у дверей и ждала, похлопывая пухлой рукой по суме, когда мы все уйдем на работу. Она была ленива, и, когда уходили все, тогда и она уходила, иначе б ее выгнал старик Жулистов. Ребята ждали меня у ворот, Аграфеша ждала, когда я уйду. Проходя мимо нее, я кинул ей на суму письма.

Она побледнела. Руки ее затряслись. — Повестка? — спросила она заплевающимся голосом.

Бедняга, она знала из переписки только повестки мировых судей!

Я ласково сказал ей:

— Не повестки, а письма.

Она вертела их смущенно в руках.

— Кому передать-то?

— Не кому, а тебе. Видишь адрес: Аграфене Пычкиной.

Она все еще не понимала.

— А кто пишет-то? Откуда? Ведь в деревне все перемерли. Диви бы церковь у нас сгорела, ну звали бы меня на сбор. Ошиблись, не иначе. Разве кому с передачей? Вот напасти-то, господи. Кому бы это им писать? Да ты прочитай адрес хорошенько, парень.

Меня обидела ее бестолковость, казавшаяся мне даже намеренной.

— Написано тебе лично. Написано из деревни, а из города. От меня.

— Да я вижу, что от тебя, но только кто бы мог послать? Ведь этак до смерти можно перепугать! Ведь, если на церковь деревенские не соглашаются собирать, так я могу согласиться. Но ведь не может же сгореть три церкви. Я не могу собирать на три.

— Да пойми же ты, дурья голова, что это пишу тебе я, Всеволод Вячеславович Иванов, который стоит перед тобой, наборщик типографии А. Кочешева.

— Кому бы это писать? — оторопело твердила она, крутя письма. — А ты не сердись. Я тебя читать их не заставлю, а вот Сашенька придет с работы, так я ее попрошу. Как лезть, так вы все лезете, а как дело, так вам и письмо жалко неграмотной прочесть.

Она смотрела на меня испуганно.

Ужас владел мною. Как я мог забыть, что она неграмотная! Я смотрел на ее пухлое лицо, резко сунув руки в карманы. Я буду мужественным. Я не стану вырывать письма. Пусть все читают, пусть знают! Моя воля должна закаляться в несчастье.

Она положила письма в свою суму.

— Ну, наделал ты мне хлопот, книга!

Я не знаю, как она с ними поступила. Несколько раз я пытался спросить у нее, но она, тупо ухмыляясь, говорила мне:

— Дай двадцать копеек.

Хотелось мне поговорить об этих письмах с Сашенькой, но и та молчала.

Только однажды, как-то щеголевато улыбаясь, она спросила меня:

— А что, Сиволод, писать письма трудная работа?

— Не столько трудная, сколько мучительная, — строго сказал я.

— Я бы хотела хорошо писать. Которые так пишут, что после этого три или четыре ночи непрерывно плачешь. Много непонятого, но все жалобно, все про страданье, а я так вот думаю, что никаких страданий нет, а есть только одни песни.

Глаза у ней были прозрачные, легкие, и действительно верилось, что для нее нет и не будет никаких страданий.

Недели две я спокойно читал книги, недели две в комнате было холодно, и Сашенька не открывала ножки, но затем опять началось все прежнее.

Я подумал, что мне должны помочь звезды. Высокий духовный идеал и научные побуждения вряд ли способны посетить меня в этой душевной комнате, где люди от жары спят голыми. Кроме того, мне казалось, что на дворе лают собаки и возле сарая бродят конокрады. Мне необходимо проверить свою смелость, накопленную мною во время долгих упражнений. Короче говоря, я отправилась в сени даже без спичек.

Аграфеша сонно промывчала:

— Да ты бы предупредил меня, меня все предупреждают...

Но, расслышав мой голос, она испуганно завернулась в одеяло и торопливо сказала:

— Нет, ты уходи, уходи. Не надо мне повесток, Сиволод.

— Да ты что, спятила, глупая?

— Уходи, а то закричу во всю голову. Закричу, что режешь, что деньги отнимаешь!

Она лягнула меня ногой в лицо, и я покатился по ступенькам.

Я ушел. Я не спал всю ночь. На другой день утром я уехал из голубиноного дома. Я ждал, что Сашенька будет грустить, но она проводила меня весело и спокойно. Она, лениво ухмыляясь, выслушала мои объяснения, что высокие научные побуждения, искания тайны заставляют меня покинуть их дом, где для моих занятий нет отдельной комнаты, а

следовательно, нет возможности причалить к науке!

Я долго колебался, прежде чем решился придумать новую факирскую систему. Уверю, что только крайняя необходимость вынудила меня. Деньги, зарабатываемые мною, уходили бесславно. Я купил суконные брюки за девять рублей, пиджак за семь, часы за два с половиной. Двенадцать рублей послал в Лебяжье. Отец мой удивленно и обиженно ответил, что он не нуждается в моих деньгах и что двенадцать рублей пойдут как мой пай в постройке банка. Отец приложил письмо от банкирской конторы Вальтера Брета из Чикаго, которую отец пригласил участвовать в Лебяженском банке. Отец прислал письмо вместе с американским конвертом, дабы у меня не было сомнений.

Нужно было торопиться. Разврат приближался ко мне. Я привык к излишеству. Мне нравилось пить чай в трактире с баранками и стуком бильярдных шаров в соседней комнате. Но отказывать себе в чем-либо, изнурять себя без системы, лишать себя того, что я позже могу признать необходимым и достойным, благодаря рассуждениям системы, — я считал излишним! Вот, если бы я не прочел множества книг о факиризме, если бы не знал, что факир без системы существовать не может, тогда дело другое! Но все-таки было бы хорошо, прежде чем кидаться в дебри трудно постигаемой новой системы, посоветоваться мне с кем-нибудь.

Я спросил у сотрудников набираемой мною газетки, у корректора — кто бы мог поделиться со мной своими размышлениями о факиризме? Сотрудник Костиц, удивлявший Курган тем, что один во всем городе носил белый полотняный костюм, сказал, что факиров не существует, и что для убедительности каждому читателю стоит заглянуть в труд Рубакина «Среди книг», где указано по меньшей мере сто тысяч брошюр и томов, но ни одной книги о факирах. Костиц даже принес мне «Среди книг». Но Рубакин не убедил меня. Я только скрыл в себе вопрос о Волшебной библиотеке, который хотел задать журналисту Костицу. Несомненно, книги о фа-



кирах идут где-то особо, и это есть тайна, которую не знает высокообразованный, сияющий стеклами очков сотрудник «Курганского вестника» господин Костич. Потомки декабристов знают несомненно больше! Потомок декабристов несомненно слышал что-нибудь о Волшебной библиотеке, легенды которой заполняли всю Сибирь. Должны же быть в добродетельном городе Кургане потомки декабристов! Мне указали на единственного потомка декабристов, бывшего каторжника Севастьяна Максимовича Кухаревского, который занимал теперь должность библиотекаря и переводчика в союзе маслодельных артелей.

Кухаревский я нашел в пивной. Алешка Жулистов указал мне на него в окно и отошел прочь, потому что ненавидел людей «хромой формы». Кухаревский был весь какой-то протухший, в рваном пальто, буровато-мясного цвета, лысый до необыкновения. Каждую фразу он начинал говорить высоко, но к концу угасал и последнее слово говорил, заикаясь и обдавая вас запахом гнил.

Кухаревский долго смотрел на письмо, которое переслал мне отец. Кухаревский потребовал, чтобы я выставил ему «пару пива». Он перевел мне письмо. Вальтер Брет предлагал моему отцу акции медеплавильных заводов. Господин Брет перечислял те прекрасные прибыли, которые получит отец, если вложит одну тысячу рублей. Прибыли необычайно увеличивались, если почтенный Вячеслав Иванов вложит десять тысяч рублей, а если он пожелает рискнуть пятьюдесятью тысячами, то господин Брет пришлет своего уполномоченного для личных переговоров.

Кухаревский, переведя письмо, почувствовал ко мне почтение. Он велел поставить еще полдюжины. Мне было лестно, что моего отца считают богатым человеком, — и я поставил.

— Вам надо заняться языками, — сказал Кухаревский. — Я вам могу преподавать английский. Мужчина без языков почти ничтожество.

— Благодарю вас, — ответил я с достоинством, — но меня сейчас более всего занимает факирская система.

Из-за поставленной полдюжины я чувствовал себя более независимым, более богатым, если хотите. Я боялся получить пренебрежительный ответ и поэтому начал издали:

— Не объясните ли вы мне, господин Кухаревский, какие у вас родственные отношения с декабристами?

— Прадед мой был подполковник Ухаревский, который женат был на дочери декабриста, откуда и сохранились все декабристские несчастья в нашей семье. Николай I рассердился на свадьбу Ухаревского и сказал: «Уничтожить этого ухаря самым унижительным способом, дать ему грязную кайму». Министры думали-думали и прибавили к фамилии моего прадеда букву К. И тогда мы сразу впали в полное ничтожество и со всеми нами происходило такое необыкновенное, что вот я например облысел в одну ночь не только головой, но и голосом, а затем попал на каторгу.

Мне страстно захотелось узнать, как же это так Кухаревский в течение одной ночи облысел не только головой, но и голосом. Кухаревский потребовал еще дюжину. Он рассказал мне ужасную историю, которую я передам вкратце. История эта заставила меня быстрее придумать свою систему. Признаться, я испугался. Я понял, как бессмысленно плыть увлекаемым неизвестным течением. Мне захотелось «вести свой корабль на своих парусах», захотелось быстро забыть этого каторжника, дабы самому миновать каторги, — и я выдумал свою систему, которую изложу после того, как будет сообщено о чудовищной страсти Севастьяна Кухаревского, библиотекаря и переводчика с английского.

## 15

— Я был красив и кудряв, господин Иванов. Я наслаждался большим счастьем и был спокоен. Мои деды и отцы, забыв о декабризме, который разрушил благосостояние нашей семьи, ушли в беличий промысел. Они промышленяли «заводской» белкой за Уральским хребтом, в северной полосе. Доброта шкурки «заводской» белки и густота волоса выше «зырянки» на 7 процентов, а цветом она приближается к чердынской. Как види-

те, преимуществ на нашей стороне было множество. Старики знали местонахождения белки и местонахождения эти тайно передавали от родителя к сыну.

И стрелял я неплохо. Белку, изволите видеть, бил одной дробинкой, куда укажете. Не пил, не курил. Просватали за меня девицу с именем, которое легко освоить: Елена. Лицом и ростом всем на зависть. Поехали мы — невеста, тесть и мой папаша — на масленице в Екатеринбург продать белку и докупить кое-что из приданого. Приезжаем, пересвистываясь от радости, вылазим из кошевы. Папаша и мой будущий тесть, по профессии торговец щепным товаром, направились в трактор, а нам говорят: «Развлекайтесь, дети, как хотите, но чтобы в номерах быть ровно к полночи, особенно не напрокудьте, и вот вам на расходы по красненькой». Судите сами, какая в голове «набель», вроде мы как бы перед открытым морем. Вышли мы на улицу, и разбежались наши глаза. Вдруг перед нами остановилась афиша, название такое зазывное: «Идеальный муж», будь она проклята! Пойдем, говорю, Елена, в театр. Купили билеты и конфет. Сидим в бархатных креслах, все очень любопытно вокруг. Ну, представление там идет, ходят лорды во фраках, следуют дамы друг за другом, говорят все соблазнительно. Выходим мы из театра, а Елена спрашивает:

— Любопытно, кто бы это мог написать так складно?

Читаю: Оскар Уайльд, перевод с английского. Книг мы прочитали множество по декабристскому нашему наследию и стремлению просвещаться, но Оскар Уайльд нам не встречался. Елена сверкнула на меня глазами, сама вся в мехах, такая румяная, такая красивая.

— Вот,—говорит она,—очень замечательно провели мы вечер, я очень довольна и очень довольная уеду опять в таежную глушь и в тайге буду жить припеваючи, но только одного прошу, Севастьяша, угощения.

— Чего угодно,—говорю,—требуйте, Елена Дмитриевна.

— Хочу,—говорит,—в память об счастливом времени в Екатеринбурге, чтобы ты, Севастьяша, выучил английский

язык и говорил со мной в страстные часы по-английски. Иначе жизнь не в жизнь и любовь не в любовь, а детки вырастут, ты их тоже научишь, так как сама я не осмелюсь к английскому подойти, от него у меня страх и трепет.

Голова у меня молодая, горячая, изпод шапки кудри вьются. Елена говорит свои слова высокой точки и завивает кудри мои на свой тонкий пальчик. Эх, думаю я, а ведь будет приятно, если я обниму ее и скажу нечто на ухо по-английски. А если не по-английски, то разве она проверит? В тайге можно и придраться, потому что сейчас она «метлыш»-мотылек. Ребята пойдут,—не до английского ей будет языка!

— Отлично,—говорю,—исполню твою просьбу. У нас помощник волостного писаря понял по самоучителю полный гитарный строй, неужели я не дойду?

Метель, сугробы, рядом с нами древний дом, подпертый кедровыми стволами,—в саду стоит, значит. Приятно. Обняла она меня, поцеловала.

— А я,—говорит,—со всей тебя женской нежностью так приласкаю, как и медведица в тайге не проявит силы!

Эка, думаю, девица-то какая! Откуда и слова. Распарило ее, должно быть, в театре. Если бы не почтенные родители, так думать мне б: с кем-то другим Еленушка теплилась! Поцеловались и пошли домой.

Попросил я совета от волостного писаря, а через два месяца получаю из Лодзи ворох книг. Посмотрел, раскрыл я эти книги — и сразу же вижу: не сжиться мне с ними, не свыкнуться. И так меня цапнуло за сердце, что я чуть не упал с ног. Но вспомнил, что особенно коснеть в горе не стоит, — есть возможность обмануть Елену. Но девица Елена оказалась с норовом, действительно медведице не уступит. Спрашивает меня: как и с кем занимаешься? Да ничего, отвечаю ей, занимаюсь, сохну. И говорю ей: «Тала, бала, мала», чтоб ничего не поняла. Она ухмыльнулась и говорит:

— Этак и комары умеют жужжать. А вот прислали за полтора верст от нас в село Суровье бородатого ссыльного,

который все языки произшел. Скачи, Севастьяша, иначе откажу.

Девка такая, — ее и отец боится. Она весь ихний дом в руках держала.

— Куда же, — говорю, — скакать, время весеннее. Подождем дороги.

Сверкнула она глазами.

— Скачи, — говорит, — Севастьяша, не от любви поскачешь, а к любви.

Ну и поскакал.

Сидит на березовом пне человек с глазами кроткими, с бородищей до пояса, сам молодой и свежую книжку читает. А глаза у него такие фиалковые, очень нежные.

— Не по-английски ли? — спрашиваю.

— По-английски, — говорит. — А вы разве способны? Не студент ли?

Бух ему в ноги. Надо бы со слезами сказать, думаю. И сам говорю ему действительно со слезами.

— Спаси, — говорю, — и помилуй, господин студент. Я не студент, а настоящий охотник за белкой и, кроме того, люблю Елену.

Тот было отнекиваться, а я ему — 42 белки под ноги. Парень, должно быть, или жадный был, или надо было ему для его движения, но согласился. Сел я у его ног, и он мне: «Английская азбука, — говорит, — состоит из таких-то и таких-то слов и слогов». И пошло чистить, и пошло чесать. Он было спать, а я ему: «Нет, — говорю, — раз вы уже, господин Томашев, взялись учить, потрудитесь продолжать». И так я его гонял без просыпу четыре недели. Начали мы между собой из'ясняться. До любовных слов еще не дошли, но они уже предвиделись. Я посылаю немедленно нарочного к Елене, а она мне отвечает: «Продолжай». Так сидим мы месяц, другой, время не охотничье, зверь линяет, студент норовит все свою бестолковую жизнь рассказать и перейти благодаря этому на русский язык, а я его ставлю на ноги: «Русский, мол, и без тебя мне папенька и маменька, почтенные люди, преподавали, а ты ходи в других языках». Но он пропотеет и опять начинает язык ловить. К середине лета уткнулись мы и в любовные слова, так как Елена требовала не только любовных слов, но

и любовного смысла. Как я сказал «об'ятья» по-английски, то меня даже слеза с'ехала. А студент Томашев говорит пренебрежительно: «Экие вы грубый народ. Нет для вас ученых увеселений, а только любовь. Одним словом, сверху донизу — тайга».

Приезжаю домой. С коня спрыгиваю. Елене кланяюсь в пояс и говорю по-английски:

— Здравствуйте, несравненная Елена прекрасная, люблю вас лучше всего неба и туч, и окрестностей. Вы ждете мое сердце, и тем эта моя речь великолепна, что окружающие вас папенька и маменька ничегошеньки не понимают!

Она мне улыбается и вдруг сурово спрашивает:

— А где же учитель твой?

— А я, — говорю, — его по-английски обогнал, и надобности мне в нем нету.

— Привезти, — говорит, — учителя Томашева.

Повернулась — и в дом. Я сначала распалился, а потом думаю: все лето учился ради ее, неужели сейчас не смогу уступить. Конечно, когда из-под венца придем, морду за все это набью, но пока пускай щепит мое сердце в мелкие щепки. Словом, сел на коня, скачу обратно. Студент Томашев мне говорит: «Я эти дороги, эти бесчисленные мили с вами месить не намерен. Переохайте ваше горе сами». — «Нет, — говорю ему, — если ты, господин Томашев, умел учить, так умей и расхлябывать!» Он побледнел. Взглянул он в мои глаза, а они тогда помоложе были, и говорит: «Где же ваш экипаж?» Молчал он всю дорогу от злости, ну и я тоже понатужился и молчу, хотя и надо было бы мне поупражняться в английском. Приехали. Елена говорит:

— А ну поговорите.

Ну мы покатались, разговорились, хотя обоим и противно друг на друга смотреть, да думаем: куда ни шло, в последний раз! Она послушала, послушала и говорит:

— А ну повторите.

Мы повторяем. Она вдруг среди разговора останавливает:

— Правильно. Нельзя такие слова придумать и так их точно повторить.

И повторяет она нам то множество слов, которые мы сказали друг другу, а говорили мы слова друг другу совсем неразборчиво, причудливо, прихотливо, а главное, с бранью. Заметьте, господин Иванов, что с двух раз она все слова запомнила и повторила с тонким и грамматически изытым произношением. Мы ризинули рты. Елена говорит:

— Через месяц в этот же день свадьба. Я думала, Севастьяша, ты скоро не научишься и с приданым не торопилась, а ты смотри-ка, как скручил мое сердце, как себя намуравил. Спасибо, Севастьяша, век тебе буду верна, век буду помнить твою услугу. Да и английский язык зря не пропадет. Зачем тебе возить белку в Екатеринбург, будешь теперь возить в Англию, партиями побольше. Любовь — любовью, а белка — белкой. Хватит нам, покормили мы своей кровью таежную мошкяру.

Вот голова! Я ей поклонился, простил злость свою на учителя и сверх указанного выдал ему десять белок собственного убоя. Он посмотрел на Елену, от подарка отказался и говорит:

— Ради такой женщины я бы все языки мира выучил.

Я смеюсь и отвечаю:

— А нам не требуется, достаточно английского.

Ходим мы с Еленой, радуемся, готовимся к свадьбе, а в ту пору и снежок, и пора бы на охоту, а я все подле нее и выбираю самые лучшие английские слова, которые с полным и могучим формом говорили бы ей о моих чувствах. А тут внезапно сообщают, что едут к нам охотники из города Екатеринбурга. Охотники к нам приезжали всегда богатые, потому что живем мы в усиленной глуши, и нужно напрягать много средств, чтобы к нам ехать. Но уж если приезжали, так мы на их деньги после отъезда всем селом пировали почти полгода. Охотники убивали возле нас медведей. Мы этих охотников презирали, и медведей бы мы давно перебили, медведь не белка. Мы медведя держали ради этих охотников. Правда, скоту приходилось трудно, пастухов медведи пугали, но все-таки выгоднее было, чтобы появлялись у нас самые настоящие великие князья

русских и иностранных фамилий. Как услышал я, что едут охотники, то говорю, что надо быстрее отпраздновать свадьбу, а Елену будто укусило:

— Нет,—говорит,—куда торопиться, надо этих князей ободрать, и чем нам на свои деньги пировать, так лучше на княжеские.

А я подозреваю, что ей в девках последние разы хотелось покрасоваться, потому что охотники на нее всегда заглядывались. Но, кроме того, девка неторопливая, а это нами, таежниками, ценится. Согласился я на ее слова. Приезжают. Охотников человек 12, и среди них такой мешковатый старичок с рожей, вроде намыленной, маленький весь, но винтовку держать горазд. Медведиха, как буря, выскочила, старичок не мигнул и прямо ей в соответствующее место разрывную пулю — и наповал. Остальные его уважают, и все ему: «сер» да «сер». Вот тебе, думаю, хоть ты и сер, а бить здоров. Елена их слушает и ходит вокруг них, а потом и сама тоже посерела и спрашивает меня: «Что этот маленький про меня сказал?» А я отвечаю:

— Откуда мне знать. Они промеж себя по-французски.

— Нет,—говорит,—не по-французски.

И вижу, Елена еще более посерела, но говорит она ласково князю из русских: — Дорогой барин, вы по-каковски объясняетесь?

— А мы, — отвечает князь, — по-английски объясняемся.

— Может быть, у вас, — говорит она, — разные слова бывают, вроде как нам, сибирякам, трудно понять без привычки харьковских или киевских мужиков?

— Нет, — говорит князь, — в общем мы говорим на книжном языке, на котором все учатся. А почему ты, красавица, спрашиваешь?

— А потому, — говорит Елена, — что у меня жених знает по-английски, но вот вас не понимает.

— Что за чародейство, — говорят князья и удивленно обращаются ко мне с английскими вопросами.

Я — ни слова не понимаю. Переглянулись они. Тогда я обращаюсь к ним с

английскими вопросами. Они разводят руками и говорят:

— Очень странно, но мы вас тоже не понимаем. Что за чародейство!

Я вижу — им уже смех трудно удерживать. Елена со стыда вся покраснелась и говорит:

— Уходи прочь, чабак!

И обращается еще ласковее к русским и к иностранным князьям:

— Он у нас самый большой врун во всем селе и такое соврет, что самому станет стыдно, хоть бесстыден он до невозможности.

— Как же так, — говорят князья, — ты о женихе столь нелепо отзываешься?

— А какой он жених мне! Мало ли с кем я баловалась. У нас страна холодная, без чужого тела не проживешь.

Вижу, у князей загорелись глаза. Осматривают они ее тело. А я понимаю, что она врет на себя и готова такое принять необятное, чтобы свалить стыд, который я на нее навалил. Стала она «москалистая», как у нас называют. Раньше б никогда с барином рядом не села, глазами бы не сияла, а тут он ей сказал: «Придвигайтесь, чаю с ромом не хотите ли, Еленушка?» Она ему в ответ: «Отчего, — говорит, — не побаловаться: наша страна холодная, и нужно уметь извернуться в ней».

Выскочил я. Мчусь через тайгу от приятеля к приятелю. Волки воют вокруг. Винтовка в ногах. Думал застрелиться, но потом решил: раньше узнаю, в чем моя губительная тайна, а затем застрелюсь. Волки, и те сторонятся моей злобной тоски, воют в отдалении. В полудень прискакал я в Суровье. Стоит мой студент Томашев на высоком крыльце, а сам блее обыкновенного снега, и говорит мне этот господин Томашев:

— Примерещилось мне, или вправду ты скакал без передышки, Севастьян Максимович?

Вижу, дрожмя дрожит Томашев, должно быть, уже все знает о приехавших англичанах-лордах. Я бросаю вожжи и говорю ему:

— Не примерещилось тебе, господин Томашев, а отвечай, отчего ты меня таким позором покрыв?

— Прости, — говорит, — Севастьян

Максимович, все произошло из-за подлой ошибки. Я учился этому проклятому языку уже в ссылке по самоучителю, но английскому языку по самоучителю учиться невозможно, так как произношение его можно изучить только из уст в уста. Ты им попробуй, Севастьян Максимович, от руки написать, они все поймут.

— Нет, — говорю, — пускай теперь за меня другие пишут.

Вернулся к тележке, поднял винтовку. Господин Томашев на колени, кричит, что он переймет у лордов этих произношение в два дня и передаст его немедленно мне. А я ему отвечаю, что перенимать теперь поздно, что суженая моя перенимает у них английские серые обьятья. Ну и отошел немножко в сторону, чтобы не противно было смотреть на человеческую кровь. Свалился он бездыханным. Лошадь у меня к выстрелам привычная, смирно поскакала обратно. Помрачилось у меня все внутри, не помню, как и доскакал. Вхожу в избу, а Елена сидит на лавке, и лорд у ней голову на плече держит. Я опять отошел к дверям и поднял винтовку, она на меня посмотрела с терзанием и спокойно говорит:

— Промышлять бы тебе белок, а не девок, дурак!

Я ей всадил пулю в то же страданье, что и студенту Томашеву. А лорд, как лежал у ней на плече, так и оконечел. Удивительно, сколько медведей он убил, а как гулящую девку кончили у него на глазах, так он примолвить своего ничего не смог, «заплехтень», столбняк, если говорить по-московски, вошел в него. Этаким способом, с головой набок, его и оттащали в сторону. Прихожу я к старосте. Снимаю шапку: «Убил двух и не жалею». А староста и понятые стоят вокруг меня и хохочут. Я, видите ли, шапку кинул оземь, как полагается в традиции для всех убийц. Они смотрят на меня и на шапку — и хохочут. Опустил я глаза, а все мои кудрявые волосы уже лежат в шапке. Действительно смешно! Я и сам рассмеялся и говорю: «Дадут мне судьи больше лет каторги, чем полагается. Туда же, мол, лысый, а еще от ревности людей убивает». Староста смо-

трет на меня и еще хохочет. А я чувствую, что у меня и голос облысел.

## 16

— Сколько же вы сидели? — спросил я, сам не зная, что и спросить.

Кухаревский зловонно дохнул на меня:

— Семь лет, но и теперь мучение продолжается. Писать по-английски могу, а на разговор, если начну учить, так вместо запоминания представляется мне укоризненный лик Елены и ее две медные косы.

— А как же, если приезжает англичанин?

— С англичанами, согласно заветам господина Томашева, объясняюсь письменно. Обидно, но я вроде как бы немой, и держут меня при правлении союза ради несчастья, а не ради знаний, так как было бы мне громкий судебный процесс, приезжали ради дела Кухаревского петербургские адвокаты. И вся публика смеялась при моих показаниях, что был я кудрявый когда-то.

— Следовательно, вы не сможете сказать причины легенд, которые ходят по Сибири об некой Волшебной библиотеке?

— Нет, куда ж мне волшебство, я человек, озаренный своей лысиной, — ответил Кухаревский.

*(Продолжение следует)*

---

# За рубежом

## ГЕРОИ СОВРЕМЕННОЙ АВСТРИИ

Н. Корнев

### Курт Шушниг

Октябрь 1918 г. Ближится конец империалистической войны. Под ударами победоносных стран Антанты рушится Австро-Венгерская монархия, расплзается «лоскутное государство», каждая его составная часть подымается в защиту лозунга самоопределения национальностей. Ядро Австрийской империи, так называемая «немецкая Австрия», как будто бы автоматически подлежит слиянию с Германией во имя того же лозунга самоопределения национальностей. Но еще не окончилась формально первая империалистическая война, как уже начинается расстановка сил участников будущей империалистической войны. В этой расстановке сил государственное устройство маленькой Австрии играет огромную роль. Она лежит на стыке интересов трех крупнейших империалистических государств Европы: Франции, Италии и Германии. Дозволить немецкой Австрии соединиться с Германией в одно государство — значит изолировать будущих членов Малой Антанты, будущих союзников — вассалов Франции для второй войны. Дозволить немецкой Австрии соединиться с Германией — значит создать непосредственную германо-итальянскую границу и, значит, наконец открыть Германии, только-что потерпевшей грандиознейшее поражение в грандиознейшей из войн, путь на те Балканы, попытка завоевать которые была одной из причин империалистической войны.

Победители Германии в первой империалистической войне не могли допустить слияния немецкой Австрии с Германией. Так родилась независимая Австрия, независимость которой была обеспечена зависимостью ее от данного этапа междуимпериалистических противоречий решительно всех руководящих держав Европы. Так родился австрийский патриотизм и национализм чистейшей крови, самое содержание которого предопределено категорическим столкновением интересов в министерских передних империалистических держав. Активность этого патриотизма выражается и может выражаться исключительно в стремительном беге между приемными и передними канцелярий борющихся между собой крупных империалистических держав.

В то время как в таких контурах намечалась независимость жалкого немецкого куса «лоскутной империи», на итальянском фронте попадает в плен — за шесть дней до окончания войны — молодой лейтенант Курт фон-Шушниг, нынешний австрийский канцлер, достойный наследник прелата Зейпеля и Дольфуса.

Молодой Шушниг был воспитан в совершенно другом представлении об Австрии, об ее исторической миссии и ее грядущих судьбах. Родился он (в декабре 1897 г.) в семье австрийского генерала, который из всех проигранных империей Франца-Иосифа войн вынес только воспоминание о доблестном австрийском оружии и неизбежности Ав-

стро-Венгерской монархии, которую как будто действительно не могли сокрушить никакие удары. Правда, есть одно учреждение, которое кажется Шушнигу-отцу еще более извечным и несокрушимым, чем Австро-Венгерская монархия, это—пресвятая апостолическая католическая церковь. Вернее, Австро-Венгерская монархия кажется семье Шушнигов неким детищем, любимой дочерью католической церкви. Была бы только сохранена сила церкви, — все остальное приложится. Если католическая церковь не откажется от Австрии, то все ее невзгоды окажутся на поверку временными: так или иначе (неисповедимы судьбы твои, господи!) восстановятся сила и мощь Австрийской империи.

Молодой Шушниг попадает на выучку к отцам-иезуитам. В католической гимназии «Стелла Матутина» (упрямая звезда) из сына старого австрийского генерала отцы-иезуиты создают одного из тех австрийских «патриотов», которые после империалистической войны — сначала в фигуре Зейпеля, а затем Дольфуса — удивляли весь мир своей собственной своеобразной живучестью и живучестью как будто мертворожденного послеверсальского детеныша — «независимой» Австрии. Курт Шушниг в иезуитской гимназии — один из лучших учеников. Кто знает, быть может, он стал бы одним из самых блестящих если не князей, то офицеров воинствующей католической церкви. Империалистическая война заставляет его отправиться на фронт. Он получает ряд военных отличий. Но все эти ордена и значки, которые украшают его грудь и радуют старика-отца по возвращении сына из итальянского плена, не могут заставить семью Шушнигов забыть о лапидарном факте крушения Австро-Венгерской монархии.

Но если погибла Австро-Венгерская монархия, оставив после себя — не то в виде суррогата, не то в виде горестного напоминания — «независимую» Австрийскую республику, то отнюдь не погибла католическая церковь. Воспитанник иезуитов должен конечно в этом факте искать утешения, а вместе с уте-

шением и политического маршрута для своего в конце концов мелкобуржуазного умишка. Молодой Шушниг еще не может в 1919 г. сознательно думать или мечтать о том, что «независимая» Австрия сможет существовать только в качестве составной части созданного на каких-то определенных экономических основах государства. Но он может бессознательно заменить социально-экономические категории одной католической категорией и возмечтать о создании на развалинах послеверсальской Европы нового католического государства, в котором центром будет Австрия с ее столицей Венной.

Но такие политические планы—пока только мечты. Необходимость жить заставляет Курта Шушнига сделаться адвокатом: сыновья отставных австрийских генералов могли жить беззаботно только в «лоскутной монархии». Он начинает свою адвокатскую практику в Инсбруке, и в этом его политический шанс, так как именно в Инсбруке католическая мелкобуржуазная реакция очень сильна. Там создается «католический народный союз». Следует ли удивляться тому, что талантливый адвокат и хороший оратор начинает играть в этом союзе руководящую роль? Ведь все знают, что Курт Шушниг был некогда успешнейшим учеником иезуитической школы. Австрийская контрреволюция не ограничивается борьбой за души своих сограждан во имя Христа. Она организовывает уже тогда из кулацких сынков и сынков городского мещанства вооруженные отряды штурмовиков. И здесь Шушниг играет видную роль.

Политический маршрут настоящего и будущего молодому Шушнигу самому еще не ясен. В Австрии царствовал тогда безраздельно прелат Зейпель. Было ясно одно: не надо сливаться с Германией, ибо германская буржуазия не могла добиться соглашения с буржуазией стран-победительниц. Надо быть тем ласковым теленком, который должен одновременно пользоваться милостями Франции и Италии. Надо конечно держаться в страхе божием чернь, т.-е. трудящихся, куцей «демократической» рес-



публики. Само собой разумеется, что впредь до осуществления великого плана об едином католическом государстве все тяготы невыносимого экономического положения «независимой» Австрии должны падать исключительно на рабочий класс. Ведь от чего, в сущности, страдает «независимая» Австрия? От недостатка рынка сбыта для своей промышленности: промышленная голова осталась, а туловище — рынок — отняли. Стало быть, расплачиваться голодным существованием должны рабочие. Деревенские кулаки и конечно помещики должны свое взять. Вот фактически существо политики пресловутого прелата Зейпеля, который использовал аппарат старой христианско-социальной партии для того, чтобы шаг за шагом при попустительстве и пособничестве австромарксистов подготовить осуществление откровенной диктатуры австрийского помещика и кулака, выдвинутого на первый план контрреволюции банкиром и промышленником. При такой откровенной кулацкой политике, опиравшейся прежде всего на «местные силы», Зейпелю нужны были новые люди из провинции. Он искал их, и он конечно не мог в своих поисках не натолкнуться на Курта Шушника.

В 1927 г. Курт Шушник получает депутатский мандат и (недаром он юрист по профессии) попадает в юридическую комиссию австрийского парламента, где как-раз проводится очередная конституционная «реформа». Шушник избирается докладчиком: опыт провинциального адвоката учит его, как нужно докладывать это скабрешное дело «легального» оформления фашизма. Даже старики из христианско-социальной партии не могут не удивиться смысленности иезуитского выученика.

Однако целых пять лет Курт Шушник может только мечтать о более крупных политических ампулах, тем более, что вариант великого католического государства долго заставляет себя ждать. Но ученик иезуитов знает, что первым делом человека, делающего богоугодное дело, должны быть скромность и терпение, готовность делать любую предложенную старшими работу. Шушник

терпеливо проводит в австрийском парламенте мелкую и скучнейшую работу — игру в демократию и парламентаризм с социал-демократами. Он, как никто другой, умеет изображать видимость серьезной парламентской борьбы. Он вносит запросы и принимает участие в прениях по социал-демократическим запросам с тем же усердием и с той же серьезностью, с какой ученики иезуитских питомников спорят о вопросах веры, давно авторитетно разрешенных отцами церкви и рекомендуемых исключительно для безвредной гимнастики ума. Лишь в 1932 г. в правительстве Буреша Шушник получает портфель министра юстиции. Юстиция всегда была твердой реакцией и контрреволюцией в Австрии, — все равно, идет ли речь о старой или «новой» Австрии. Шушник демонстрирует своим друзьям на практике, что он мог бы сделать во славу реакции, если бы ему вверили кое-что поважнее и посильнее министерства юстиции крохотного государства. Он демонстрирует свои способности так хорошо, что во время очередного правительственного кризиса его имя уже называют в качестве кандидата в канцлеры. Но малютка Дольфус вырывает у него кормило правления почти перед самым носом.

Иезуитская выучка и тут принесла свою пользу. Без иезуитской школы Шушник, снедаемый ненасытным честолюбием, быть может, стал бы политическим противником Дольфуса. Но именно иезуитская выучка подсказала Шушнику, что такая «оппозиция» была бы бессмысленной, с точки зрения карьеры — самоубийством. Мелкая буржуазия поддерживала правительство Дольфуса, якобы боровшегося с германским фашизмом; фактически она была массовой социальной базой, опираясь на которую, правительство всячески упрочивало власть монополистического капитала, своего и чужестранного. Другой базы не было у Шушника. Здравый разум, — иезуитская выдержка основана на самом циничном расчете, — диктовал Шушнику необходимость столкнуться с Дольфусом. Столкнуться было легко, — у Шушника, в лице его крестьянско-ка-

толических вооруженных союзов, было больше реальной силы, чем у Дольфуса. Один из биографов Шушнига правильно говорит: у Дольфуса связи в Европе, у Шушнига винтовки для гражданской войны. Этот же биограф отмечает, что Шушниг вместе с винтовками для гражданской войны дает правительству Дольфуса ту гитлеровскую демагогию, с которой оно будто бы борется. Шушниг вышибает клин клином. Он произносит фактически те же речи, которые Адольф Гитлер произносит в Германии, но вместо страшных слов «Третья империя» Шушниг ставит лозунг: «Австрия для австрийцев». Оригинальная выдумка, которая фактически предопределяет переход власти в Австрии в руки Шушнига в случае добровольного или насильственного конца австрийского Тьерика. Шушниг знает, что святая церковь не любит крови. Вернее, она любит, чтобы кровь проливали другие, а она бы пользовалась плодами победы. В то время как Дольфус, Штаремберг и Фей готовятся к кровавой расправе с австрийским рабочим классом, к одной из омерзительнейших провокаций, Курт Шушниг берет себе вместе с портфелем министерства юстиции портфель министра народного просвещения. Дольфус и Фей вырезают нынешнее поколение австрийских пролетариев, не желающих безропотно сносить тяготы кризиса и поражение староавстрийского и издержки бесплодных мечтаний новоавстрийского империализма. Шушниг во главе министерства народного просвещения пытается перевоспитать души и умы сыновей и внуков австрийских коммунаров. Он действует в союзе с римской курией, благословляющей каждый его шаг, а заодно и кровавые погромы Дольфуса и Фей. Благословение римского кардинала подымает Шушнига по меньшей мере столь же высоко в глазах его коллег, как сознание наличности стоящих за ним кулацких контрреволюционных отрядов.

Кровавые июльские события открывают наконец Курту Шушнигу путь к власти. Кандидатура единственного его конкурента, Штаремберга, отпадает: если июльский путч был поражением Гер-

мании, то приход Штаремберга к власти был бы слишком сильной победой Италии, окончательным превращением Австрии в итальянскую колонию, внешнеполитическим подтверждением февральских событий. Если итало-германский матч из-за Австрии в июле 1934 г. окончился победой Италии, то франко-итальянский матч из-за той же Австрии окончился вничью или, вернее, еще не начался. Империалисты Европы были довольны, что в Вене оказалась под рукой такая фигура, как Курт Шушниг, про которого можно сказать, что его пребывание у власти обозначает как бы кратковременную стабилизацию существующего положения «независимой» Австрии, что, пока, устраивает Италию и Францию.

Какова в действительности программа Шушнига? Печать всех европейских стран сошлась на том, что Курт Шушниг является законным наследником Дольфуса. «Таймс» и «Фелькишер Beobachter» трогательно согласны между собой в том, что в Австрии произошла лишь смена фамилии главы правительства, вызванная трагическими июльскими событиями. Но это не совсем так. Курт Шушниг — сын австрийского генерала. Курт Шушниг — ученик иезуитов. Курт Шушниг — он об этом заявляет открыто — монархист. Сын австрийского генерала, иезуит и монархист может видеть свой политический идеал исключительно в старой Австрийской монархии. Раз Курт Шушниг у власти, он будет пытаться осуществить свою любимую мечту о восстановлении былого величия Австрийской монархии. Конечно не совсем былого: Шушниг знает, что восстановить старую Австро-Венгерскую монархию в ее старых территориальных границах и политических категориях невозможно. Но он будет мечтать о создании чего-то такого, что заменило бы старую Австрию. Шушниг будет хотя бы мечтать о создании великого католического государства. Опять-таки клин клином вышибай: Гитлер мечтает о восстановлении великодержавности Германии за счет поглощения Австрии. Шушниг имеет при всей своей враждебности идею «аншлюсса» свой

собственный аншлюсс: он хочет присоединить к Австрии Баварию. Гитлер оперирует понятием народности, Шушниг — общностью веры. Еще неизвестно, что больше говорит воображению и чувствам того мелкого буржуа, за душу которого в Австрии дерутся два австрийца.

Значит ли идея такого контр-«аншлюсса», что соглашение между Шушнигом и Германией невозможно? Едва ли. Снова — в последний раз! — придется напомнить, что Шушниг — ученик иезуитов. Монархические убеждения Шушнига могут послужить трамплином для соглашения преемника Дольфуса с германскими монархистами во имя вящего торжества католической церкви в объединенной Германии, в которой Австрия усилит католическое влияние, находящееся на ущербе в Третьей империи. Недаром руководители хеймвера, не доверяя Шушнигу, заставили его сделать министром иностранных дел члена своей организации. Они не доверяют Курту Шушнигу еще по одной причине: этот сын австрийского генерала, ученик отцов-иезуитов и провинциальный адвокат пользуется далеко за пределами Вены репутацией поклонника германской культуры, репутацией — как это ни странно! — немецкого интеллигента. Бывают и такие фигуры среди политических выходцев из рядов мелкой буржуазии. Преклонение перед какой бы то ни было национальной культурой опасно в стране, политика которой диктуется чужим империализмом. Курт Шушниг пожал плоды победы Фей над рабочими Флорисдорфа, Муссолини над Гитлером, своего собственного умения копировать Гитлера и служить Италии почти «эрзацем» Штаремберга, умоляя этим Францию. Но Шушниг может быстро самоликвидироваться именно потому, что его «государственная» фигура с ее историческими корнями в прошлом, эклектикой в настоящем и великодержавными мечтаниями на будущее слишком сложно задумана для политика, служащего более сильным отрядам европейского капитализма и империализма.

## Эрнст Рюдигер Штаремберг

Сын австрийского генерала, пенсию которого беспощадно уничтожили поражение Австрии в мировой войне и последующая инфляция, Курт Шушниг должен был выдумывать себе довольно своеобразные представления о новом австрийском патриотизме — для того, чтобы обосновать свою политическую деятельность, вернее, для того, чтобы объяснить себе самому и другим, почему он борется на стороне промышленников, банкиров и жулаков против трудящихся. Князю Эрнсту Рюдигеру Штарембергу не нужно никакой сложной и туманной философии. Ему принадлежит пять майоратных имений площадью в восемь тысяч гектаров и, кроме того, у него на много миллионов акций и облигаций всяких промышленных предприятий. Одним словом, князь Штаремберг — один из богатейших людей Австрии. Он сам — частица монополистического капитала Австрии. Отсюда все качества его политики. В этом аспекте решительно все равно, правда ли, что кандидат в австрийские «блюстители трона», а может быть, и в микроскопические Наллеончики действительно происходит из древнего рода «благороднейших» Штарембергов, которые уже в 1683 г. защищали Вену от турок, или же, что правдоподобнее, Эрнст Рюдигер Штаремберг происходит из разбогатевшей помещичьей семьи, которая только в 1860 г. была возведена императором в княжеское достоинство.

Князь Эрнст родился в семье, которая всегда старалась превратить свое богатство в весьма увесистую монету политического влияния. Уже последние годы перед империалистической войной Штаремберги шли в ногу с современными веяниями, поддерживая христианско-социальную партию, которая затем оказалась питательным бульоном для фашистских течений. Молодой Штаремберг учился в гимназии (родился он в Эфердинге в 1899 г.), затем в Мюнхенском университете и был типичным студентом-белоподкладочником. На фронт империалистической войны попал он только в 1917 г., что называ-

ется, под занавес. Матушка-княгиня, игравшая огромную роль в политических салонах, использовала все свое влияние, чтобы сына оставили воевать в тылу, откуда он и вернулся по окончании войны в чине лейтенанта и с кое-какими крестиками и отличиями.

Но если князь и крупнейший помещик не имел никакого желания принимать участие в империалистической войне, в которой, по его мнению, Австро-Венгрии должны были отстоять от Антанты рабочие и крестьяне в солдатских шинелях, то он готов конечно принять участие в гражданской войне против тех же рабочих и крестьян. В 1919—20 гг. австрийская буржуазия не смела переходить в наступление. В Австрии нельзя было, стало быть, осуществить лозунга российского белогвардейца Шульгина в момент Февральской революции: «Пулеметов!» Но в Германии — можно! Там идет гражданская война. И вот князь Штаремберг, который во время империалистической войны и нос не показывал на фронт, отправляется в Германию, завязывает знакомства со всякими контрреволюционными и белогвардейскими организациями, вступает в союз «Оберланд» и в качестве начальника одного из штурмовых отрядов этого союза принимает участие в капповском путче. Но как только правительственные войска направляют на путчистов пулеметы, князь Штаремберг позорно бежит: дворянские нервы не выдерживают угрожающего вида пулеметов. Он бежит от пулеметов второй раз в 1923 г., во время мюнхенского путча Адольфа Гитлера. Он принимает участие и в этом путче, т.-е. он появляется вместе с новым «правительством» в «историческом» Бюргербрейкеллер, но в походе против рейхсвера он не участвует, ибо там стреляют, хотя между капповским путчем и мюнхенским восстанием он успел побывать на фронте гражданской войны, а именно в Верхней Силезии, где он в качестве члена одной из белогвардейских банд участвовал в разгроме рабочего движения. Тут он проявил храбрость и отвагу, ибо у рабочих не было пулеметов и вообще было очень мало оружия.

Прослушав несколько лекций Адольфа Гитлера, князь Штаремберг решил, что больше ему учиться в Германии нечему. Он возвращается в Австрию, обогащенный опытом гражданской войны, в особенности опытом связей между фашистским движением и правительственным аппаратом. Он уже знает, что «национальная революция» осуществляется не до, а после завоевания правительственного аппарата. В Австрии обострилась за эти годы классовая борьба. Контрреволюция стала и здесь по указке руководящих кругов буржуазии формировать вооруженные белогвардейские отряды из деревенского кулачества и городского мещанства. По германскому образцу Штаремберг наполняет эти организации прежде всего лозунгами и «традициями» фронта. Он послушно повторяет за своими немецкими учителями слова об исторической миссии фронтового поколения. Штаремберг, как мы уже знаем, имеет не очень-то большие права на звание фронтовика. Но мы знаем, что в белогвардейских кругах в особенности распускают свои павлиньи хвосты именно те фронтовики, которые дальше глубокого тыла никогда не продвигались на фронтах империалистической войны и которые из этой войны вынесли только воспоминание о том, что рабочие и крестьяне в солдатских шинелях связаны той казарменной дисциплиной, которой они в проклятое мирное время не связаны. Штаремберг, кроме того, принадлежит к тому поколению, которое, быть может, не торопится жить и не очень спешит чувствовать, но как можно скорей хочет вступить во владение наследством при живых родителях. Это поколение болтает про фронтовые традиции и свои отсюда вытекающие права, чтобы отеснить на задний план старое поколение с его отжитым опытом, с его медлительностью и осторожностью. Князь Штаремберг принадлежит к тому поколению послевоенной крупной буржуазии, которое видит в политической аванюре тот огромный шанс, который такие же поколения средних веков видели в далеких (крестовых и других) походах. Молодой князь не может в эпоху империалистических войн и про-

летарской революции (он не знает конечно этого термина, но он чувствует смертоносное для его класса дуновение этой эпохи) жить так, как живет к примеру его дед, который считает необходимым из осторожности отдавать дань новому времени и его веяниям и выступает еще до империалистической войны с речью в пользу всеобщего избирательного права. Не может молодой князь Штаремберг итти и по стопам своей матери, которая все еще верит в политические силы христианско-социальной партии, выпрашивая себе силой своих миллионов даже депутатский мандат.

Сынок и мамаша однако быстро понимают друг друга. Политически оба они еще не совсем ликвидировали свою неграмотность и, пожалуй, едва ли ее когда-либо окончательно ликвидируют. Но одно они быстро поняли без особых учебников политграмоты: австрийский ущемленный и посему сугубо жиденский монополистический капитал не может существовать без поддержки какого-нибудь могущественного капитала, выступающего на мировой арене во всей своей империалистической силе и значимости. Княгиня-матушка, с одной стороны, мечтает о возвращении Габсбургов на их законный трон. Об этом мечтает вся австрийская буржуазия, которая думает, что восстановление Габсбургов приведет к восстановлению Австро-Венгерской монархии во всей ее былой «красе». Даже еврейские банкиры говорят, думая об Отто: «Отдайте нам обратно нашего хлопчика». Но, с другой стороны, она ищет протекции как-раз у того империализма, который был и остался кровным врагом австрийского империализма: у итальянского. И она права: Габсбурги и монархия — музыка будущего. Пока же, если хочешь делать политическую карьеру, ищи милости у Муссолини и Зейпеля. Княгиня едет в Рим, добивается свидания с Муссолини, которому она объясняет, что ее сынок не столько благодаря своим талантам, сколько благодаря своим миллионам — самый подходящий кандидат в организаторы фашистского движения в Австрии. То же самое объясняет она прелату Зейпелю, ко-

торого тем легче убедить, что княгиня вернулась в Вену с двойным благословением Рима: ее благословил не только Муссолини, но и папа римский, наместник Христа на земле.

Зейпелю тем легче согласиться на возглавление фашистского движения в Австрии князем Штарембергом, что это движение, в виде хеймвера, уже существовало. Оно фактически организовано было Пфримером и Штейдле, которые проявляли однако слишком большую самостоятельность, в то время как Штаремберг соглашался итти в выучку и послушание как к Зейпелю, так и к Муссолини. Зейпель с восторгом наблюдает за тем, как Штаремберг на свои деньги вербует два фашистских батальона, которые он затем снабжает блестящим обмундированием. Понемногу конечно все деклассированные элементы, которые шли в хеймвер, эти современные ландскнехты, группируются вокруг Штаремберга. Князь-миллионер становится уже политической фигурой в Австрии. Адольф Гитлер и не думает написать ему, как Жуковский Пушкину: «Победителю-ученику — от побежденного учителя». Германский австриец очень сердится на венского или, вернее, штирийского австрийца, ибо тот, несмотря на свои отечественные успехи, становится вожаком баварского союза «Оберланд», поддерживает своими миллионами и миллионами австрийских промышленников и банкиров монархическое движение Виттельсбахов, мечтая о восстановлении католической монархии из Австрии, Баварии и Венгрии. Здесь Штаремберг, хотя на несколько другой основе и по несколько другим мотивам, перекликается с Дольфусом и Шушнимгом. Этот проект восстановления монархии был в свое время одобрен Зейпелем. На новый трон должен был сесть однако не Виттельсбах, а Габсбург. Князь Штаремберг должен был при новом императоре играть роль «дуче». Весь этот план придумал отнюдь не Штаремберг, а известный германский белогвардеец майор Пабст, который после капповского путча бежал вместе со своим австрийским другом Штарембергом в Вену.

Князь Эрнст Рюдигер Штаремберг кое-чему научился в Германии, в особенности у Гитлера. Он научился повторять ту граммофонную запись о «большевистских ужасах» и необходимости спасения европейской цивилизации, которую он слышал из уст германского «вождя». Штаремберг не хуже других умеет говорить об исторической роли Австрии, как последней твердыни против большевистской опасности. В качестве театрального реквизита всегда может служить напоминание о мифическом деде его, спасшем Вену, а с ней и европейскую цивилизацию от гурького нашествия. Речей князя Штаремберга приводит не стоит: большевизм, цивилизация, отвага, решимость, готовность к жертвам, необходимость соответствующего понимания в Европе, солидарность цивилизованных стран, — вот те слова, которые по любому случаю сыплются из уст князя Штаремберга. Оригинальных мыслей у него никто и не требует, особенных слов и удачных лозунгов никто и не ждет: за него говорят и действуют его деньги и деньги его помещиков-соседей и крупных промышленников. Эти деньги в первую очередь сделали (в 1930 г.) князя Штаремберга обервожаком всех хеймверовских организаций.

Но не успел князь Штаремберг сделаться обервожаком всех хеймверовских отрядов, как он вспомнил о главном завете, вывезенном им из Германии: «национальная революция» совершается только после завоевания правительственного аппарата. Мало быть начальником всех контрреволюционных отрядов. Надо еще быть и министром, да еще министром внутренних дел. По указке Зейпеля Вогуен наделяет князя Штаремберга этим портфелем. Новый министр внутренних дел прежде всего начинает конечно разоружать австрийский пролетариат. Именно по приказу Штаремберга начинается ликвидация шуббундовцев. Одновременно он выступает по всей стране с погромными речами против рабочего движения. Штаремберг прокладывает дорогу Дольфусу, подготавливает февральскую «победу» 1934 г. Фей над венским пролетариатом.

Одновременно Штаремберг пытается легально получить в свои руки власть. Он организует новые выборы в парламент, но при этом с треском проваливается. Всего два месяца пробыл Штаремберг министром. За это время в хеймверовской организации началось брожение и разложение: фактические организаторы этого движения во главе с Пфриммером начали серьезно сердиться по поводу того, что вся власть и все почести являются уделом Штаремберга, у которого ничего нет, кроме его миллионов, которые к тому времени оказались уже весьма сильно пошипанными. После катастрофического исхода выборов 1930 г. Штарембергу приходится не только отказаться от министерского портфеля, ему приходится также уйти в отпуск «по болезни» в качестве вождя хеймвера. Пфриммер становится его заместителем и фактическим руководителем хеймвера. Не было бы счастья, да несчастье помогло. В сентябре 1931 г. Пфриммер устраивает свой путч в Штейермарке. Штаремберг принимает в этом путче участие (а вдруг удастся?), он передает по «линии» распоряжения Пфриммера, но при этом с обезоруживающей циничной наивностью прибавляет: «Я предписываю каждому из командиров хеймвера принять все меры к тому, чтобы избежать столкновений и конфликтов с органами государства, полиции, жандармерии и правительственной армии». Этой «оговорки» было достаточно для того, чтобы продержаться арестованного Штаремберга под арестом всего три дня. Провал Пфриммера сделал Штаремберга снова верховным вождем хеймвера.

Он становится им на этот раз по справедливости, — он пожертвовал фашистскому движению значительной частью своего состояния. Его имени заложены и перезаложены. Борьба за власть с помощью ландскнехтов поглощает миллионы. Штаремберг все-таки не Валленштейн, да и нельзя с такой легкостью, как в средние века, облагать поборами в свою пользу местное население. Директор патронных заводов Мандль и еврейский банкир Кон спешат князю Штарембергу на помощь:

князь платит своим кредиторам по полтиннику за рубль. Он делает, кстати, блестящее коммерческое дело на политическом предприятии: в Риме получает он чек на финансирование фашистского движения в Австрии, которым мог бы покрыть свои долги полным рублем.

Начинаются регулярные поездки князя Штаремберга в Рим. В Вену привозит он деньги и инструкции. Инструкции Муссолини, касающиеся внутреннего порядка в Австрии, очень проты и понятны: ликвидация австромарксизма, уничтожение партий, установление авторитета вождя или вождей. Все это носит марку австрийского фашизма в отличие от германского. В подчеркивании этого отличия заключаются внешнеполитические инструкции Муссолини. Они понятны, поскольку австрийский фашизм нужен Муссолини в его империалистической борьбе против Германии. Но они менее по душе «основоположникам» австрийского фашизма, чем внутриполитические директивы итальянского диктатора. В борьбе со своим рабочим классом Штаремберг охотно соединился бы с Гитлером, в котором он видит не столько конкурента, сколько родного брата и учителя. Но дружба с Муссолини заставляет Штаремберга забыть о дружбе с Гитлером. Он пытается, правда, несколько через черный ход установить контакт с германской контрреволюцией: Штаремберг завязывает связи со «Стальным шлемом», принимает даже участие в штальгельмовоком параде в Берлине. Но Штаремберг воочию убеждается в Берлине, что «Стальной шлем» не имеет шансов на власть. Потом опять появляется у него к Гитлеру влечение, («род недуга»), тем более, что Гитлер — у власти. Нельзя ли от Гитлера получить то, что раньше давал Муссолини: ведь в конце концов Штарембергу все равно, с кем и как восстанавливать империалистическое могущество Австрии. У Шустинга есть еще какие-то идеалы, какие-то этические оправдания (католическая империя) его погромной политики. Но Штарембергу как будто решительно все равно: быть ли «дуче» при австро-венгерско-баварском императоре, или про-

водником германского империализма на Балканы. И то, и другое как будто может повысить в цене имения Штаремберга и создать конъюнктуру, при которой акции и облигации промышленных предприятий будут давать большие дивиденды. Князь Штаремберг произносит громовые речи против унификации Австрии, но его уполномоченный граф Альберти ведет переговоры с уполномоченным Гитлера Фрауенфельдом. Майор Фей узнает об этих переговорах. Граф Альберти арестован и выдает своего «вождя» с головой. Тот нагло отрицает и приказывает отправить своего уполномоченного в концентрационный лагерь. Репутация Штаремберга как будто все-таки подмочена, и всем кажется, что его конкурент Фей, февральский «победитель», станет вице-канцлером. Но Муссолини прощает своему ставленнику его экстратур: Штаремберг остается во главе хеймвера, Штаремберг остается вице-канцлером. Муссолини знает, что Штаремберг понял невозможность сговора с Гитлером, усвоив необходимость послушания итальянскому хозяину. В особенности хорошо понял эту необходимость Штаремберг после июльских событий, когда германский империализм был в Австрии жестоко разбит и на несколько лет отброшен назад.

«Австрийцы, осознайте необходимость любви к австрийскому отечеству, осознайте, что ваша Австрия является ныне баррикадой Европы против различных видов большевизма, международного и народного (т.е. национал-социализма). Будьте горды сознанием, что на вас смотрит весь культурный мир и наблюдает с волнением и надеждой вашу борьбу против варварства XX столетия». Конечно если бы Штаремберга попросили объяснить популярно, в чем, собственно говоря, заключается различие между австрийским и германским фашизмом, почему последний является варварством XX века, а на первый взирает с надеждой и тревогой весь мир, то вождь хеймвера не мог бы дать ответа на такой коварный вопрос. Точно так же, как не мог бы он дать удовлетворительного объяснения, почему австрий-

скую борьбу против большевизма «во всех его видах» надо обязательно увенчать короной. Единственное объяснение, которое Штаремберг имеет, гласит: этому крупнейшему из австрийских помещиков хочется пойти по стопам другого помещика, адмирала Хорти, став некоронованным королем под видом блюстителя престола.

### Антон Ринтелен

Сентябрь 1933 г. В Штирии сидит в качестве губернатора Антон Ринтелен, один из виднейших представителей христианско-социальной партии. Антон Ринтелен недоволен своей карьерой. Какая ему выгода, что он считается одним из сильнейших людей современной Австрии, что друзья и враги все время предсказывают, что он еще себя покажет, что он впишет свое имя на страницы истории! Действительно, Ринтелену уже почти шестьдесят лет (родился он в 1876 г. в Граце), а он достиг лишь места министра и затем штирийского губернатора. Между тем этот сын адвоката, происходящий из семьи выходцев из Вестфалии, снедаем непомерным честолюбием. До мировой войны он пытался сделать карьеру на юридическом поприще. Он был профессором гражданского права и особенно хорошо изучил австрийское конкурсное право, науку о том, как можно безнаказанно «выворачивать полшубою», платить своим кредиторам копейки за рубль. Во время империалистической войны Ринтелен и не думает конечно сражаться с оружием в руках: он судит тех рабочих и крестьян в солдатских шинелях, которые не хотят умирать за черно-желтый империализм и которых он в качестве члена военно-полевых судов называет дезертирами и изменниками.

После распада Австро-Венгерской монархии Ринтелен (какую карьеру можно сделать на конкурсном праве в жалком австрийском обрубке?) становится политиком. Он находит пристанище в христианско-социальной партии, проводится ею в парламент на пост штирийского губернатора. В родной Штирии Ринтелен является одним из организаторов хеймвера и одновременно пытается

сделать себе кругленькое состояние. В 1926 г. с социал-демократической стороны предъявляются доказательства участия Ринтелена в ветцельдорфской афере, т.-е. участия в подделке чешских крон. Тогда Ринтелен произносит впервые свою любимую фразу: «Чего вы от меня хотите? Ведь я вам ничего не сделал». Этот изготовитель массовых смертных приговоров, организатор гражданской войны и фальшивомонетчик очень любит изображать из себя сторонника гражданского мира. Onde хочет спокойной жизни, хочет только иметь хлеб с маслом. Его стремление к наживе, к составлению состояния на «черный день» делает его столь популярным среди кулаков и городского мещанства, что даже обвинение Ринтелена в подделке чешских крон не уменьшает этой популярности. Наоборот, она даже возрастает, когда штирийские мещане видят, как нагло и ловко выходит Ринтелен сухим из воды, несмотря на то, что социал-демократические обвинения подтверждает столь авторитетное лицо, как венгерский министр-президент Бетлен. За историей с чехо-словацкими кронами следует еще несколько скандалов, но в современной Австрии такая была политическому молодцу — не в укор. Правда, в штирийском ландтаге в один прекрасный день зачитывается целый список благодеяний Ринтелена в свою собственную пользу: растраты, поставки в казну через подставных лиц, взятки и т. д. Ринтелену выражается недоверие. Ему приходится убраться из родного Граца. Ему кажется, что настал для него наконец час большой политической карьеры, ибо в Вене его делают министром народного просвещения. Но министром он пробыл недолго. Ему пришлось затем снова вернуться в Грац на старое место губернатора. Правда, теперь он ввиду своего выступления против путча Пфримера считается одним из самых надежных республиканцев в Австрии, одной из ее надежд, тем более, что он — мастер вести переговоры о займах с банкирами большого и малого калибра.

Репутация республиканца способствует тому, что проходит совсем незамечен-



ной его роль в событиях сентября 1933 г., когда в Штирии была предпринята серьезная попытка свергнуть правительство Дольфуса (как затем в июле 1934 г. сигналом к государственному перевороту должно было быть убийство австрийского «Тьера» карманных размеров). Убийство поручено было некоему Дертилю, штурмовику того же отряда, в котором состоял тот штурмовик, который десять месяцев спустя действительно убил Дольфуса. Дертиль ранил Дольфуса в кулуарах парламента, не зная, что восстание обречено на провал и что его организаторы бежали уже в Германию. Во время процесса Дертиля суд не попытался выяснить те нити, которые связывали национал-социалистских заговорщиков с губернатором Штирийской провинции Антоном Ринтеленем. Его роль осталась совершенно неосвещенной. Антон Ринтелен был назначен австрийским посланником в Риме. Говорят, что Муссолини сказал тогда: «Пришлите его ко мне, я его возьму под свою опеку».

Итальянская разведка установила давно, что Антон Ринтелен, которого в австрийских кругах считали добрым республиканцем, является надеждой германских национал-социалистов. Гитлеровцы были уверены, что Ринтелен будет играть в Австрии ту роль, которую в Германии сыграл Папен. Гитлеровцы великолепно знали, что Ринтелен мечтает быть союзным канцлером, главой австрийского правительства. Некогда он мечтал о возглавлении коалиции социал-демократов с христианскими социалистами. Этот «республиканский» вариант погиб под горами фальшивых чешских банкнот. Тогда он стал думать о возможности коалиции между христианскими социалистами и национал-социалистами.

Ринтелен мечтал о союзе с ориентировавшимися на Германию национал-социалистами. Его давнишняя ориентация на Италию была вызвана дружбой со знаменитым банкиром Кастильоне и руководителями предприятий «Альпина Монтана», которые находились под контролем итальянского капитала. Но под ударами мирового кризиса разорил-

ся Кастильоне, лопнуло общество «Альпина Монтана» и погиб проект постройки в Штирии мощной гидроэлектростанции, в которой был, естественно, кровно заинтересован Ринтелен. Для Ринтелена не было материальных оснований ориентироваться на Италию. Такие основания давались в виде звонкой монеты из Германии. Ринтелен делает Штирию трамплином германского национал-социализма.

Борьба Дольфуса против германских национал-социалистов наталкивается на сопротивление правительственного аппарата в Штирии. Распоряжения из Вены просто не выполняются. Национал-социалисты совершенно свободно основываются в Штирии. Никто их там не преследует. Наоборот, полиция и жандармерия понемногу оказываются в их руках. Об этих явлениях доносит итальянская контрразведка в Рим. Муссолини велит Дольфусу доставить ему Ринтелена в Рим в качестве не то заложника, не то политика, подлежащего обработке всякими средствами.

Происходит свидание между Муссолини и Гитлером в Стра. Гитлер как будто бы обязался не поддерживать национал-социалистской агитации в Австрии и отказаться от фашистского террора. Получилось положение, при котором опять поблекли шансы Ринтелена на власть. Но тут появляется в «Фелькишер беобахтер» статья, в которой говорится о возможности правительственного кризиса в Австрии и возглавлении нового правительства Антоном Ринтеленем. Между строк этой статьи можно было вычитать заверение, что Муссолини согласен на замену Дольфуса Ринтеленем, что именно Антону Ринтелену суждено примирить в Австрии итальянский и германский империализм, практически осуществить соглашение, заключенное в Стра. Еще больше растет популярность Ринтелена в средне- и в особенности в мелкобуржуазных кругах, которые видят в бывшем штирийском губернаторе и нынешнем посланнике в Риме спасителя от невзгод гражданской войны.

20 июля Ринтелен прибывает в Грац, а затем в Вену. За несколько дней до это-

го вождь австрийских национал-социалистов в Германии Фрауенфельд сообщает с мюнхенской радиостанции, что в Австрии предстоят большие события. 25 июля официальное германское агентство сообщает о падении правительства Дольфуса с добавлением: новое правительство формирует Ринтелен.

Национал-социалисты занимают радиостанцию и канцелярию главы правительства. Около правительственного здания нет ни полиции, ни войск, хотя начальник всех вооруженных сил Австрии майор Фей получил в этот день сообщение о готовящемся покушении на Дольфуса и перевороте. В это время Ринтелен, про которого радиостанция сообщила, что он образует новое правительство, находился в гостинице «Империал». Журналистам давал он один и тот же стереотипный ответ: «Положение не изменилось. Муссолини целиком доверяет Дольфусу. Он (Ринтелен) приехал в Вену всего на несколько часов и завтра же выезжает в Штирию, где он собирается проводить свой очередной отпуск». Затем он скрывается в своей комнате и приказывает никого к себе не пропускать.

Однако редактору одной из крупнейших венских газет, официозной «Рейхспост», удастся добраться до Антона Ринтелена. Этот журналист рассказывает Ринтелену, что происходит на Балльплаце, намекая, что ему надо идти в военное министерство, где заседает под председательством Шушнига временное правительство: иначе никто не поверит его рассказам о поездке в отпуск, и он будет арестован. Ринтелен отправляется в военное министерство, где его берут пока под почетную стражу, оказывая этому «лучшему республиканцу» и надежде австрийской буржуазии все приличествующие его рангу почести. Совершенно непонятно, почему Ринтелен несколько часов спустя пытается покончить с собой, объясняя этот свой жест отчаяния тем, что «со мной плохо обращались». Единственная неприятность, которая его ждет, это — то, что председательное судебное следствие выясняет, что Ринтелен очень богат, значительно даже богаче, чем думали его вра-

ги и друзья. Ввиду подозрений в том, что часть его богатств почерпнута из немецких источников, следствие устремляется именно по этому направлению. Но бояться за свою жизнь Антону Ринтелену, будущему спасителю Австрии, нечего, хотя бы потому, что в июльских событиях его имя неразрывно связано с именем уже заслужившего звание «спасителя» буржуазной Австрии, февральского «победителя» майора Фея.

На Балльплац собираются наконец отряды полиции, правительственных войск и хеймвера. Майор Баренфельс, руководитель хеймверовских организаций Нижней Австрии, доводит до сведения полиции и войск, что исключительное право командования ими имеет временное правительство, заседающее в военном министерстве. Полиция и войска готовятся к атаке на здание, в котором засели национал-социалисты. Вдруг один из полицейских замечает в одном из окон тень майора Фея. Действительно, несколько минут спустя на одном из балконов появляется майор Фей. «Спокойствие, — кричит он, — где начальник полицейского отряда?» Командир подходит к балкону. Фей, посоветовавшись с кем-то в комнате, предлагает командиру войти в здание для переговоров. Командир полиции возвращается сильно потрясенный всем тем, что он видел и слышал. «Я только-что говорил с майором Феем, — сообщает он правительству по телефону, — канцлер как будто сильно ранен. Он вышел в отставку. Его место должен занять кто-нибудь другой». Кто-то догадывается предложить медицинскую помощь для Дольфуса. Фей этот вопрос мало интересуется. Канцлер Дольфус уже скончался. Фей снова появляется на балконе. «Где Ринтелен? — спрашивает он и прибавляет: — Ничего не предпринимайте. Я здесь командую». Временное правительство, заседающее в военном министерстве, присылает в качестве парламентария министра труда Нейшгедтер-Штюрмера. И к нему Фей обращается прежде всего все с тем же вопросом: «Где Ринтелен?» Штюрмер отвечает кратко и внушительно: «Ринте-

лен не придет». Фей изумленно смотрит на своего коллегу по правительству. Из толпы полицейских кто-то спрашивает: «Не попытаться ли нам проникнуть в здание?» — «Нет, — отвечает Фей, — не надо ничего предпринимать».

Министр труда пред'являет путчистам ультиматум: или они в течение двадцати минут очистят здание, или правительственные войска начнут штурмовагь здание. «Нет, — кричит майор Фей, — вы не будете штурмовать здания. Министром общественной безопасности являюсь я, а я приказываю ничего не предпринимать». Министр труда Нейшtedтер-Штюрмер кратко объясняет майору Фею, что он неверно представляет себе реальное соотношение сил. Тогда наконец путчисты вместе с Феем сдаются.

Но не успевает майор Фей выйти из здания, в котором он был «в плену» у путчистов, как он опять становится одной из виднейших фигур в фашистской Австрии. И этим самым он возвращает Антона Ринтелена, — хотя тот пока находится под арестом, хотя тот будет, быть может, даже предан суду, — в разряд активных политиков современной Австрии. Если бы австрийские фашисты расстреливали друг друга за каждый неудавшийся вариант фашистского переворота, то скоро погибли бы во цвете лет все «надежды» австрийской буржуазии. А Антон Ринтелен является, как мы знаем, одной из ее крупнейших надежд.

### Эмиль Фей

Напрасно пытается вице-канцлер Штаремберг в особом циркуляре опровергнуть то, что является фактом: германские национал-социалисты имели весьма сильные позиции в австрийской полиции и жандармерии, — не только в Штирии, где им покровительствовал Ринтелен, но и в Вене, где с ними несомненно вел переговоры и определенную игру майор Фей.

На первый взгляд кажется невероятным, чтобы австрийский полицейский аппарат в какой-либо степени оказался

под национал-социалистическим, т. е. германским, влиянием. Ведь после кровавого подавления февральского восстания майором Феем и хеймвером Австрия казалась исключительно итальянской колонией. Казалось, что именно к итальянизации Австрии ведет майор Фей свою кампанию окончательного разгрома социал-демократии, считавшейся франкофильской, ибо если некоторые слои австрийской буржуазии рассматривают зависимость от итальянского фашизма как гарантию австрийской независимости, то социал-демократы рассматривают свое преклонение перед французским империализмом как залог независимости Австрии и вечной сохранности австро-марксизма в рамках демократии.

На поверку оказалось, что именно «победа» на внутреннем фронте, — подвиги майора Фея в Флорисдорфе, — соблазнила австрийскую буржуазию к кокетству с германским фашизмом и империализмом. Майор Фей пошел по стопам Ринтелена. Из Италии и Франции ничего нельзя было получить, так как на данном отрезке времени их интересы в Австрии, диаметрально противоположные, как будто совпадают. Стало быть, надо противопоставить итало-французский вариант германскому. Кроме того, — и это главное, — февральская «победа» над собственным рабочим классом открыла майору Фею глаза на то, что победить австро-марксизм, победить социал-демократию еще отнюдь не значит победить рабочий класс Австрии. Майор Фей понял, что его победа — не только Пиррова победа, но что она несет в себе залог конечного поражения. На помощь против готового ежечасно восстать австрийского рабочего класса собирался призвать майор Фей германских национал-социалистов.

Майор Фей фактически является австрийским изданием германского «героя» контрреволюции Гермача Геинга. Накануне февральских событий Фей создает в Австрии в буржуазных кругах то же настроение, которое в Германии создавал Геринг накануне пожара рейхстага. Как из ящика Пандоры, сы-

плюются полицейские сообщения об обысках у социал-демократов, находках оружия и т. п. На заседании правительства майор Фей требует себе диктаторских полномочий для окончательной ликвидации социал-демократии. Правительство решает, по настоянию майора Фея, ввести во всей Австрии осадное положение и объявить социал-демократию вне закона. Дольфус несомненно возражал против этого плана майора Фея, считая неизбежным после такой провокации восстание рабочего класса. Но майор Фей доказал ему, что только таким энергичным наступлением против рабочего класса можно еще спасти австрийский вариант фашизма, что в противном случае придется обратиться за помощью к германскому фашизму, отказавшись окончательно от пресловутой австрийской независимости. Следуют аресты социал-демократов, разгром рабочих организаций вообще и воззвание к населению Австрии, обвиняющее социал-демократов в подготовке государственного переворота. Рабочие берутся за оружие. Майор Фей выдвигает знаменитые, еще Марксом характеризованные аргументы буржуазии: инфантерию, кавалерию, артиллерию. Если Штаремберг хвастается тем, что его предок спас Вену от турок, то майор Фей может похвастать тем, что он «спас» Вену от захвата ее рабочими. Правда, майор Фей разрушил при этом половину города, но ведь всегда гибнут города и крепости упорно сопротивляющегося противника, а Вена, как и всякий большой город, ненавистен майору Фею, этому герою кулацкой контрреволюции. Затем в разгар восстания Фей обращается к рабочим с речью, которая звучит так, как будто бы она была продиктована Германом Герингом: «Много лет вы дали себя обманывать и ослеплять своим вождям. Вы вынуждены были смотреть, как эти вожди обогащались за ваш счет. Вы дали себя погнать под пулеметы правительственных войск и добровольческих отрядов. Ваши вожди теперь бежали. Неужели вы, кровь которых того же происхождения, что и наша (?!), которые имеете одно отечество с нами, хотите бороться во имя ка-

кого-то фантома, который вы называете социализмом и марксизмом?!»

В этих словах о социализме, как о фантоме, — весь майор Фей. Майор Фей является классическим представителем тех буржуа, которые считают социализм фантомом по той простой причине, что до сих пор социализма еще не было. Эмиль Фей (барон фон-Реттельштейн) недаром родился в обедневшей дворянской семье (в Вене, в 1886 г.). Ему пришлось поступить в армию и сделаться учителем конной езды. Во время империалистической войны бедность заставляет его перейти в пехоту. Отсутствие связей приводит к тому, что Фей все время войны действительно проводит на фронте, получая четыре тяжелых ранения. Он получает крупнейший австрийский орден — Марии-Терезии. Это — очень любопытный орден: он дается тем, кто привел на фронте к победе невыполнением неправильного распоряжения командующего войсками. Но если невыполнение приказа не привело к победе, то виновный расстреливается! Потрясающая логика буржуазии, заставляющая некоторых смельчаков играть своей жизнью на фронте, как в мирное время своим состоянием в рулетку! Фей принадлежит именно к такому типу авантюристов, которые готовы поставить всю свою жизнь на одну карту, ибо им по бедности терять, собственно говоря, нечего.

Ордена и ранения Фея заставляют офицеров-дворян и сыновей венских банкиров считать его равным себе. Эмиль Фей становится после войны одним из руководителей офицерского, белогвардейского конечно, союза. Отсюда один только шаг к руководству венским хеймвером. В 1932 г. Фей назначается статс-секретарем по делам государственной безопасности, в 1933 г. он становится полноправным членом правительства Дольфуса и понемногу выдвигается как виднейший член этого правительства, как руководитель борьбы на внутреннем фронте. Незадолго до февральских событий майор Фей считался неизбежным наследником Дольфуса, преемником австрийского Тьера. Говорили, что таково желание Муссолини.

Вообще следует помнить, что уже несколько лет глава австрийского правительства назначается в Риме, а никак не в Вене!

Но майору Фейю повредило в Риме то, что он именно после своих кровавых февральских подвигов начал заигрывать с национал-социалистами. Он после февральских событий произнес речь, в которой заявил: «Мы протягиваем братскую руку тем национал-социалистам, которые верны австрийскому отечеству». В руки итальянской разведки попал секретный циркуляр национал-социалистического руководства, предписывавший не бороться с Феем, а сделать попытку заполучить его на свою сторону<sup>1)</sup>. Эта попытка осуществлялась не только с помощью «идеологической» обработки. В Вене все воробьи чирикают на крышах о том, что с так называемым «фондом имени Фейя» обстоит неблагоприятно. Этот фонд составился из пожертвований буржуазии на благое дело борьбы с революционным движением. Было бы неестественно, если бы чьи-то ловкие руки не расстратили и не разбазарили этот фонд. Отвечает за сохранность фонда майор Фей. Национал-со-

циалисты всегда могли поднять скандал по поводу этих растрат, но они же всегда могли этот фонд пополнить. Следует ли при таких условиях удивляться поведению майора Фейя до июльских событий, его поведению во время июльских событий и наконец его показанию на процессе убийц Дольфуса? Когда он должен был нарисовать на этом процессе картину убийства Дольфуса, — Фей отговаривался тем, что он ничего не помнит. Он не мог опознать убийц и участников путча. Но он хорошо помнит, что умирающий канцлер Дольфус сказал ему: «Пусть Ринтелен осуществит мир!» Этим майор Фей хочет сказать, что Дольфус, душа которого металась между мечтой о Габсбургах и вынужденной любовью к итальянскому империализму, в конечном итоге тоже был сторонником «аншлюсса», как единственного эффективного средства борьбы с революционным движением. Майор Фей во всяком случае считает, что даже теперь, после февральской победы над собственным рабочим классом и июльской победы над Гитлером, единственный выход — в аншлюссе с германским фашизмом, если нельзя конечно восстановить Габсбургскую монархию, которую обладатель ордена Марии-Терезии считает непревзойденным идеалом.

<sup>1)</sup> Германские национал-социалисты узнали в палаче австрийского рабочего класса родственную душу.

# Наука и жизнь

## ДЕСЯТЬ ЛЕТ РАБОТЫ ИНСТИТУТА ПРИКЛАДНОЙ МИНЕРАЛОГИИ

Проф. Н. Федоровский

**И**нститут прикладной минералогии был организован в 1923 г., таким образом, в истекшем (1933) году исполнилось его десятилетие.

Конечно для научно-исследовательской организации, ставящей перед собой такую сложную задачу, как изучение минерального сырья СССР, этот срок представляется слишком незначительным, чтобы говорить о возможности всестороннего и полного охвата всех проблем, связанных с таким изучением. В особенности он невелик для той области «н е м е т а л л и ч е с к и х ископаемых», которые в основном явились объектами исследования Института прикладной минералогии и которые, с точки зрения их промышленного использования, никем и никогда до сих пор серьезно у нас не изучались. Поэтому, будь эти десять лет обычной юбилейной датой, только некоторым отрезком времени, на них можно было бы не останавливаться, а тем более подводить итоговую черту под проведенными работами. Но для советского научного учреждения эти десять лет представляются не просто истекшими годами. В них отразилась величайшая борьба пролетариата за новое социалистическое общество, они являются историческими годами построения социалистической экономики в отсталой стране, труднейшим, но вместе с тем и блестящим периодом невиданных темпов и невиданных достижений — под железным руководством ЦК ВКП(б)

и гениального вождя партии товарища Сталина.

В процессе осуществления великих работ по построению социализма в нашей стране научные исследования, естественно, занимают видное место. Особенно актуальными являются те из них, которые непосредственно направлены на развитие и реконструкцию народного хозяйства. Институт прикладной минералогии, являющийся по времени одним из первых промышленных исследовательских институтов, как-раз и выполнял и выполняет эту категорию исследований, непосредственно направленных на обслуживание промышленности. Поэтому, говоря о десятилетии его работы, мы отмечаем не просто дату его существования, не только суммируем проведенные им исследования, но прежде всего выявляем его место в борьбе за социализм, устанавливаем его роль на прошедшем этапе этой борьбы и определяем перспективы его будущей работы на фронте советского строительства.

Приступая к составлению настоящего краткого обзора, автор стремился дать не просто перечень работ, выполненных институтом, в их исторической последовательности, а выявить роль института на одном из ответственных участков социалистического наступления — в реконструкции и развитии горной промышленности СССР. Здесь десять лет представляются достаточно длительным сроком для того, чтобы судить о пра-

вильности взятой линии и о ценности достигнутых результатов.

### Над чем работает институт?

Термин «прикладная минералогия» введен автором для обозначения той группы вопросов и проблем, тематика которых связывает минералогию с промышленностью, сельским хозяйством и бытом.

Более популярно можно было бы сказать: «Научный институт изучения применения минералов в промышленности и сельском хозяйстве».

Полезные минералы применяются: как рудное сырье — в металлургии, как минеральное сырье — в химии, как строительное сырье — в строительном деле, как удобрение — в сельском хозяйстве. Кроме того, ряд минералов применяется в тепло-электроизоляции, а также в декоративном, поделочном и ювелирном деле. Применение минерала в промышленности зависит, с одной стороны, от содержания в нем тех или других химических элементов, с другой стороны, от тех или других его свойств (тепло-непроницаемость, диэлектрические и электрические свойства и др.).

Что касается изучения минералов, как руд железных и цветных металлов, то в этой области мы имели огромный опыт заграницы, и изучение железной руды сводилось, в сущности, к определению содержания в ней железа и посторонних примесей, могущих влиять вредно на металлургические процессы, как сера, кремний и т. п.

Что касается цветной металлургии, то руды цветных металлов требовали в первую голову разведочных работ, так как запас их, доставшийся по наследству от старой России, был ничтожен. Изучение этих руд точно так же сводилось к определению процентного содержания того или другого металла в руде. Далее следовал уже процесс выплавки и получения полупродукта. Этими вопросами на первое время должен был заняться также институт, но в таком случае название института должно было отражать содержание его работы — изучение процессов плавки и перера-

ботки руд. Такая горно-металлургическая лаборатория, изучавшая процессы руд цветных металлов, была организована в дальнейшем в составе Института прикладной минералогии. Однако, кроме классических, хорошо известных применений минералов в виде руд, в виде строительных материалов, остальная огромная область применения минерального сырья требовала не только разведки, но в первую очередь детального изучения элементов, составляющих минеральное вещество.

В своей статье мы показываем, насколько многообразно использование свойств того или другого минерала и какая огромная значимость бывает иногда в «незначительных» на первый взгляд свойствах, если можно так выразиться. Поэтому совершенно ясно, что изучением свойств минералов должны заниматься только минералоги совместно с химиками-аналитиками и оптиками. Эта группа исследователей могла в достаточной мере изучить свойства различных минералов.

Для того, чтобы изучить, что собой представляет минеральное вещество, как таковое, необходимо прежде всего знать его внутреннее строение. Поэтому в Институте прикладной минералогии были организованы достаточно сильные оптическая и кристаллографическая лаборатории и поставлена мощная рентгеновская установка для просвечивания кристаллов и минерального тела вообще. Но одно изучение структуры минерального вещества не дает возможности перекинуть мост к его применению, т. е. к технологии; необходимо изучить это вещество в действии. Иначе говоря, изучить, как и какими реактивами оно растворяется, каким образом оно расплавляется, каковы свойства минерала расплавленного; изучить, каким образом минеральное вещество измельчается и каковы свойства дисперсного (мельчайше размельченного) минерального вещества. Отсюда вытекало исключительное значение физико-химии для изучения минерального вещества в целях применения его в промышленности. Поэтому в Институте прикладной минералогии издавна культивировались физи-

ко-химические работы и собиралась мощная физико-химическая группа ученых, работающих над минеральными телами, — на первый взгляд чисто теоретическая, но в конечном счете ведущая работу в разрезе прикладной минералогии.

В восстановительный период, когда был учрежден Институт прикладной минералогии, особенно резко выявился ряд узких мест в нашей горной промышленности. Ведущие отрасли и в первую очередь металлургия и топливо не могли развиваться требуемыми темпами не только потому, что они не во всех случаях обладали достаточно изученными сырьевыми базами, но и из-за отсутствия подсобного минерального сырья. Необходимо было срочно приняться за исследование этого сырья, что, к сожалению, создавалось тогда далеко не всеми хозяйственными организациями. Это создавало очень тяжелые условия для работы начинающего института, которому приходилось тратить огромные усилия на преодоление всякого рода бессознательных и сознательных тормозов.

Хотя в продолжение своей десятилетней работы Институту прикладной минералогии значительное количество времени пришлось отдать черной и цветной металлургии, особенно в начальный период его деятельности, однако главным объектом его исследований была так называемая группа «неметаллического минерального сырья», широко применяемого в современной промышленности и в сельском хозяйстве.

В отличие от руд, металлов и топлива, эта группа ископаемых изучена чрезвычайно мало и у нас, и за границей, что в значительной мере объясняется молодостью этой отрасли горного дела, насыщающейся даже в Америке не более 40 — 50 лет.

В старой России с неметаллическим минеральным сырьем было особенно плохо. В наследство от капиталистической промышленности мы получили только несколько небольших, преимущественно кустарных, предприятий, занимавшихся разработкой лишь очень немногих из этой крайне обширной группы ископаемых. Для того, чтобы уяснить

себе, как мало внимания обращалось в России на неметаллическое минеральное сырье, достаточно указать, что до революции совершенно не было таких важнейших производств, как слюды, серы, плавикового шпата, глинозема, талька-стеатита и некоторых других, а такие ископаемые, как графит, барит, корунд, диатомит, наждак и другие, добывались всего в количестве нескольких сотен тонн. В это же время американская промышленность (1913 г.) измеряла свое производство в таких цифрах: слюды — 775 т листовой и 5.200 т скрапа, серы — 491.000 т, боксита (глиноземное сырье) — 210.000 т, плавикового шпата — 115.000 т, графита — 4.775 т, барита — 43.000 т и т. д. К 1929 г. эти цифры по многим объектам удвоились, а по некоторым даже возросли в 4 — 5 раз (например по сере — до 2.362.390 т, по бариту — до 277.289 т и т. д.).

Русская горная промышленность до революционного времени удовлетворяла свою потребность в неметаллическом минеральном сырье почти исключительно импортным продуктом, предпочитая вкладывать капитал в более выгодные производства — металлургию и топливо. Несмотря на то, что потребление минерального сырья измерялось далеко не американскими масштабами, ввоз его из-за границы тем не менее достигал весьма крупной цифры, дойдя в 1913 г. до 38.856.000 зол. рублей. При этом отдельные виды ископаемых импортировались в значительном тоннаже. Так например барита было ввезено в 1913 г. свыше 13.000 т, гипса — 122.000 т, глины разных сортов — 166.000 т, каолина — 40.000 т, кремневых и кварцевых материалов — 63.700 т, мела — 135.800 т, огнеупоров — 186.000 т, серы — 25.000 т, фосфорных удобрений — 437.000 т и т. д. Из всей многочисленной номенклатуры неметаллических ископаемых сколько-нибудь заметной была только добыча асбеста, хромита, магнезита и поваренной соли, которыми не только полностью удовлетворялся внутренний спрос, но некоторая часть даже вывозилась в зарубежные страны.



Эта недооценка, это игнорирование развития промышленности неметаллического минерального сырья были чрезвычайно типичны для дореволюционной горной промышленности, — они характеризовали ее общую отсталость и односторонность и в первую очередь абсолютную неизученность производительных сил страны. К сожалению, в первые годы после революции внимание к минеральному сырью было далеко не достаточным. Наши хозяйственные организации вначале не отдавали себе отчета в том огромном значении, которое имеют в народном хозяйстве эти ископаемые. Импорт их продолжался как бы по инерции. В 1923 — 24 г. затраты на ввоз были относительно невелики, примерно около 5.000.000 рублей, но с развитием промышленности эти затраты ежегодно возрастали, достигнув в 1927—1928 г. огромной цифры в 23.000.000 золотых рублей, т.-е., иначе говоря, больше половины затрат 1913 г. Перелом намечался только в 1929 г., когда ввоз стал постепенно падать; однако резкое сокращение его мы наблюдаем только в начале 2-й пятилетки. Отсталость промышленности неметаллического минерального сырья, как было уже указано, прежде всего объясняется почти полным отсутствием ее в дореволюционное время. Советскому Союзу пришлось строить эту сложнейшую и мало исследованную отрасль горного дела совершенно заново, на голом месте, в условиях почти полной невыявленности сырьевых баз, при полном отсутствии данных об их мощности и качестве.

Между тем огромное значение неметаллического минерального сырья для народного хозяйства представляется само по себе настолько бесспорным и ясным, что всякие доказательства его, казалось бы, являлись излишними. Действительно, какую бы отрасль промышленности и сельского хозяйства мы ни взяли, ни одна из них не может обойтись без неметаллического минерального сырья. Все ведущие отрасли промышленности больше или меньше, но обязательно используют его. Возьмем черную металлургию, — она немыслима без

кварца, известняка, плавикового шпата и других флюсующих добавок, как немыслима без огнеупорных материалов — шамота, динаса, магнезита, талькового камня, хромита и т. д., используемых для футеровки домен, мартенов и электропечей. То же — и в цветной металлургии. Добыча легких металлов — алюминия и магния — целиком базируется на этом сырье. Алюминиевой рудой служат боксит, алунит, каолин и нефелин, а сейчас, кроме того, успешно разрешается проблема использования для тех же целей маложелезистых глин. Электролиз глинозема, являющегося полупродуктом для получения металлического алюминия, непременно требует криолита, а последний у нас в Союзе изготавливается из плавикового шпата. Получение магния связано с использованием магний содержащих рассолов и т. д.

Основная химическая промышленность почти полностью базируется на неметаллическом сырье. Сырьем для серной кислоты служит серный колчедан, сода вырабатывается из поваренной соли или сульфата, фосфорная кислота — из фосфоритов, соляная — из поваренной соли, фтористые соединения — из плавикового шпата, продукты калия — из карналита и сильвинита и т. д. Для некоторых химических производств, кроме того, необходимы большие количества кислотоупорных материалов, частично идущих для футеровки реакционной аппаратуры, частично — для хранения уже готовой продукции. Без кислотоупоров, какими являются некоторые изверженные породы (андезит, гранит и проч.), кислотное производство так же невозможно, как и без исходного сырья. Электропромышленность требует больших количеств слюды и графита, производство металлургического кокса представляет огромный спрос на огнеупорные материалы, нефтяная промышленность потребляет огромные количества отбеливающих земель (флоридиновые и бентонитовые глины, опоки и другие), без которых нельзя вести очистку нефтепродуктов. Машиностроение не может развиваться без абразивных материалов (естественного корунда и электрокорун-

да и карборунда, вырабатываемых из неметаллического сырья) и т. д., и т. д.

Таким образом, буквально все ведущие отрасли промышленности используют неметаллические ископаемые, причем в огромном большинстве случаев осуществление основного процесса без этих ископаемых совершенно невозможно.

Сельское хозяйство также в огромных количествах использует этот вид ископаемых: с одной стороны, в качестве удобрений, с другой — в качестве средств борьбы с вредителями (сера, мышьяк и т. д.).

Ввиду этого при отсутствии собственного сырья в промышленности сельского хозяйства волей-неволей приходится обращаться к внешнему рынку, чем и объясняется наблюдавшийся у нас до 1928 — 29 г. непрерывный рост импорта минерального сырья параллельно развитию промышленности и сельского хозяйства.

Но не одни ведущие отрасли обуславливаются применением неметаллических ископаемых. Длинный ряд других производств не может работать без них. Так например производство бумаги немислимо без дефибрерных камней, распиляющих древесину, и без минеральных наполнителей — каолина, талька и других, которые идут в бумагу и потребляются ею в больших количествах. Производство красок поглощает большие количества барита, мела и другого вида минерального сырья. Резиновая промышленность невозможна без серы, применяемой при вулканизации, и без тех же наполнителей — мела, талька и других. Мы не говорим уже о строительных материалах — кирпиче, цементе, извести, алебастре, естественных строительных камнях (туфе, опоке, трепеле, кровельном сланце и проч.). При современных темпах строительства спрос на эти материалы измеряется десятками миллионов кубометров, ежегодно при этом увеличиваясь.

При отсталости промышленности неметаллических ископаемых, которая существовала в момент организации института, перед последним вставала сложнейшая и ответственнейшая задача — выделить из огромного числа неразре-

шенных проблем такие, разрешение которых с народнохозяйственной точки зрения являлось наиболее актуальным и срочным. Выбор осложнялся тем, что мы в то время не располагали еще разработанной методикой исследований, которую приходилось создавать одновременно с экспериментированием, а также тем, что у нас не было совершенно специалистов в этой отрасли знаний. Между тем промышленность с каждым годом все настойчивее требовала немедленного ответа на целый ряд труднейших вопросов, связанных с количественным и качественным изучением минерального сырья. Надо сказать, что в отношении технологии например неметаллических ископаемых дело обстоит несравненно сложнее, чем с технологией металлических руд. Если там процентное содержание металла в породе является большею частью решающим моментом для определения промышленной ценности месторождения, то для неметаллических ископаемых сам по себе голый процент содержания полезного компонента далеко еще не разрешает проблемы. Для определения пригодности неметаллического минерального сырья необходимо тщательное и всестороннее изучение всех его физико-химических свойств и технологических качеств с индивидуальным подходом к каждому месторождению. Те же самые графиты с одинаковым содержанием углерода, взятые из разных месторождений, дают совершенно различные продукты, пригодные для одних целей и совершенно непригодные для других. Помимо химического состава, огромную роль в этом сырье играют минералогический состав, кристаллическая форма, температура плавления, размер и характер частиц, получаемых при дроблении, тонкость помола, наличие тех или иных примесей, структура и текстура породы, теплоемкость, сопротивление раздавливанию и разрыву, адсорбционная способность, кислотостойкость и т. д.

Разносторонность исследований, без которых невозможна правильная оценка неметаллических ископаемых, делает изучение их чрезвычайно сложным, в особенности, как мы уже говорили, в условиях отсутствия предварительно разра-

ботанной методики. Это должно быть учтено при оценке деятельности института.

Вступив на путь такого изучения, институт поставил перед собой три основных задачи, взаимно между собою связанных и ведущих к одной общей цели — к энергичной помощи науки строительству социализма в нашей стране. Эти три задачи, до сих пор определяющие основные пути работы института, могут быть сформулированы следующим образом: первая — всемерная помощь и обслуживание ведущих отраслей промышленности и строительства в форме подготовки сырьевых баз в целях организации новых производств и технической реконструкции старых предприятий, продуцирующих различного рода минеральное сырье неметаллического состава.

Вторая — укрепление экономической независимости СССР максимальным сокращением импорта и увеличением экспорта неметаллических ископаемых — как в сыром виде, так и в виде полуфабрикатов и готовых изделий.

Третье — укрепление обороноспособности Советского Союза — уделением особого внимания тем ископаемым, с использованием которых связана работа промышленности на оборону.

В свою очередь отсталость промышленности неметаллических ископаемых направляла работу института при достижении указанных целей по таким основным путям:

а) производству исследований, имеющих целью расширить и рационализировать существующие уже производства по добыче и переработке отдельных объектов минерального сырья; основной вопрос при этом — улучшение качества сырья и установление стандартных марок;

б) производству исследовательских работ, имеющих целью создать в СССР новые отрасли промышленности неметаллических ископаемых по таким объектам, которые хотя и исполь-

зовались промышленностью, но в незначительном количестве и только в виде импортного сырья или изделий, и наконец

в) по выявлению и внедрению в промышленность совершенно новых видов минерального сырья, не только не используемых еще в нашем народном хозяйстве, но в большинстве случаев не нашедших еще применения и в других странах.

Таково содержание работ института. Институт начал работать в то время, когда острота положения с минеральным сырьем не была еще осознана с достаточной ясностью. Мало того, капиталистическое окружение СССР создавало в то время внутри страны свою базу, опираясь в первую голову на группы технического персонала в горной промышленности, в вузах и учреждениях, оставшиеся верными старым хозяевам.

### Борьба за недра

Характерным штрихом окружения, в котором находился Институт прикладной минералогии в первые годы своей деятельности, служит история самого названия института. Название «прикладная минералогия» было дано не только с точки зрения внутреннего содержания работ института, но также и с защитной точки зрения. Такое название мало обращало на себя внимание, не говорило всем и каждому о том, что институт собирается заниматься основными и важными вопросами минерального сырья. Оно давало ему возможность укрепиться и встать корнями в жизнь, прежде чем обратят на него свое «благоклонное» внимание.

Какое же это было окружение? Прежде всего исключительную роль или, вернее, влияние на развитие горной промышленности оказывал старый Геолком, корифей и вершители судеб которого в настоящий момент политически обезврежены. В тогдашнем ВСНХ большую роль играли Горный Совет и Горный Главк, находившиеся в руках лиц, впоследствии уличенных в прямой связи с Урквартом и другими аналогич-

ными фигурами мирового капитализма. В это же время был организован «Клуб горных деятелей», распространившийся по всей стране и являвшийся организационной формой для осуществления директив капиталистического окружения СССР. К сожалению, мы не знали в какой бы то ни было мере о том, что те или другие лица предают Советский Союз. Мы совершенно ясно чувствовали, что находимся во вредительском окружении. Эта часть истории института описана мной в книге «Борьба за недра». Во всяком случае скромное название Института прикладной минералогии дало нам возможность просуществовать около полутора лет без прямого нападения на нас вредительских групп.

Время основания института совпало как-раз с переходом к нэпу, переходом трестов и ряда организаций на самокупаемость. Финансы являются наиболее уязвимым участком для научно-исследовательских организаций. Институту пришлось перейти на хозяйственный расчет с первых же дней своего рождения. Сумма государственного ассигнования составляла в первый год существования около 36.000 рублей, что едва хватало на содержание низшего обслуживающего персонала. Институту приходилось брать заказы со стороны, чтобы поддерживать свои научные работы. Так, фотографическая мастерская брала заказы на всевозможные сѐмки для аналогичных учреждений, особенно в области микрофотографии; мастерская шлифов скоро сделалась поставщицей для всех геологических кабинетов вузов того времени; слесарная мастерская, делавшая научные приборы и аппараты, должна была взять заказ от Электротреста на арматуру уличных фонарей; сумма заказа превышала все годовое ассигнование государственных средств и давала возможность содержать не только слесарную мастерскую, но и ряд других подсобных предприятий.

В настоящий момент, в связи с крупным строительством в Москве, строительством метро, вопросы элементарных строительных материалов, как пес-

ка, гравия и бута, являются важнейшими вопросами, лимитирующими строительство. Институт прикладной минералогии еще в 1924 г. бросил огромное количество сил и средств на то, чтобы выяснить залегающие наиболее благонадежных по запасам месторождений песка и гравия под Москвой, дав анализы этих материалов и способы их улучшения. Во множество комиссий докладывал институт о важности этих работ, не получая однако ни копейки ассигнований. Иногда казалось, что вот-вот соответствующий банк даст деньги для проведения работ, но в последний момент какая-нибудь вновь выбранная комиссия отказывала, и вопрос переходил в следующую инстанцию.

Наконец мы решили самостоятельно произвести ряд обследований. Взяв подряд на поставку около 300 вагонов песка и гравия, институт поставил кустарную крестьянскую добычу в различных местах Московской области. Доставляя материал заказчику, попутно анализировали получаемый гравий и наносили на карту те или другие залежи с обозначением их строительного значения. Таким образом, из этой своеобразной финансовой петли, наброшенной на шею развивающегося молодого организма, институт вышел с честью, разорвав ее и непрерывно увеличивая свой рост и свое влияние.

Тогда посыпались удары с другой стороны. Институт начали обвинять в том, что он потерял значение как научная организация и превратился в чисто хозяйственное предприятие. Начались бесконечные обследования, ревизии. Обвинения против института дошли даже до Совнаркома; противники демагогически старались использовать и выполнение институтом заказов по арматуре, и добычу и продажу песка и гравия; пытались подвести институт даже под уголовщину, пользуясь тем фактом, что среди технических служащих было выявлено три растратчика.

Это было в 1927 г., а в 1934 г. автор докладывал о результатах работы института в Академии наук, которая

отметила большие достижения института.

Почему же оказались такие большие достижения, о которых говорится в постановлении Академии наук? Эти достижения не упали с неба, они выросли из 1924, 1925 и 1926 годов, когда институт строился и оборудовался, причем оборудовался он на средства, зарабатываемые им «своим трудом», т.е. теми самыми хозяйственными договорами, которыми он сохранил себе жизнь. Крупнейшая в Союзе рентгеновская установка института, дающая возможность разрешать самые сложные теоретические вопросы строения вещества, была куплена на деньги, заработанные им от продажи рентгеновских экранов, готовившихся в его мастерских. Так интересующие массового радиолюбителя, особенно тех лет, «кристаллы», применяемые в детекторах и бывшие импортными, точно так же впервые были приготовлены в мастерских института; на средства, полученные от их продажи, и были куплены важнейшие физические приборы. Если мы пройдем с вами сейчас по лабораториям и мастерским института, то мы убедимся, что история каждого станка и каждого аппарата — это история упорной работы за его приобретение. Научные достижения 1934 г. стали возможны лишь благодаря хозяйственному расчету, господствовавшему в институте с момента его основания.

Но если мнение о «ненаучности» института было опровергнуто Академией наук, то все словесные и клеветнические нападки на институт со стороны его противников были опровергнуты ревизией ЦКК — НКРКИ. Внимательно обследовав в течение почти полугода деятельность института, тщательно ознакомившись с его хозяйственными мероприятиями, а также с его научными работами, НКРКИ пришел к следующему выводу: «Обследовательскими материалами НКРКИ СССР была отмечена вполне удовлетворительная постановка научно-исследовательской работы Института прикладной минералогии, в частности по неруд-

ному сырью и строительным материалам».

Мы остановились на этом моменте только для того, чтобы указать, что институт создавался в непрерывной ожесточенной борьбе за освоение недр для социалистического строительства нашей горной промышленности и в первую голову промышленности неметаллических ископаемых.

В самом деле, нет такого вопроса, на который институт не откликнулся бы в течение своей десятилетней жизни. Развивается черная металлургия, ставится вопрос о строительстве крупного металлургического завода на горе Магнитной. Институт не специализировался по черной металлургии, тем не менее разведки горы Магнитной, лежащие в основу всех дальнейших работ, сделаны институтом, причем на разведки была истрачена крайне незначительная сумма, на «до-разведку» же месторождения впоследствии было истрачено в десятки раз больше, и результаты только подтвердили выводы института.

А цветная металлургия? Ее развитие началось в стенах института, — институт посылал первые записки по вопросам цветной металлургии, институт принимал участие в первых съездах, конференциях по развитию этой важной отрасли народного хозяйства, в институте начали создаваться первые кадры работников цветной металлургии. Вредительскому окружению удалось закрыть горно-металлургическую лабораторию института, явившуюся первым центром исследовательской работы в этой области.

Институту же принадлежала инициатива выдвинуть совместно с академиком А. Е. Ферсманом и В. И. Глебовой вопрос о необходимости создания промышленности редких элементов. Тогда, я помню, было много насмешек над выделением редких элементов в особую группу. Из лаборатории редких элементов института развился в дальнейшем институт редких элементов, а в 1934 г. мы присутствуем при создании Главного управления по редким элементам.

По химической промышленности: вопрос использования серного колчедана как отброса цветной металлургии, вопрос использования серы и отходящих газов — все эти вопросы поднимались институтом и в значительной мере даже разрешались в его стенах. Все обширные и важные проблемы борьбы с вредителями полей и огородов были поставлены и целиком разрешены в Институте прикладной минералогии, вплоть до производства готового продукта.

К сожалению, о своих достижениях институту не приходилось докладывать, но стоило ему совершить какую-либо ошибку или промах, как сейчас же начиналась суровая, а часто и недобросовестная критика. В первые годы своего существования институт имел мощную поддержку в лице такого гиганта большевистской воли и действия, каким был тов. Дзержинский. Несмотря на исключительную занятость, руководя одновременно ВСНХ и ОГПУ, тов. Дзержинский нашел время подробно осмотреть институт и ознакомиться с его работой не только в Москве, но и в Ленинграде, посетив в одну из своих поездок горно-металлургическую лабораторию. Тов. Дзержинский провел большие по тому времени средства на строительство здания института. В 1925 г. строительство института было самой большой из всех строек в Москве. «Вас надо широко популяризовать, — говорил тов. Дзержинский. — Я буду посылать к вам руководителей трестов». И действительно, не раз в институт являлись с недоуменным видом некоторые из наших крупных хозяйственников, но обычно уходили из института уже друзьями, давая конкретные задания и заказы.

В настоящее время институт может гордиться международным признанием его работ. В его стенах в последнее время побывали, оставив восторженные отзывы, немецкие ученые, турецкие министры, английские деятели, французская делегация.

В самые последние дни Академия наук выразила свое отношение к институту не только бумажным постановле-

нием о ценности его работ, но и делом: Академия наук поставила перед правительством вопрос о передаче ей института целиком, не считая даже возможным просить только здание.

### Внедрение в жизнь достижений института

Почти всякое достижение институту приходилось проводить сквозь многообразные препятствия и барьеры.

Возьмем историю с разрешением баритовой проблемы; у нас на Кавказе, как и в других местностях СССР, есть много месторождений барита, столь необходимого для красочной и химической промышленности. Институт около полутора-двух лет бьется над проведением в жизнь нового способа получения снежно-белого барита. Оригинальный метод института дает материал валютного качества. Дело в том, что на существующем на Кавказе заводе в результате работы плохо сконструированной фабрики барит получается серого цвета. Казалось бы, промышленность должна ухватиться за предложение института. Однако за два года ничего в этой области не сделано. Нельзя сказать, что институт ничего не предпринимал: он ставил вопрос в различных ведомствах, дрался на самом заводе, доказывал прямо на производстве — своей бригадой — возможность легкого внедрения нового способа, получал превосходные отзывы от всяких комиссий о своем методе и о полученном продукте. Но «воз и ныне там».

Случай с баритом не является единственным. Почти по каждому полезному ископаемому, которым занимается институт, вы найдете аналогичное с баритом положение. Разве не те же самые истории разыгрываются в серной промышленности, в хромитовой, в слюдяной? Разве Химруда не есть пасынок Главхимпрома! Приходится работать над проблемами промышленности, рассеянной, разбросанной и в значительной мере беспризорной.

Когда мы занялись вопросом получения безборной эмали, мы сразу стали испытывать затруднения с финанси-

ванием. Иностранный сектор Наркомтяжпрома энергично поддерживал работу, так как большие суммы золотом тратились на ввоз к нам борных препаратов для этой цели. Ни одно заинтересованное производство не желало брать на себя финансирование этого дела, а все они не могли стовориться; требовалась целая конференция; такую конференцию некому было созвать, так как эти предприятия находятся даже в различных комиссариатах. Работы по получению безборной эмали могли бы быть закончены уже давно, но они тянутся и по сие время из-за крайне плохого и случайного финансирования.

Но даже там, где институт работает удачно, он часто встречается с полным игнорированием его как учреждения. Вот например миканитовый завод ГЭТ очень охотно использовал всю работу и достижения института; главный инженер очень быстро ввел в цехе все усовершенствования, предложенные ему работниками института... и получил за это премию от своего начальства. Но институту даже отказали в протоколе совещания, что изобретения и усовершенствования и вообще вся установка сделаны его силами. Ни обращение к партийной организации, ни апелляция к управлению треста не привели ни к чему. Цех растет и развивается, — не все ли равно в конце концов, кто сделал: у деловых людей нет времени в этом разбираться. Сделано — и сделано, пойдём дальше.

Кроме того, часто приходится встречаться и с нездоровой конкуренцией. Скажем, институт занимается вопросами термоизоляции: у него есть и силы, и аппарат. Пока эти вопросы «не модны», т.е. не пестрят в газетах, не указаны директивными органами, до тех пор над ними можно спокойно работать. Как только тот или иной вопрос всплывает на поверхность, сейчас же на него набрасываются десятки научно-исследовательских организаций и учреждений. Так, минерал термикулит, которого у нас на Урале пока что найдено всего-навсего около 100.000 т, занял собой внимание около 40 лабораторий и институтов и др. учреждений. причем, хотя еще и ничего не сделано и вопрос

требует огромной научной проработки, а уже наименее подготовленные, наименее отличающиеся научными силами и аппаратурой лаборатории кричат, что ими все сделано, что вопрос разрешен.

Автору приходилось одно время быть в обследовательской комиссии по институтам. Ему пришлось обследовать например лабораторию по «изучению условий существования человека при междупланетных сообщениях»; была еще знаменитая лаборатория «по изучению даровых сил природы». В последнее время институтомания несколько утихла под влиянием всяких сокращений, урезок, пересмотров. К сожалению, все эти отдельные институты стремятся почему-то устроиться обязательно в центре. Кажется, алюминиевые предприятия у нас сосредоточены не в Ленинграде, а в местах наиболее дешевой электроэнергии, в частности крупные установки стоят на Днепрострое и т. п. Однако многоэтажный научно-исследовательский институт алюминия приютился на Васильевском острове. У нас существуют Институт цветных металлов, Институт редких металлов, институт вообще металлов, Институт алюминия, Институт радиоактивных элементов, — хорошо, что не по несколько институтов на один металл, — и в то же время у нас нет железорудного института. Рудой никто не занимается. Все эти узкие отраслевые совершенно-производственные организации расположились в центре и захватывают себе все деньги, идущие на исследовательскую работу в соприкасающихся с ними областях.

Если взять такой институт, как Институт прикладной минералогии, занимающийся обобщенными проблемами, лежащими часто на границах различных отраслей промышленности, то ему приходится разрешать, если можно так выразиться, комбинат различных проблем, так как один и тот же минерал содержит в себе элементы, необходимые для различных отраслей промышленности, и его надо исследовать со всех сторон. Только при таком комбинированном комплексе исследования и получаются хорошие экономически-эффективные ре-

зультаты. Однако, к сожалению, денег получить на это очень трудно.

Возьмем например каолин. Если вы попытаете изучать каолин с точки зрения содержащегося в нем алюминия, то деньги на это монополично получает Институт алюминия; если изучать каолин с точки зрения бумажной промышленности, то деньги монополично получает Институт бумажной промышленности; если изучать каолин с точки зрения мыловаренной промышленности, то деньги получает Институт жировой промышленности; наконец каолин, как известно, является важным керамическим материалом, — и тогда выступает Керамический институт. К сожалению, однако каолин не может быть изучен в полной мере ни одним из этих институтов в отдельности. Только глубокое проникновение в природу вещества, соединенное с творчески-технологическим анализом и синтезом, может дать разрешение проблемы каолина в целом. Этим может заниматься только головной институт, только институт обобщающий, синтезирующий, имеющий в своих стенах не узко-цеховых специалистов, а специалистов разных отраслей, объединенных какой-нибудь одной общей проблематикой.

Нам кажется, что бесконечное развитие карликовых институтов сильно снижает те научные возможности, которые открыты в социалистической стране в направлении углубленного научно-технического исследования ее минеральных богатств и развития производительных сил.

Для нас одной из главных проблем была проблема — как нам разрешить задачу так, чтобы не обидеть соответствующий отраслевой институт, как его привлечь к делу, чтобы он не был помехой, а дал бы возможность провести в эту отрасль промышленности то или другое наше достижение. Если бы такие лаборатории и институты были на самых предприятиях и на заводах, это принесло бы лишь пользу делу, и практика института показывает, что в таких случаях не только легко договориться, но и возможно получить ту или иную реальную помощь. Когда же все

эти институтики находятся за тысячу километров от своих предприятий, они очень быстро бюрократизируются, их работники делаются похожими на чеховского «человека в футляре» и, кроме бесконечной склоки, всевозможных мелких подсиживаний, борьбы и обид уязвленных самолюбий, ничего от них получить нельзя.

### Трудности в работе института

Трудности в работе института заключаются прежде всего в объектах его исследований. Возьмем Электротехнический институт или какой-либо металлургический институт. Все эти институты имеют опору в промышленности, где работа их является основной работой для промышленности: если они работают неудачно, их очень энергично критикуют, разлагаться им не дадут; в случае их успеха их очень энергично поддерживают, ведут вперед.

Не то с Институтом прикладной минералогии. Мы имеем здесь объекты исследования, с одной стороны, практические, — это минеральное сырье, с другой стороны — теоретические вопросы, связанные со строением минерального вещества. Теоретические вопросы по изучению твердого тела имеют значение для всех отраслей промышленности. Так, работа молодого и талантливого физико-химика института А. Ф. Капустинского служит сейчас важнейшим учебным руководством для металлургических вузов. Работа физико-химиков института по изучению разрушения твердого тела точно так же имеет огромное значение для промышленности цветной металлургии, для химической промышленности. Иначе говоря, каждое достижение в этой области — это достижение, в котором заинтересованы многие отрасли промышленности и которое используется рядом отраслей промышленности. А там, где много хозяев, там, в сущности говоря, нет хозяина.

То же самое и в области прикладной. Минеральное сырье употребляется в разных отраслях промышленности, причем в некоторых областях оно играет



очень важную, необходимую роль — наряду с целым рядом других вопросов и проблем. Возьмем например бумажную промышленность. Сердцем бумажной фабрики является дефибрер — камень, перемалывающий древесную массу. Эти дефибреры получались из-за границы. Огромное количество аварий и простоев на бумажных фабриках объяснялось отсутствием советских дефибреров и трудностью получения из-за границы этих камней. Институт взялся за работу — приготовить дефибреры из союзных материалов и на союзных фабриках. За три года работы ему удалось целиком освободить бумажную промышленность от ввоза дефибреров и уничтожить аварии, связанные с работой этого камня. Задача разрешена большая, чрезвычайно важная для страны. Но разрешение ее прошло совершенно незаметно, потому что бумажная промышленность страдает не только от одного дефибрера, у нее есть много своих болячек в области лесных материалов, в области машин для получения бумажной массы, в области транспорта и т. п. Получив из института советский дефибрер, промышленность запротоколировала это постановлением, что «изготовленный при помощи института камень показал исключительно высокую производительность и вполне заменяет заграничный», и перешла к своим другим болячкам, занялась ими. Работа института так и не дошла до сознания широких масс. Когда мы попробовали издать книгу о дефибрерах, издательство ответило нам, что книга эта имеет очень узкое значение, издательство же находится на хозрасчете и поэтому издать ее не может. Итак, трехлетняя работа института в жизнь воплотилась, но оценки не получила.

Или возьмем вопрос о создании промышленности фтора. Промышленности фтористых солей и фтористых продуктов до института не существовало совершенно. Институт создал рудник, институт разведкал запасы сырья, институт подвел сырьевую базу под эту промышленность, институт дал схему постройки фабрик, перерабатывающих фтористый минерал. Для кого же институт рабо-

тал? Его достижения воплотились в жизнь, рудники существуют, но, к сожалению, добывают мало. В этом институт не виноват, потому что промышленность не получила денег на постройку хороших рудников, промышленность не получила хорошего оборудования. Недооценка значения плавикового шпата в металлургии, химии, в стекольном деле, в шпалопропиточном деле — эта недооценка только теперь ярко выявилась. Но все ж, если бы институт в свое время не поднял этого вопроса, не начал сам опытных разработок, не дал схемы переработки флюорита на фтористые продукты, мы сидели бы и сейчас в глубоком прорыве в этой области и должны были бы затрачивать значительное количество валюты. Но кто может оценить работу института? Эта промышленность не существует, как целое: рудники находятся в Главкомате, фабрики находятся в Главхимпроме, потребителем являются тракторные заводы, Спецсталь и Уралхим. На построенных фабриках уже давно забыто, что они строились по схемам института; докладов об этом нигде не слушалось, и одна из важнейших работ института, создавшая новую промышленность, как-то не ориентируется общественным мнением на институт, она распылена, и на некоторых совещаниях по фтористым продуктам с удивлением спрашивали: «При чем тут институт?»

Недавно мы читали в одной из газет о пуске алюминиевой установки по методу Кузнецова и Жуковского. По этому поводу тов. Жуковский довольно трогательно описал, как идея выплавки алюминия приходила ему еще в старое царское время, и даже вспомнил об обыске у него на квартире — в связи с подозрением, не готовит ли он там каких-либо взрывчатых веществ. О многом вспомнил инженер Жуковский. Он не вспомнил одного, а именно: что три года под ряд он работал в Институте прикладной минералогии, где совместно со всем коллективом проверялся его метод, в который были внесены многочисленные улучшения и поправки. Мы не считаем метод инженера Жуковского лучшим методом, но должны с полной

определенностью сказать, что если этот метод мог быть производственно применен, то только после трехлетней работы коллектива сотрудников Института прикладной минералогии. Такая забывчивость очень характерна, и мы даже к ней привыкли.

Таким образом, мы видим, что значительное количество достижений института рассеяно по различным отраслям промышленности и использовалось в многочисленных разрозненных предприятиях, у которых нет даже единого хозяина. Поэтому ни институт, ни его работники не получают иногда очень нужной им поддержки со стороны хозяйственников.

Огромный плюс для института в его повседневной связи с промышленностью — тот, что он всегда имеет работу, принужден даже отказываться от предложений и заказов и в своем кругу, во время отчетов и докладов внутри, чувствует, что он нужен своему социалистическому отечеству, своей социалистической родине.

### **Борьба с консерватизмом хозяйственников, карьеризмом, очковтирательством**

Институт встречает значительные трудности по внедрению своих достижений в промышленности. Этому препятствует в значительной мере консерватизм. Новое встречается в штыки. Затем большое значение имеет своеобразный карьеризм, погоня за премией, существующий в промышленных предприятиях и так ярко выразившийся в целом ряде процессов по очковтирательству. С таким стремлением к карьеризму отдельных работников хозяйственных предприятий, стремящихся все присвоить себе, институт часто встречается в работе. Это имело место и по другим институтам.

Возьмем вопрос с плавленными горными породами. Идея хорошая — не правда ли? — взять ту или иную горную породу и в печи расплавить ее, получив продукт, который мог бы заменить металл. В самом деле, ведь плавят же чугуны, причем для плавки чугуна

нужны руда, кокс, известняк; кроме того, выход металла зависит от процента содержания его в руде и определяется в размерах от 40 до 50 процентов. Между тем как, плавя просто горную породу, нам нужно только топливо и не нужно заготавливать специальной шихты; материал дешевый — это не руда, а простая порода, следовательно, продукт должен быть дешевый. Интересно, что нашелся такой изобретатель, который предложил даже делать шоссеные дороги из плавленного чернозема, который можно брать по краям этой же дороги. По его проекту выходило очень просто: взять хорошую электрическую печь, поставить ее на грузовик, подвести к ней движущийся провод от какого-нибудь источника энергии, закладывать в эту печь с краев дороги землю, и вязкой мощной струей расплавленная земля будет выходить из другого конца, покрывать дорогу, застывая на ней плотным массивным слоем.

Все это кажется детскими сказками, но в самом деле такой «изобретатель» существовал, вероятно еще существует и тратит немало денег, полученных у доверчивых руководителей дорожного дела. Проблема плавленных горных пород — одна из величайших проблем нашего времени, но к ней нужно подойти, затратив большие средства на предварительные научно-исследовательские работы. Все дело не в том, чтобы плавить, а чтобы дешево плавить. Для этого нужно длительное конструктивное изучение плавильных печей, которые нельзя просто перенести из металлургии. Кроме того, вся загвоздка заключается в том, чтобы не получилось просто плавленное стекло, которое будет трескаться и ломаться. Нужно, чтобы плавенная порода застыла в таких кристаллизационных формах, которые сделали бы ее подобной металлу. Надо изучить вопросы кристаллизации расплавленной горной породы, влияние различных добавок как на температуру плавления, так и на скорость и форму ее кристаллизации. Если мы удачно получим продукт, то он будет вполне заменяющим металл по своей прочности, кроме того, кислотоупорным и неэлектропроводным.

Кто должен работать над этой проблемой? Главным образом физико-химии, изучающие расплав, различные его фазы и влияние различных добавок, и петрографы и минералоги, изучающие формы кристаллизации, а кроме того, — теплотехники, конструирующие печи для плавки. Работа не маленькая, средства должны быть затрачены большие на предварительную научную работу. Промышленность может строить только после того, как мы овладеем процессом кристаллизации горной породы. Но и задача не маленькая — войти в новый каменный век, дать материал, который вытеснит металл, частично цветной металл — очень дорогой, дефицитный.

Институт в самом начале своей деятельности работал в этом направлении, и проф. А. С. Гинзбург в Ленинграде проделал много предварительных лабораторных работ. В записке, поданной в свое время, институт указал, что он считает эту работу важнейшей работой, на которой нужно сосредоточить крупные силы страны. Тем не менее на эту работу денег не дали, а группа практиков, поплавав в лаборатории какого-то вуза в тигельках базальт, подала проект постройки завода плавленных горных пород. Такой завод был построен, в надежде очевидно на огромный эффект этого дела. Когда завод построили, оказалось, что он дает 100-процентный брак. Существует завод два-три года, выполняет скромные заказы для кислотоупорных установок, и тонна литья обходится ему больше тысячи рублей, причем на тонну продукта затрачивается пять тонн мазута. На все предложения института поставить научно-исследовательскую работу руководство отвечало: завод уже существует, зачем же исследовательская работа; есть промышленность, и надо ее развивать; если вы считаете эту проблему важной, то давайте построим еще завод. Кажется, по этому пути пошли, несмотря на наши протесты, и собираются строить завод по образцу этого и завод, дающий сейчас литье свыше 1.000 рублей тонна и являющийся в значительной мере бракоделом, будет прообразом новых, более крупных заводов. Несомнен-

но, когда эти заводы полетят в трубу, сама идея будет похоронена, и энтузиастов каменного литья будут встречать на смешках.

На работы по каменному литью не было отпущено ни одной копейки. Если работы и велись, то велись именно энтузиастами этого дела за счет каких-либо ассигнований от других работ. Занятно, что инженеры, «открывшие» каменное литье, упорно избегают всякой связи с институтом, боясь очевидно в случае удачи потерять ту славу, которая придется на их долю, если каменное литье будет дешево и прочно и вполне заменит металл. Но, к сожалению, это последнее может быть достигнуто только, если предварительно мы проведем крупные исследовательские работы в этой области.

Проблема каменного литья — один из ярких примеров тех трудностей, которые приходится встречать на пути развития исследовательской работы и ее внедрения в жизнь.

### Создание новых кадров

Вопрос с кадрами, как известно, был всегда узким местом во всех областях хозяйственной жизни СССР. Однако мы принялись за работу над созданием кадров еще тогда, когда эта острота не давала себя так сильно чувствовать. Институту удалось воспитать в своих стенах новые партийные кадры специалистов. Ряд его работников занимает сейчас ответственные места. Так, один из старейших работников, геолог Т. И. Перкин, является директором Геомин при ГГРУ. Его помощником состоит инженер-химик Зборовский, тоже один из старейших работников института; тов. Б. П. Некрасов сейчас — управляющий трестом «Союзредметразведка»; тов. Забутский, тов. Прохоров, тов. Давидовская и другие работают в области цветных металлов. Тов. Пухов работает на Балхашстрое. Из минералогов упомянем тов. Сыромятникова и тов. Абрамова, сейчас читающих курс в вузах. Из беспартийной молодежи тт. Захаров, Коптев-Дворников и Смаковский являются законченными науч-

ными работниками, имеют кафедры в вузах и выпустили ряд интересных работ. Институт являлся своеобразным поставщиком кадров не только для вузов и втузов, но и для промышленности. Как читатель увидит ниже, из института выросла и создалась целая группа новых исследовательских организаций в области отраслевого изучения минерального сырья. За десять лет работы научными сотрудниками института выпущено свыше 650 печатных работ. Такое же количество работ осталось ненапечатанным и хранится в библиотеке в виде отчетов и записок. Эти 1.200 работ показывают ясно лицо научных кадров, сгруппировавшихся вокруг института. Посмотрите на них внимательнее: вы найдете здесь и крупные теоретические работы, делающие буквально эпоху в той или другой области, — таковы работы по физико-химии, по методике исследования минерального сырья; найдете здесь большое количество работ, освещающих сырьевую базу Союза, причем, не преувеличивая, можно сказать, что на девять десятых сырьевая база неметаллических ископаемых освещена именно работами институтского коллектива. Преобладающее количество работ разрешает целый ряд практических, даже повседневных вопросов промышленности — минерально-сырьевой, химической, металлургической, — той промышленности, которая тесно связана с проблематикой института. Мы уже не говорим о том, что институт является воспитателем новых кадров в области изучения минерального сырья наших горных районов: в Закавказье, на Урале, в Средневолжском крае, в Сибири, на Украине. За десятилетний срок в этих крупных горных центрах выросли отделения Института прикладной минералогии, создавшие новые кадры исследователей минерального сырья на местах. Основатель и руководитель Закавказского института прикладной минералогии проф. Твалчерлидзе и его ближайший помощник проф. Филатов известны далеко за пределами Закавказья как одни из лучших исследователей по минеральному сырью. Отделения выросли и окрепли точно так же в повседневной

борьбе за свое существование, переживая в не меньшей степени те нападки, которые переживал центральный институт. На памяти у всех работников Закавказья бесконечные наскоки со стороны Закавказского Геолкома на Институт прикладной минералогии, стоившие много нервов и крови всем патриотам Закавказского института прикладной минералогии, в первую голову проф. Твалчерлидзе.

Борьба института за свое существование была борьбой за новые методы исследования, борьбой с рутинной, борьбой за приближение науки к жизни, борьбой за реальную помощь растущей социалистической промышленности. В этом смысле институт нес на своем знамени комплексный метод исследования. Он вносил технологическую проверку в разведки, подчиняя обезличенную до сих пор разведку целеустремленным технологическим задачам. Разрешая технологические проблемы, институт не ставил их узко, с точки зрения того или иного производства, он всегда старался разрешить проблему в целом, дать полное использование данного минерального тела, обратив исключительное внимание на использование отходов и отбросов. По этому поводу автор писал в своей работе «Борьба за недра» в 1929 году:

«Для осуществления вышеуказанных задач необходима была своеобразная расстановка сил, а именно: в разработке должны были участвовать совместно геологи, минералогии, химики и по отдельным вопросам металлургии. Тема обсуждалась сообща и хотя прорабатывалась отдельными участками, но при этом имелся в виду всегда конечный результат. Иначе говоря, каждый из работников всегда видел перед собой задачу и ход ее решения в полном объеме. Это был так называемый комплексный метод исследования, имеющий некоторую аналогию с ударными сквозными бригадами на предприятиях, где каждый вопрос продвигается от начала до конечного разрешения. Этот метод давал возможность широкого вовлечения молодежи в исследовательскую работу. Большие научные проблемы, раз-

бываемые на отдельные участки, подчас настолько небольшие, что доступны неопытному и молодому исследователю или работнику, тем не менее были связаны общей мыслью и идеей, причем каждый работник был в курсе всей проблемы целиком, какой бы маленький винтик этой сложной машины он собой ни представлял, и, таким образом, тот необходимый энтузиазм, который является только от сознания величины и значения как всей темы, так и собственной работы, — этот энтузиазм, так необходимый для молодых сотрудников, полностью осуществлялся комплексным методом.

Все это приближало Институт прикладной минералогии к типу заводского предприятия. Здесь была, если можно так выразиться, своеобразная большевизация науки: научный институт строился не по старой методике, а приближался по своему построению к фабрике, заводу, причем это построение исходило из внутреннего существа самой темы, а ни в коем случае не из внешне-гео механического построения».

Это же приходится повторить и в 1934 году.

Именно этот путь и дал возможность институту вклиниться в промышленную жизнь Союза.

Однако необходимо отметить, что на одном очень важном участке институту пришлось потерпеть поражение. В борьбе за освоение минерального сырья первым и важным вопросом был вопрос о том, как производить разведку и как построить геолого-разведочную службу СССР.

### **Геолого-разведочная служба СССР и роль в ней института**

Институт боролся за то, чтобы разведочное дело было децентрализовано, но децентрализовано не в особых разведочных трестах, а в промышленных предприятиях. Институт на основании своего собственного опыта и печального опыта старого Геолкома, ГГУ и Союзразведки настаивал, чтобы разведки соответствующей области велись трестом или самим предприятием под научным

руководством и наблюдением соответствующего отраслевого института. Блестящий пример такого удачного разрешения вопроса представлял собой Институт удобрений, концентрировавший свое внимание на разведке и технологической проработке фосфоритов, апатитов, калийных солей и др. агрономических руд. Только при таком сосредоточении специальных разведок в специальных институтах можно добиться того, чтобы запасы того или другого минерального сырья могли быть действительно применены в промышленности. Общая геологическая цифра запасов еще ничего не говорит, — она должна быть расшифрована технологами.

Мы мыслим, что совместная работа технологов, геологов и разведчиков, во-первых, дала бы возможность экономно затратить деньги на разведку, так как в противном случае огромные суммы бросаются на-авось; во-вторых, дала бы возможность наиболее быстрого введения в промышленную эксплуатацию разведанных запасов; в-третьих, дала бы возможность «детские болезни» нового производства пережить в лабораториях и полужаводских установках института, перенеся уже разработанный метод сразу в заводскую практику.

К сожалению, институту не удалось отстоять своих положений, и его собственная крупная разведочная организация была свернута, — из 150 человек осталось 15, причем хорошо сорганизованный, спаянный коллектив рассыпался по всевозможным организациям, рассеялся без использования его опыта и его силы как единого целого.

### **Взгляд в будущее**

Как же институт предполагает построить свою работу в дальнейшем? Прежде всего мы должны с полной ясностью сказать, что, анализируя всю предыдущую работу института, анализируя его положение в промышленности, мы приходим к выводу, что никакой отраслевой институт не в состоянии разрешить рентабельное изучение тех или иных элементов или группировки этих элементов

из природного сырья. Потребление настолько разнообразно, использование настолько многосторонне, что исследование должно быть многогранно, должно быть комплексно и сосредоточено в институте, являющемся основным, ведущим для других отраслевых институтов и самой промышленности.

Проблематика минерального сырья возникает из развития девяти главнейших отраслей народного хозяйства.

Какое же содержание научной работы мыслится по вопросу минерального сырья? Прежде всего надо отметить, что в центре такой исследовательской работы должно стоять исследование самого твердого минерального вещества. Это минеральное полезное вещество должно быть взято из месторождения не оторванно, а должно быть связано с изучением этого месторождения при его детальной промышленной разведке. Таким образом, основой всей дальнейшей работы является детальное изучение месторождения и выявление тех минеральных залегающих, которые имеют промышленную ценность.

Отсюда — вопрос связи с экспедиционной работой, вопросы изучения генезиса месторождения, связи с геологией, минералогией, петрографией месторождения.

Без такого углубленного изучения физико-химические и технологические лаборатории не получают правильно ориентированного материала. Работа же над материалом, взятым чужими руками, работа на месторождении, разведанном чистыми геологами, грозит часто бесполезной тратой времени и средств, так как сложный и дорогой технологический цикл исследований не будет основан на достаточно проверенном и точном материале. Таким образом, мы считаем, что работа института на месторождении минерального сырья должна быть работой по раскрытию его промышленной ценности.

Для этого необязательно, чтобы институт сам проводил разведки или обладал крупным геологическим отделом. Здесь необходимо, чтобы минерало-петрографическая группа института могла

участвовать в ряде промышленных разведок, чтобы определение промышленной ценности месторождения давалось данной разведочной организацией совместно с институтом. Мало того, самый ход разведок в области минерального сырья должен определяться и направляться технологической группой института. Даже для такого самого простого неметаллического сырья, как соль, при его разведке требуется постоянное указание со стороны технологов. Одна и та же свита пластов месторождения может дать соль различных видов примеси: один тип окажется необходимым для консервной промышленности, другой — для высших сортов засола, третий — для применения в пищу, четвертый — для целей химической промышленности и т. п. Но возьмем еще более простой пример — разведку песка. Если разведка определяется интересами стройиндустрии, то имеют значение главным образом мощность залегания и засоренность песка глинистой примесью. Если же в песке заинтересована металлургия и необходим так называемый формовочный песок, то мощность залежей не имеет большого значения, а исключительное значение имеют качественная сторона и изучение физических свойств песка, его газопроницаемость, плавкость и тому подобное.

Когда пробы минерала получаются с месторождения, они поступают к физико-химикам, к оптикам, в рентгеновские лаборатории, в физические кабинеты — для изучения их свойств. Свойства минералов используются рядом отраслей промышленности. Обычно на эту сторону раньше мало обращали внимания, и вы не найдете даже такой сводной таблицы свойств, которая объясняла бы их промышленное значение. Изучение свойств полезных минералов является одним из краеугольных камней возможности его применения промышленностью. Таким образом, институту нужно развивать и далее работу в области физико-химической и физико-технической. Наконец технологические лаборатории института вырабатывают типы технологических процессов для использования того или другого минера-

ла. Так как использование минерала зависит не только от его свойств, но и от его химического состава, то Институт прикладной минералогии опирается на сильную химическую группу, изучающую возможность выделения тех или других нужных элементов или группы элементов из данного минерала. Наконец минерал залегает в месторождении плотными массами; его нужно уметь взять оттуда. Способы добычи полезных минералов также входят в тематику института, и здесь, как ни странно, опять-таки большое значение приобретает физико-химическая лаборатория. Физико-химики, изучая строение твердого тела, дают возможность наиболее целесообразно и экономно вести его «разрушение», т. е. добычу. Группа экономистов, главным образом горных экономистов, вычисляет эффективность процесса, данного той или другой технологической лабораторией, составляет так называемое плановое задание, а конструктивное бюро работает над проектированием новых механизмов, аппаратов и приборов, разработанных технологической схемой.

Институт, следовательно, является в промышленность, давая ей технологически расшифрованный запас сырья — в смысле его использования для тех или других промышленных целей, дает способ добычи этого сырья и проект нового предприятия или цеха в существующем заводе. Таким образом строится научно-исследовательская работа, начиная от месторождения вплоть до предприятия.

Следует отметить, что значительное место необходимо уделить в дальнейшем методам проведения работ, созданию новой аппаратуры по методике этих работ. Крупное значение таких методических работ и конструирования новых аппаратов мы видим на примере оптической лаборатории, давшей чрезвычайно ценные новые аппараты, позволяющие заменить дорого стоящий длитель-

ный химический анализ анализом оптическим, при помощи микроскопа.

В новый этап жизни институт входит под лозунгом освоения промышленных месторождений минерального сырья, углубления и развития новых отраслей промышленности, подведения сырьевой базы под вновь возникающие отрасли.

Работа института переносилась в значительной мере на самые предприятия. В последнем годовом отчете было указано, что институт около 4.000 человеко-часов провел на самих предприятиях; некоторые из его сотрудников работают по три четверти года на рудниках — на самих предприятиях. Институт будет идти и дальше по этому пути. Что за польза от изобретения или открытия, от новой схемы, если промышленность по каким угодно причинам не осваивает ее, работая по-старому? Проблема, разрешаемая исследовательским институтом, может считаться законченной не тогда, когда она поступает в портфель дирекции в качестве отчета, а когда новый цех, новый аппарат или новый завод пущен в ход и дает стране улучшенный или совершенно новый продукт.

Институт никогда не был замкнувшейся в себе научной организацией; теперь в особенности он должен развернуть свою деятельность на нескольких предприятиях; его работники должны участвовать в промышленной разведке, ведущейся трестом или заводом; его технологи должны прорабатывать свои схемы в цехе; его конструктора должны конструировать аппараты совместно с конструкторским бюро управления или самого предприятия; его отчеты должны слушать производственно-технические совещания работников тех предприятий, на разрешение проблем которых направляется творческая мысль его сотрудников.

Вперед на фабрики и заводы! Вперед на помощь предприятиям в освоении техники!

# Литература и искусство

1, ПОСЛЕ СЪЕЗДА — ЗА РАБОТУ. 2. Н. БОГОСЛОВСКИЙ — Пушкин-критик.  
3. Н. СОБОЛЕВСКИЙ — Книга отчаяния и смерти. 4. Письма Баранже.

## 1. ПОСЛЕ СЪЕЗДА — ЗА РАБОТУ

Нет ни одного государства в мире, где бы писатели пользовались такой поддержкой и любовью со стороны своего правительства и народа, как у нас. В то время, когда в условиях всеобщего кризиса капитализма буржуазная литература вырождается, когда на средневековых кострах на площадях некоторых европейских столиц сжигаются бессмертные произведения величайших гениев политической и художественной мысли человечества, когда преследуются и заключаются в концентрационные лагеря революционные писатели пролетариата, когда многие творцы искусства современной Германии вынуждены или влачить нищенское существование, или лакейски угождать диктатуре фашизма, — в это самое время в Стране Советов самое прогрессивное в мире искусство совершает свое триумфальное шествие. Только в СССР, в стране победившего социализма, могло осуществиться такое огромной политической и культурной важности событие, как съезд писателей целой страны. Созвать всесоюзный съезд писателей оказалось возможным лишь потому, что советская власть достигла решающих успехов в деле построения бесклассового социалистического общества. Именно об этом говорили делегатам съезда в своей приветственной речи секретарь ЦК партии тов. Жданов. Первый всесоюзный съезд писателей, — сказал тов. Жданов, — собрался «в период, когда под руководством коммунистической партии, под гениальным водительством нашего великого вождя и учителя товарища Сталина

бесповоротно и окончательно победил в нашей стране социалистический уклад... Великое знамя Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина победило. Именно победе этого знамени мы обязаны тем, что здесь (в Колонном зале) собрался первый съезд советских писателей. Не было бы этой победы, не было бы и вашего съезда. Такой съезд, как этот, не собрать никому, кроме нас, большевиков»

На первом своем всесоюзном съезде советская литература выступила именно как всесоюзная, как многоязыкая и многонациональная по форме и единая по своим социалистическим целям литература. Об этом свидетельствовали доклады о развитии украинской, белорусской, татарской, таджикской, армянской, грузинской и других братских литератур союзных республик. В истории развития этих литератур, рассказанной докладчиками, особо важными являются следующие три момента: 1) литература национальных меньшинств влачила жалкое существование до Октябрьской революции. Осуществляя политику колониального грабежа и национального угнетения, русские помещики и буржуазия душили всякое прогрессивное проявление художественного творчества среди нерусских народностей, всеми силами препятствовали развитию национальных литератур. Только при советской власти, только при ленинской и сталинской национальной политике стал возможным быстрый расцвет литературы союзных народов, выявление художественных талантов из народа; 2) литература союз-



ных республик развивается в ожесточенной классовой борьбе с контрреволюционной националистической идеологией. Об этой борьбе особенно ярко рассказали докладчики об украинской и белорусской литературах, в которых совсем недавно были разоблачены агенты буржуазного национализма и иностранных интервентов; 3) путь литературы союзных республик — это путь беспощадного разоблачения всяческого проявления буржуазного национализма, путь боевого пролетарского интернационализма, единый путь со всей литературой Советского Союза. На этот путь встали сейчас все лучшие, наиболее талантливые писатели Украины, Белоруссии и других республик. Задача союза писателей состоит в том, чтобы осуществить самую тесную связь между всеми литературами Союза, самую деловую поддержку, самую деловую помощь в развитии братских литератур в союзных республиках.

Всесоюзный с'езд писателей был всесоюзным не только потому, что на нем присутствовали представители всех братских литератур союзных республик, но главным образом потому, что этот с'езд по программе своих работ, по своим задачам имел все союзное значение. Первый всесоюзный с'езд писателей готовили не только сами писатели и их организации, этот с'езд готовила вся страна. Партия и правительство окружили с'езд своим любовным вниманием. Центральная партийная и советская печать и вся печать Советского Союза с исключительной заботливостью и полнотой печатала информацию о с'езде. О том, с каким огромным интересом следила вся страна за работой с'езда, свидетельствовали приветствия бесчисленных делегаций на с'езде — делегаций рабочих крупнейших предприятий-гигантов, колхозов, Красной армии, комсомола и пионеров. Рабочие и колхозники, старые и новые кадры интеллигенции, комсомольцы и пионеры говорили о советской литературе, как о своем близком и родном деле, и справедливо требовали от писателей таких больших произведений, которые в ярких и цельных художественных образах отразили бы наше

героическое время, классовые битвы за коммунизм.

В чем специфическое отличие первого всесоюзного с'езда писателей от первых пленумов оргкомитета? Если к моменту первых пленумов оргкомитета, сейчас же после исторического решения ЦК от 23 апреля 1932 г., в литературе еще происходил процесс самоопределения некоторых наших писателей, если тогда речь шла о колебаниях того или иного писателя, то к моменту первого всесоюзного с'езда положение изменилось. К моменту с'езда большевизм одержал новую победу. В чем заключается эта победа? «В том, — отвечал в своем заключительном слове А. М. Горький, — что те из них (из писателей), которые считались беспартийными, «колеблющимися», признали с искренностью, — в полноте которой я не смею сомневаться, — признали большевизм единственной боевой руководящей идеей в творчестве».

А что отсюда следует? Следует, что основным и главным в работе с'езда должны были явиться не только политические декларации писателей, а постановка основных вопросов развития советской литературы (вопроса о советской литературе, как целостном организме, вопроса о мировой литературе, о поэзии, драматургии и др.). Что именно в эту сторону с'езд должен был направить свое внимание, это хорошо понимают сами наши писатели. Приведем в пример выступление Сейфуллиной на с'езде: «Это первый писательский с'езд в мире, — сказала Сейфуллина, — и поэтому неудивительно, что мы, первые делегаты этого с'езда, находились в смущении — о чем говорить с этой трибуны? Учить ли, как писать, рассказывать ли о своей преданности советской власти, в которой советская власть не может сомневаться, потому что, будучи писателями Советской страны, мы не можем быть враждебными этой стране. Если бы мы были ей враждебны, мы были бы лжецами и не нашли бы своего читателя. Значит, разговор идет не об этом словесном признании, а об обязательствах, которые это признание на нас накладывает. Цель и задачи этого с'езда — создание бое-

способного, победоносного союза советских писателей, победоносного творчески. И вот что может приблизить нас к этой цели — созданию такого союза?»

Таким образом, сами писатели формулировали то особенное, что отличало первый съезд писателей от первых пленумов оргкомитета. Как создать творчески боеспособный союз советских писателей? Что может приблизить нас к этой цели? — вот основной вопрос, на который съезд должен был дать свой ответ, и под углом зрения этого вопроса необходимо рассматривать работу съезда.

Съезд заслушал большой руководящий доклад А. М. Горького о советской литературе, как едином всесоюзном отряде советского искусства. В своем большом докладе Алексей Максимович в развернутом виде поставил вопрос об историческом происхождении и развитии литературы, отражающей интересы трудящихся классов. Он подробно осветил роль устного творчества народных масс (фольклора) в истории культуры, блестящими примерами показал творческое бессилие буржуазной Европы, дал суровую классовую оценку озлобленно-индивидуалистической литературе реакционной мелкой буржуазии типа Достоевского, подверг самокритике основные недостатки и наметил основные задачи советской литературы. Каковы эти основные задачи? «Развитие революционного самосознания пролетариата, его любви к родине, создаваемой им, и защита родины — одна из существенных обязанностей литературы». Советская литература должна активно бороться за создание бесклассового общества. «С высоты этой великой цели, — говорил Горький, — мы, честные литераторы Союза Советов, и должны рассмотреть, оценить, организовать свою деятельность». Такова основная, высокая и ответственная задача советской литературы, отчетливо сформулированная великим пролетарским писателем А. М. Горьким. Алексей Максимович правильно определил характер основного героя советской литературы. Герой советской литературы — это человек труда, в

классовой борьбе создающий новое социалистическое общество.

Съезд большое внимание уделил драматургии. Чрезвычайно существенными являются предложение Алексея Максимовича о создании всесоюзного театра, который должен знакомить советских зрителей с творчеством всех народов Советского Союза, и предложение о создании театра классиков. «Я уверен, — сказал Горький, — что организация всесоюзного театра и театра классиков очень поможет нам освоить высокую технику древних и средневековых драматургов, а драматургия братских республик расширит пределы тематики, укажет новые, оригинальные коллизии».

Впервые по-серьезному был поставлен в докладе тов. Маршака и вопрос о детской литературе. До самого последнего времени у нас наблюдалась явная недооценка детской литературы. Многие наши маститые писатели относятся к созданию детской литературы, как к делу второстепенному. «Наши сочинители, — говорил на съезде Горький, — как будто считают ниже своего достоинства писать о детях и для детей». У нас не было ясности в вопросе о типе детской литературы. По-левацки отрицалась сказка. Между тем ясно, что сказка должна занять прочное место в детской литературе. Нашим детям нужны и романтика, и реализм. Все дело в философии детской литературы. Если раньше, по словам Маршака, в дореволюционной детской книжке царили тишь да гладь, да божья благодать, уважение к буржуазной собственности, шовинизм, поповщина и т. п., то социалистическая детская книжка должна воспитывать детей в духе непримиримой ненависти к идеологии эксплуататоров, к идеологии мещанства, в духе беззаветной готовности жить и умереть за социалистическую родину. Нам необходимо побольше таких детских книг, как «Великий план» Ильина, как «Кара-Бугаз» Паустовского, как «Республика Шкид» Белых и Пантелеева, как «Швамбрания» Кассиля и др.

В докладе Н. И. Бухарина была сделана серьезная попытка разрешить вопрос о путях развития советской поэзии.

Тов. Бухарин правильно акцентировал свое внимание на сугубо насущной необходимости повышения качества нашей советской поэзии. Было бы глубоко неправильным и хвостистским в самом факте самокритики в отношении ряда пролетарских писателей (Бедного, Безыменского, Жарова и др.) усматривать стремление снизить роль пролетарской поэзии. Звание пролетарских поэтов в теперешней обстановке оправдывается не голым, схематичным рифмованием политических лозунгов и передовиц центральной прессы, а созданием глубоко философских произведений с развитыми типичными характеристиками нашей эпохи. А эта задача предполагает серьезную учебу, как в смысле освоения марксистско-ленинской теории, так и в смысле критического освоения классических образцов литературы прошлого и настоящего. Само собою разумеется, что такая постановка вопроса о пролетарских поэтах должна сочетаться с такой постановкой вопроса о других наших советских поэтах (напр. о Пастернаке, Сельвинском и др.), которая бы не давала этим поэтам никакого повода для самоуспокоения, никакого повода для мысли о том, что они выше и лучше некоторых пролетарских поэтов или что уже снимается вопрос о гегемонии пролетарской идеологии в поэзии. Таким поэтам, как Пастернак и Сельвинский, при всей их талантливости еще очень и очень много надо поработать над усвоением марксистско-ленинизма для того, чтобы их творчество могло с наибольшей полнотой служить задачам политической борьбы пролетариата. Самокритика должна распространяться на всю советскую поэзию в целом.

Огромные политические задачи диктуются нам современной международной обстановкой. Рост фашизма, как циничной и кровавой диктатуры буржуазии, назревание новой империалистической войны за передел мира и новых революционных взрывов, — все это выдвигает перед революционной литературой всего мира задачу подготовки многомиллион-

ных масс рабочего класса и всех трудящихся к борьбе за превращение империалистической войны в войну гражданскую, к борьбе за СССР — родину всех угнетенных, — к борьбе за окончательное уничтожение капиталистического рабства и торжество социализма во всем мире.

И правильно поступил тов. Радек, когда он свой доклад о мировой литературе построил применительно к политическим задачам пролетариата на Западе и Востоке. С политической точки зрения, докладчик правильно определил свою задачу, когда он анализировал буржуазную литературу под углом зрения отношения этой литературы к трем событиям всемирно-исторического значения — отношения этой литературы к империалистической войне, к Октябрьской революции и к фашизму в условиях всеобщего кризиса капитализма. Буржуазная литература защищала интересы империализма во время мировой войны, а затем сочиняла политические памфлеты на Октябрьскую революцию. Мелкобуржуазная пацифистская литература (Ремарк, Жюль Ромен, Уэлс и др.) потерпела жалкое банкротство, она объективно служила и служит интересам капитализма. Во время войны только два писателя боролись за интересы пролетариата — Максим Горький и Мартин Андерсен-Нексэ. В огне империалистической войны зарождалась новая революционная литература (Барбюс), а затем, после Октябрьской революции и ряда революций в срединной Европе, развитие пролетарской литературы пошло более ускоренным темпом. Сейчас уже существует передовой авангард пролетарской литературы на Западе и Востоке. В первых рядах этого авангарда идут героические пролетарские писатели Японии и пролетарские писатели в фашистской Германии.

Сейчас, когда наступает фашизм и готовится новая империалистическая война, происходит раскол и в самой буржуазной литературе. Самые передовые и лучшие писатели Запада идут к нам. Увеличивается шеренга писателей, во главе которой стоят Ромэн Роллан, Андре Жид, Теодор Драйзер, Мальро и

другие. Перед писателями буржуазного Запада два пути: или в болото пацифизма и индивидуализма, за диктатуру буржуазии, за фашизм, или за диктатуру пролетариата, за коммунизм. Устами своих лучших представителей, присутствовавших на с'езде, передовые писатели Запада и Востока сказали: мы за коммунизм! В своей речи на с'езде французский писатель Жан Ришар Блок сказал: «Личность сейчас находится на распутье, перед нею две дороги. Одна ведет к индивидуализму, то-есть, иначе говоря, к порабощению капитализмом и к уничтожению личности... Другая дорога ведет нас к коммунизму. Это та дорога, которую мы выбрали».

Английская писательница Вильямс Эллис заявила: «Первая рабочая республика — единственная вещь в мире, за которую я хотела бы жить и умереть».

Советские писатели, пролетарские и революционные писатели Запада должны помочь наиболее честным и сознательным писателям перейти на нашу сторону. При этом мы должны открыто сказать нашим друзьям, что задача писателей, приближающихся к нам, состоит не только в том, чтобы выражать свое сочувствие Советскому Союзу, не только в готовности умереть за первую рабочую республику, но и в том, чтобы бороться против врага в своей собственной стране, чтобы помочь пролетариату своей собственной страны поскорее осуществить революцию и похоронить фашизм. Эту задачу близкие нам писатели не смогут разрешить, если они будут беспринципно фотографировать действительность по методу Джойса. Идущие к нам писатели смогут выполнить свою революционную роль лишь в том случае, если они пойдут по пути социалистического реализма. Помочь приближающимся к нам писателям встать именно на этот политический и творческий путь, — такова существенная задача пролетарских и революционных писателей Запада и Востока.

ших успехах, что отныне основные вопросы развития советской литературы уже окончательно решены, что каждый тезис того или иного доклада является непреклонным законом и непрелюдной директивой. Смотреть на дело таким образом — значит не понимать сложности задач, стоящих перед советской литературой. Эти задачи нельзя решить в один присест, посредством одного или нескольких докладов. В докладах на с'езде были поставлены на разрешение существенные вопросы развития советской литературы. Однако, как сказал в своем выступлении тов. Стецкий, «это отнюдь не значит, что каждый доклад является каким-то канонем, какой-то платформой, где каждая запятая, каждое слово не подлежат никакому изменению и обязательны к неуклонному исполнению. Это было бы стеснением творческой инициативы. У нас нет также никаких решений партии и правительства о том, чтобы давать официальные характеристики и оценки отдельным писателям... Это было бы проявлением величайшего бюрократизма, а вы знаете, что нет более непримиримого борца с бюрократизмом, чем наша партия».

Без самой смелой самокритики, без деловой теоретической дискуссии невозможно дальнейшее развитие советской литературы. Перед советской литературой стоит во весь рост целый ряд проблем, над разрешением которых необходимо неустанно работать. Основной и первоочередной проблемой является проблема нашей критики. Ведь фактом является то, что наша критика, призванная бороться за гегемонию пролетарской идеологии в литературе, на с'езде молчала. Повидимому, ей нечем было похвалиться. Мы не можем похвалиться наличием у нас высокопринципиальной, философски обоснованной критики. Это обстоятельство было констатировано с трибуны с'езда А. М. Горьким в его заключительном слове. «При отсутствии серьезной философской критики, так печально показанной фактом немоты профессиональных критиков на с'езде, нам, — сказал Горький, — необходимо самим приняться за самокритику не на словах, а на деле».

Неправильно было бы думать, что после с'езда можно успокоиться на на-

В таком положении находится наша критика. Но разве не критика обязана разрешать основные вопросы развития советской литературы? Разве не она обязана вести вперед все еще отстающую от жизни литературу? Вопрос о критике — это вопрос о роли пролетарского мировоззрения в литературе. Между тем некоторыми нашими горе-критиками открыто проповедуется тезис о допустимости и целесообразности противоречия между мировоззрением и реалистическим методом изображения действительности в советской литературе. Подобная постановка вопроса о методе и мировоззрении означает ставку на самотек. И против этого самотека необходимо вести самую решительную борьбу.

Советская литература является продолжением и развитием лучших образцов литературы прошлого. На эту сторону дела отчетливо указал секретарь ЦК тов. Жданов в своем приветственном слове: «Критическое освоение литературного наследия всех эпох предстает перед нами задачей, без решения которой вы не станете инженерами человеческих душ». Это значит, что мы должны унаследовать и использовать в целях учебы классические образцы реализма и романтизма рабовладельческого, феодального и помещичье-буржуазного общества. Это значит, что например к буржуазному реализму и романтизму нельзя подходить, как к сплошному явлению, нельзя утверждать, что будто бы буржуазный реализм во все времена был только «критическим», что он не утверждал нового и прогрессивного в действительности. Как правильно указал тов. Жданов, были «времена, когда буржуазная литература, отражавшая победы буржуазного строя над феодализмом, могла создавать великие произведения периода расцвета капитализма».

На с'езде положено начало существованию единого союза советских писателей. Однако существование единого союза советских писателей отнюдь не снимает вопроса о различных идейных те-

чениях в советской литературе. В советской литературе существуют различные творческие течения. Обеспечить полную победу идейному течению социалистического реализма и социалистической романтики, — такова задача союза. Задача критики состоит в том, чтобы конкретно изучить литературу и правильно решить основной принципиальный вопрос литературы — вопрос о социалистическом реализме. Этот вопрос нельзя решить с помощью какой-либо не марксистской, например с помощью богдановской, методологии. Вопрос о социалистическом реализме может быть правильно разрешен только на основе глубокого усвоения метода Маркса — Энгельса — Ленина и Сталина.

Нет сомнения в том, что советская литература разрешит стоящие перед ней проблемы. Залог этого в том, что она развивается под руководством партии большевиков, вооруженной самой передовой теорией — теорией марксизма. Советская литература — самая передовая литература в мире, ибо она глубоко проникнута революционной тенденцией. Мы открыто говорим, что наша литература тенденциозна. Но что такое тенденциозность в нашей литературе? «Я думаю, — сказал на с'езде тов. Жданов, — что каждый из советских литераторов может сказать любому тупоумному буржуа, любому филистеру, любому буржуазному писателю, который будет говорить о тенденциозности нашей литературы: да, наша советская литература тенденциозна, и мы гордимся ее тенденциозностью, потому что наша тенденция заключается в том, чтобы освободить трудящихся — все человечество — от ига капиталистического гнета».

Будем же после первого всесоюзного с'езда писателей бороться за окончательную победу великой тенденции социализма в советской литературе! За глубокое усвоение марксистской теории, за высокохудожественные произведения, за практическую работу!

## 2. ПУШКИН-КРИТИК

### Н. Богословский

Многогранность пушкинского творчества, широта его умственных интересов, носившая характер подлинной энциклопедичности, разносторонность его дарований даже и теперь с трудом поддаются учету. Литературное наследие Пушкина показывает, что в круг затрагиваемых им вопросов и в круг его занятий входили и языкознание, и география, и математика, и изобразительные искусства, и политика вплоть до специально экономических вопросов, не говоря уже о постоянных занятиях историей, критикой и теорией литературы.

В библиотеке Пушкина мы найдем книги по статистике, философии, этнографии, естествознанию, юриспруденции, медицине, языковедению, не говоря о сотнях томов исторических трудов, о сотнях книг по литературе. Разносторонность эта самым непосредственным образом сказалась и на творчестве его. «Достаточно бегло просмотреть сочинения Пушкина,—пишет В. Я. Брюсов,—чтобы отметить, что в его стихах, повестях, драмах отразились едва ли не все страны и эпохи, по крайней мере связанные с современной культурой». Античный мир, древний и новый Восток, мир ислама, европейское средневековье, почти все страны новой Европы: Англия, Шотландия, Германия, Италия, Франция, Португалия, Испания, Литва, Польша, Финляндия, Америка, дикие страны; русская история чуть ли не от истоков ее до современных Пушкину событий, — все это нашло то или иное отражение в творчестве Пушкина.

Рассматривая усвоенные Пушкиным и переработанные им явления мировой литературы, мы сталкиваемся с необозримым многообразием влияний, которые проникали в его поэзию. «Вспоминается конечно Гете, но судьба ему дала свыше 80 лет жизни и почти 70 лет творчества, тогда как вся деятельность Пуш-

кина втиснута меньше чем в 25 лет, включая и школьные опыты»<sup>1)</sup>).

Пушкин—стихотворец, прозаик, драматург, переводчик, критик, историк, редактор...

В области стиха — лирика, эпос, драма. Послания, эпиграммы, сатиры, элегии, романсы, мадригалы, оды, баллады, стансы... Самые трудные формы стиха, сложнейшие строфические построения, виртуозная звукопись, использование буквально всех размеров русского стиха. Поэмы сказочные, лирические, исторические, пародийные. Стихотворная сказка, повесть, драма, роман. В области прозы — исторический роман и повесть, бытовые новеллы, социально-исторические, критические, историко-литературные статьи, исследования.

В чем социальный смысл многогранности пушкинского творчества? В том, что оно явилось не только высшим выражением расцвета дворянской культуры, но и разрывало рамки сословной замкнутости в силу того, что Пушкин глубоко пережил процесс деклассации, наложившей неизгладимые следы на его творчество. Пушкин стоял на грани двух культур. Он был свидетелем угасания русского классицизма, стиля, созданного феодально-дворянским классом. На его глазах дозрел и растворился сентиментализм, зародившийся еще в конце XVIII века. Пушкин в начале 20-х годов сам явился одним из создателей романтического стиля, возникшего в эпоху обозначившегося упадка феодальной экономики и нарастания промышленного капитализма. Наконец Пушкин в 30-х годах, в пору окончательно наметившегося распада феодальных отношений, закладывает основы реалистического стиля.

Таковы в самых общих чертах основные этапы, пройденные литературой в

<sup>1)</sup> В Брюсов, «Мой Пушкин», 1929, ГИЗ, стр. 269.

начале XIX века. В творчестве Пушкина создаваемое преломляется с унаследованным, давая новые богатые сочетания. Отсюда все разнообразие жанров, разработанных методами уходящих стилей и рождавшихся в процессе развития новых.

Конечно все это возникало у Пушкина не самопроизвольно, а было следствием постоянной, длительной и напряженной работы над расширением своего творческого опыта. «Друзья Пушкина единогласно свидетельствуют, что, за исключением двух первых годов его жизни в свете, никто так не трудился над дальнейшим своим образованием, как Пушкин...» (Анненков. «Материалы», 1873, стр. 43). «Авторство у него все время протекало параллельно с чтением» (там же, стр. 13).

Выходя из круга художественного творчества, Пушкин охотнее всего отдавался историческим занятиям, критике и теории литературы. Из всех сторон «побочной», т. е. не поэтической, деятельности Пушкина наибольший интерес и наибольшую важность для нас представляет конечно его работа в области критики. Широким кругам читателей с этой стороны Пушкин менее всего известен, а между тем объем его литературно-критической работы очень велик. Она выразилась не только в статьях, заметках и письмах, но и в художественных произведениях Пушкина.

Ни у одного из русских классических поэтов XIX века литература и все связанное с нею не занимали такого огромного места в творчестве, как у Пушкина. Все, начиная от самых глубоких и отвлеченных вопросов о назначении и судьбе поэта, о целях и смысле искусства, о месте искусства в жизни и кончая самой «грязной» действительностью литературного быта в бюрократическо-полицейском государстве, было осознано, взвешено, продумано и оценено Пушкиным в его произведениях. Все, начиная от поэта-«пророка» и кончая увидавшейся около III отделения «Северной Пчелой», входило в поле зрения Пушкина.

Мы найдем здесь и размышления о борьбе литературных стилей, и раскры-

тие принципов своей поэтики, и тонкие самооценки и, если угодно, своеобразную, распыленную «историю мировой литературы».

Возьмите только перечень имен писателей и названий книг, так или иначе затронутых Пушкиным лишь в его художественных произведениях. Это — подлинная энциклопедия от Анакреона до Языкова. Пушкин высказался здесь о множестве писателей, начиная с представителей античной литературы и кончая «журнальными балагурами» своего века.

В истории русской литературы XIX века нет другого примера такой интенсивной, такой глубокой переработки и универсального освоения наследия мировой литературы. Это сказывается у Пушкина и в великом, и в малом. «Мера за меру» — драма Шекспира, претворенная Пушкиным в «Анджело» (по собственному его отзыву, лучшее из всего им написанного), и сознательный «плагиат» одной строки из творений метромана Боброва («Мне хотелось у него что-нибудь украсть»), — вот два ярких примера, которые показывают широту диапазона Пушкина. Возьмем самых разнородных русских поэтов XIX века — Жуковского, Батюшкова, Баратынского, Тютчева, Лермонтова, Фета. Разве кто-нибудь из них оставил следы такого пытливого усвоения мировой литературы? Разве кто-нибудь из них впитал в себя такое обилие поэтических культур древности и Запада? Разве кто-нибудь из них был центром скрещения и борьбы стольких разнородных влияний? Сопоставление это отнюдь не снижает значения того или иного поэта, а лишь оттеняет особый характер творчества Пушкина, выраженный с такой небывалой силой благодаря его особой восприимчивости и гениальному трудолюбию.

Отклики на литературные темы в произведениях Жуковского, Батюшкова, Баратынского и количественно, и по широте захвата не могут быть сопоставляемы с пушкинскими высказываниями. Лермонтов, Тютчев и Фет в своей поэзии не оставили почти никаких следов интереса к литературным вопросам.

Иное дело — Пушкин. Он усваивал, оценивал, воссоздавал, переплавлял в своем творчестве материал античных поэтов, Данте, Шекспира, Вольтера, Гете, Байрона и других творцов мировой литературы. Он пересмотрел в художественных произведениях литературные репутации чуть ли не всех своих отечественных предшественников.

Боле того, он «рецензировал» в своих стихах, поэмах множество книг и отдельных произведений, бросая конечно самые скупые, самые сжатые, но всегда меткие и глубокие характеристики их.

15-летний Пушкин и в печати дебютировал чисто литературным стихотворением («К другу стихотворцу»). Уже здесь он как бы спешит заявить о своем отношении к Державину, Ломоносову, Тредьяковскому и др. Затем в продолжение всей своей поэтической деятельности Пушкин не переставал откликаться на литературные темы. Если бы он не оставил огромного количества статей, заметок и набросков, если бы до нас не дошла его переписка, в которой он встает во весь рост именно как литературный критик, то и тогда, лишь на основе его поэтических созданий и художественной прозы, мы могли бы составить достаточно ясное представление об его критическом даровании.

В переписке Пушкина литература и все связанное с нею занимают также совершенно исключительное место. Друг поэта П. А. Плетнев первый подметил эту черту его переписки. «Не касаясь совершенно частных писем, из одних его чисто литературных мнений конечно можно составить любопытное дополнение к его сочинениям»... «Все на него действовало необыкновенно сильно, но литература была исключительно любимой его сферой»<sup>1)</sup>.

В письмах Пушкина, так же, как и в художественных его произведениях, кристаллизовались его заветные мысли об искусстве, о языке, о вдохновении, о драме, о прозе, о предшественниках и современниках... В ней отразилась и му-

чительная борьба его с «воровской шайкой» в литературе (Булгарин, Греч), и все прелести журнальных дразг, и вся грязь литературного быта моровой посылы николаевской эпохи.

В ней мы найдем обширные трактаты о драматическом искусстве<sup>1)</sup> «рецензии» на книги<sup>2)</sup>, антикритические статьи<sup>3)</sup>, подробные разборы отдельных произведений<sup>4)</sup>, мимолетные шутки о журналах, писателях и критиках.

Литературные высказывания в переписке Пушкина часто совершенно сливаются с его выступлениями в области критики и могут рассматриваться наряду с его статьями и заметками как материал для всестороннего анализа его теоретических взглядов.

Печать живого и глубокого интереса к литературе лежит на всей переписке поэта. Еще в 1816 г. юноша Пушкин жалуется Вяземскому, что его держат в лицейском «заточении», не позволяя участвовать «в невинном удовольствии погребать Академию и Беседу Губителя Российского Слова».

Почти через двадцать один год, в день дуэли, за несколько часов до нее, он пишет А. О. Ишимовой последнее свое письмо, препровождая ей томик Барри Корнуоля для перевода его драматических сцен, с которыми Пушкин-редактор намеревался познакомить читателей своего «Современника».

Суждения Пушкина о литературе, взятые из его художественных произведений, лишь условно можно рассматривать как суждения критические. Эпиграммы например могли быть прекрасным оборонительным оружием, но «сатира не критика, эпиграмма не опровержение» — писал сам Пушкин.

В письмах он очень часто выступал как литературный критик, но выступал перед самым ограниченным кругом друзей. Письма его довольно редко делались достоянием журналов, хотя и писа-

<sup>1)</sup> Письмо к Н. Н. Раевскому.

<sup>2)</sup> Письмо к А. Ф. Воейкову о гоголевских «Вечерах на хуторе».

<sup>3)</sup> Письмо к П. А. Плетневу о «Полтаве».

<sup>4)</sup> Письмо к П. А. Вяземскому о его «Нарвском водопаде», письмо к Погодину о его драме «Марфа-Посадница».

<sup>1)</sup> П. А. Плетнев. Сочинения, т. III, СПб, 1865, стр. 241.



лись иногда в расчете на опубликование. Для настоящей критики необходимо было иметь свой орган. По цензурным условиям того времени и по целому ряду других причин Пушкину такая возможность представилась только дважды и на очень недолгие сроки... Мы говорим о той поре, когда он сотрудничал в «Литературной Газете» Дельвига в 1830 г., и о 1836 г., когда он получил наконец разрешение издавать «Современник». Только здесь Пушкину открывалась возможность более или менее широко выступить в роли критика, не стесняя себя рамками того или иного чуждого по направлению журнала, не считаясь со вкусами редакторов — издателей тогдашней периодики. Обе эти возможности Пушкин использовал, насколько мог. Именно на 1830 и 1836 годы, когда в руках его были «Литературная Газета» и «Современник», падает наибольшее количество напечатанных критических статей и заметок. Сотрудничество Пушкина-критика в остальных журналах и альманахах носило эпизодический характер<sup>1)</sup>.

Если взять лишь напечатанные при жизни Пушкина статьи и заметки, то работа его в качестве критика может показаться более или менее спорадической. Но, обращаясь к множеству его неизданных и незаконченных статей, заметок и набросков, мы видим, что наряду с творческой работой Пушкин, в сущности говоря, все время уделял огромное внимание работе критической. О постоянстве тяготения Пушкина к критике свидетельствует то, что первая критическая заметка «Мои мысли о Шаховском» набросана 16-летним мальчиком, уже считающим себя полноценным участником литературных боев и дискуссий со «староверами-архаистами». С 1824 года работа в области критики становится почти непрерывной до са-

мой смерти. Последняя статья «Последний из свойственников Иоанны д'Арк» относится к первым числам января 1837 г. (т.-е. была написана за несколько недель до смерти).

Прежде чем рассматривать подробнее литературно-критические взгляды Пушкина, напомним читателю хотя бы в самых общих чертах об узловых моментах формирования русской критики, которая ко времени вступления Пушкина в литературу находилась еще в совершенно младенческом состоянии и лишь постепенно возникала на его глазах, подготавливая явление Белинского. Грамматика, риторика, «правила пиитические», «способы к сложению российских стихов» — вот первые вопросы, породившие ожесточенные бои между представителями различных социальных прослоек в литературе XVIII в. Здесь не место выяснять исторический смысл «корпения над запятыми» и «неистовств, творимых писателями в боях за каждую букву». В боях этих возникла строгая поэтика придворно-аристократического классицизма. В этот период выработки нового русского литературного языка критика не ушла дальше споров о «подлом» и «высоком» стиле.

Споры о «подлом» и «высоком» стиле на иной основе, в иных условиях вспыхнули затем в годы зарождения русского сентиментализма. К концу XVIII в. придворно-аристократическая литература явно изживает себя. Литература дворянская покидает дворцы и переносится в салоны и в усадьбы. Аудитория несколько расширяется, хотя круг «ценителей прекрасного» все еще очень узок. Но и с рождением сентиментализма критика все-таки не уходит дальше споров о языке. Само название книги А. С. Шишкова — «Рассуждение о старом и новом слоге» (1803), положившей начало полемике карамзинистов с «Беседой», ясно указывает на узость русла, в котором протекали основные литературные споры той эпохи. Художественная практика Карамзина, Жуковского и др., подготавливавшая почву для Пушкина, имела несравненно большее значение, нежели их случайные выступления в роли

<sup>1)</sup> В «Московском Телеграфе» — две статьи, в «Северных Цветах» — две статьи, в «Русском Инвалиде» — одна статья и письмо к издателю, в «Телескопе» — две статьи. В «Современнике» же всего лишь за год он напечатал 25 статей и заметок. Одно это уже говорит о том, что Пушкин не смотрел на критику как на случайное для себя занятие.

критиков. Карамзин даже не считал критику «истинной потребностью нашей литературы». «Точно ли критика научает писать, не гораздо ли сильнее действуют примеры, и не везде ли талант предшествовал ученому, строгому суду? Пиши, кто умеет писать хорошо: вот самая лучшая критика на дурные книги. Глупая книга есть не сильное зло в свете. У нас же так мало авторов, что не стоит труда и поучать их. Но если выйдет нечто изрядное, то отчего не похвалить?» Вслед за Карамзиным и Жуковский недоуменно спрашивал: «Какую пользу может принести в России критика? Что прикажете критиковать? Посредственные переводы посредственных романов? Критика и роскошь — дочери богатства, а мы еще не Крезы в литературе» («Письмо из уезда к издателю «Вестника Европы»).

Единственным более или менее крупным теоретиком и критиком начала XIX в. был А. Ф. Мерзляков. Но и Мерзляков восклицал, указывая на сердце: «Вот где система!»

О защитнике авторитетов «российского Парнаса» от «новейших пачкунов», о М. Т. Каченовском как о литературном критике говорить почти не приходится. Если его деятельность в качестве историка и имела некоторое значение, то на критическом поприще он подвизался без всякого призвания, а лишь по праву или по обязанности редактора-издателя «Вестника Европы».

За перечисленными критиками стояла фаланга пигмеев, работа которых даже под увеличительным стеклом специальных исследований еле различима.

Такова была в самых общих чертах критика предпушкинской поры. Переход от стилистических споров и мелких, чаще всего придирчивых разборов к критике, основанной уже на известных эстетических принципах, связан с дальнейшим развитием карамзинской школы.

Но достаточно взглянуть на социально-бытовой фон литературной деятельности «Арзамаса», чтобы заметить, что она протекала в узком, избранном кругу и носила, так сказать, домашний характер. Арзамасец С. Уваров пишет в своих воспоминаниях: «Направление этого

общества, или, лучше сказать, этих приятельских бесед, было преимущественно критическим. Лица, составляющие его, занимались: строгим разбором литературных произведений...» Само собой разумеется, что подлинная критика не могла иметь широкого развития в приятельских беседах. Серьезное влияние она могла получить лишь с широким развитием журналистики и профессионализации писательского труда. Последнее могло осуществиться в полной мере лишь с расширением социального состава как читательской массы, так и деятелей литературы. Камерная, кружковая, салонная литература должна была изжить себя и уступить руководящую роль журналистике. С 1801 г., когда в России издавалось всего 10 журналов, до 1820 г. возникло более 100 новых журналов. Неслучайно «Арзамас» сходит со сцены в 1818 г., после провала попытки издать свой журнал. Именно к 1820 году Н. И. Греч относит возникновение «в литературе нашей новой эры ассигнационного века»<sup>1)</sup>. Пушкин сам довольно точно обозначил время и характер наметившегося перелома: «Литература, — писал он в 1836 г., — стала у нас всего около 20 лет значительной отраслью промышленности. До тех пор она рассматривалась только как занятие изящное и аристократическое. Г-жа де-Сталь говорила в 1811 г.: «...в России несколько дворян занимаются литературой» («Десять лет изгнания»). Никто не думал извлекать других плодов из своих произведений, кроме успеха в обществе...» Начало деятельности Пушкина совпадает с этим ясно обозначившимся переломом в характере литературной жизни эпохи. Если еще в 1820 году Пушкин мог сказать, что «всего приятнее пестрить стихами скучную прозу жизни», т. е. смотрел еще на стихотворство, как на забаву, то уже двумя годами позже он решительно отмечает от себя аристократические предубеждения, спокойно и трезво смотрит на поэзию, как на ремесло. «Не думайте, чтобы я смотрел на стихотворство с

<sup>1)</sup> «Записки о моей жизни». «Academia». 1930, стр. 648.

детским тщеславием рифмача или как на отдохновение чувствительного человека: оно просто мое ремесло, отрасль частной промышленности, доставляющая мне пропитание и домашнюю независимость» (1824).

Эта особенность социального бытия Пушкина наложила отпечаток на всю его литературную деятельность. В известной мере ею объясняется и острый всесторонний интерес его ко всем даже мельчайшим вопросам литературной жизни, и постоянное тяготение к журналистике. В переписке его, как мы увидим ниже, упоминания о необходимости создать свой журнал сделались почти постоянными с 1824 г. Но не для стихов и поэм, которые он мог печатать в любом журнале, Пушкин пытался создать свой орган, а именно для насаждения «истинной критики», ибо с первых же шагов в литературе ему пришлось убедиться в неопишемом ее убожестве.

Нам придется уделить некоторое внимание взглядам Пушкина на критику и его полемическим выступлениям против современников-журналистов, потому что в литературной переписке Пушкина, в его статьях и набросках вопросы эти занимают одно из главных мест. Читатель, ознакомившийся с нашей книгой<sup>1)</sup>, увидит, что «обиняки», «анекдоты», «личности», «филологические» придирки, выдаваемые за критику, и наконец требования чинности и благопристойности, подчинения господствующему вкусу общества и расчетам правительства не давали покоя Пушкину с момента выступления его в литературе и заставляли его все время твердить о необходимости истинной критики.

Выход в 1820 г. «Руслана и Людмилы» вызвал в журналах настоящую войну. М. Каченовский в «Вестнике Европы» уподобил появление Пушкина в литературе вторжению в «Московское благородное собрание гостя с бородой, в армяке и в лаптях, который закричал зычным голосом: здорово, ребята!» В «Сыне Отечества» бормотали что-то о

«мужицких» рифмах, о выражениях, оскорбляющих «хороший вкус». Слово «достигла» находили «очень высоким», а слово «да» — наоборот «низким» и т. п. И бранные, и одобрительные статьи о «Руслане и Людмиле» выглядели, в сущности, одинаково. Больше всего в них говорилось о «правилах хорошего тона» в применении к литературе. Рецензенты учили Пушкина русскому языку, пускались в филологические домогательные изыскания, затевали пустопорожные препирательства между собой, мимоходом толкуя и о поэме.

В спорах о «Руслане и Людмиле» журнальная критика показала себя во всей красе. Через два года ссыльный Пушкин очень трезво, без всякой «отеческой нежности», разобрав в письме к Гнедичу недостатки своего «Кавказского пленника», заметил: «Впрочем наши Аристархи не в состоянии критиковать меня основательным образом... тяжкие критики их меня мало беспокоят, они столь же безвредны, как и тупы». С тех пор Пушкин не устает твердить об отсутствии в России критики. «Критики у нас, чувашей, не существует» — писал он Вяземскому в 1824 г.

Когда Бестужев в «Полярной Звезде» на 1825 г. высказал мысль, что «у нас есть критика и нет литературы», Пушкин поспешил опровергнуть его утверждение: «Именно критики у нас и недостает... Мы не имеем ни единого комментария, ни единой критической книги. Что же ты называешь критикой? «Вестник Европы» и «Благонамеренный»? «Библиографические известия» Греча и Булгарина? свои статьи? Но признайся, что все это не может установить мнения в публике, не может почтиться уложением вкуса. Каченовский туп и скучен, Греч и ты остры и забавны, — вот и все, что можно сказать об вас — но где же критика? Нет, фразу твою скажем наоборот: литература кое-какая у нас есть, а критики нет».

В том же 1825 г. он писал Вяземскому: «Заметил ли ты, что все наши журнальные антикритики основаны на сам с'е шь? Булгарин говорит Федорову: ты лжешь. Федоров отвечает Булгарину — сам ты лжешь. Полевой го-

<sup>1)</sup> «Пушкин-критик» (Пушкин о литературе). Составил и комментировал Н. В. Богословский. (Выходит в ближайшее время в издательстве «Academia».)

ворит Пинскому — ты невежда. Пинский отвечает Полевому — ты сам невежда. Один кричит: ты крадешь! Другой: сам ты крадешь! И все правы».

Таков был характер беспорядочной журнальной критики начала 20-х годов, когда во всех журналах одно из главных мест занимали «Парижские моды». Пустыми, ничтожными антикритиками заполнялись почти все страницы журналов. Конкурируя между собою, издатели на все лады позорили друг друга, не оставляя без ответов и опровержений ни малейшего обвинения. Полевому приходилось защищаться от упреков Булгарина в том, что он, Полевой, неверно переводит с французского подписи под картинками мод и в свою очередь обвинять в том же самом Булгарина («сам с'ешь»).

«Состояние критики само по себе показывает степень образованности всей литературы вообще, — писал Пушкин. — Если приговоры журналов наших достаточны для нас, то из сего следует, что мы не имеем еще нужды ни в Шлегелях, ни в Лагарпах». «У нас литература не есть потребность народная. Писатели получают известность посторонними обстоятельствами, публика мало ими занимается; класс читателей ограничен и им управляют журналы, которые судят о литературе, как о политической экономии, о политической экономии, как о музыке, т.-е. набум, понаслышке, без всяких основательных правил и сведений, а большей частью по личным расчетам». «Произведения нашей литературы как ни редки, но являются, живут и умирают не оцененные по достоинству... не говорим уже о живых писателях, Ломоносов, Державин, Фонвизин ожидают еще египетского суда. Высокопарные прозвища, безусловные похвалы, пошлые восклицания уже не могут удовлетворить людей здравомыслящих».

Пушкин ждал оценки по достоинству Ломоносова, Державина, современников, а критики «толковали о будуарных читательницах, о паркетных дамах» и писали «приторные статейки», в которых старались «подделаться под светский

тон». «И в литературе, и в обществе мы слишком щепорны, слишком дамоподобны» — писал Пушкин.

Статьи наиболее близких Пушкину писателей — Вяземского, Бестужева, Плетнева, Катенина, Кюхельбекера — казались ему единственными просветами среди полного мрака журнальной критики. Но важно отметить, что Пушкин часто подчеркивал известную обособленность своих позиций от позиций этих литераторов. Так, он не раз в печати и в письмах указывал, что статьи Вяземского «вызывают у него охоту спорить». «Его критика поверхностна и несправедлива, но образ его побочных мыслей и их выражение резко оригинальны. Он мыслит, сердит и заставляет мыслить и смеяться».

Статьи Бестужева он очень откровенно охарактеризовал самому автору лишь как острые и забавные. С Кюхельбекером он полемизировал в статье «О вдохновении и восторге» (1824). Катенину писал, что «связь» их «основана не на одинаковом образе мыслей». Плетневскую статью о русской поэзии назвал «ералашью» и советовал ему быть зубастым и не писать «добрых критик».

Единичные голоса серьезных критиков тонули в разноголосом хоре журналистов, «бранившихся именами «классик» и «романтик», как старушки бранят повес франкмасонами и волтерьянцами, не имея понятия ни о Вольтере, ни о франкмасонстве».

Наблюдая издали из своего глухого Михайловского за возней журналов, ссыльный поэт писал друзьям: «более чем когда-нибудь чувствую необходимость какой-нибудь «Edinburgh Review»<sup>1)</sup>. «Когда-то мы возьмемся за журнал. Мочи нет, хочется...»<sup>2)</sup> Издавать журнал «было бы чудно хорошо... надоела мне печать — опечатками, критиками, защищениями»<sup>3)</sup>. «Вместо альманаха не затеять ли нам журнал вроде «Edinburgh Review»? Голос истинной критики необходим у нас»<sup>4)</sup>. «Пора бы

<sup>1)</sup> Вяземскому, 19.II.25.

<sup>2)</sup> Вяземскому, 10.VIII.25.

<sup>3)</sup> Бестужеву, 30.XI.25.

<sup>4)</sup> Катенину, февраль 1826.

нам отослать и Булгарина, и Благонмеренного, и Полевого друга нашего. Теперь не до того, а ей-богу когда-нибудь примусь за журнал»<sup>1)</sup>.

Мысль о журнале и раньше занимала Пушкина, но с 1820 г. почти до конца 1826 г. он был оторван от литературной жизни, скитаясь по югу России и живя потом уединенно в Михайловском. Мудрено было осуществить это заветное намерение в положении ссыльного.

Если в 1823 г. свой журнал рисовался Пушкину как невинное «Revue des bevuees», т.-е. «Обозрение промахов» (промахов, действительно засорявших все тогдашние журналы), то через несколько лет, когда поэт вернулся из ссылки в столицу и воочию увидел оборотную сторону успехов далеко шагнувшей «литературной промышленности», он понял, что предстоит борьба не с ошибками и промахами а с заисильем болгаринской клики, широко развернувшей свою деятельность после разгрома декабристов, в условиях общественной и политической реакции.

Борьба с монополией «Северной Пчелы» и с болгаринскими методами критики становится боевой задачей Пушкина к концу 20-х годов. Но расстановка сил в журналистике была чрезвычайно неблагоприятна для Пушкина. Аристократические предубеждения отдалили поэта от «Московского Телеграфа». Сблизиться по-настоящему с группой литераторов-шеллингианцев, объединившихся вокруг «Московского Вестника» (Веневитинов, Одоевский, Киреевский и др.), Пушкин не смог: узко-философское направление этого журнала было ему чуждо<sup>2)</sup>.

Независимой журнальной трибуны, где бы он мог выступить в роли критика, у Пушкина не было до самого 1830 года, когда начала выходить «Литера-

турная Газета» Дельвига. Здесь при ближайшем участии Пушкина развернулась бурная полемика по вопросу о литературной аристократии.

Здесь поэту и его друзьям «литературным аристократам», отстаивавшим принцип «чистого искусства», пришлось обороняться от нападений с двух сторон. Справа напал Ф. Булгарин, действовавший пасквильными «анекдотами» и печатными доносами, «слева» — «якобинец»<sup>1)</sup> Полевой.

В полемике того времени с чрезвычайной ясностью сказался ее классовый характер.

В своем «Разговоре» (1830) Пушкин писал: «На-кого журналисты наши (Булгарин, Полевой и др. — Н. Б.) нападают? Ведь не на новое дворянство... составляющее нашу знать, истинную богатую и могущественную аристократию — *pas si bête!* Наши журналы перед этим дворянством вежливы до крайности. Они нападают именно на старинное дворянство, кое ныне по причине раздробленных имений составляет у нас род среднего состояния, состояния почтенного, трудолюбивого и просвещенного, состояния, коему принадлежит и большая часть наших литераторов...» Далее Пушкин как бы объясняет, почему враждовавшие между собой до этой полемики и стоявшие на разных литературно-общественных позициях Полевой и Булгарин неожиданно блокировались и выступили единым фронтом против литературных аристократов. «Почему же некоторые журналисты, — спрашивает он, — вступились с такой братской горячностью за «Северную Пчелу»? Потому что «свой своему поневоле брат».

В свою очередь и Полевой ясно отдавал отчет в своих стремлениях сосредоточить литературу в руках буржуазии, «класса среднего между бариним и мужиком», как он сам выражался. «У людей знатных с весьма немногими исключениями литература всегда останется

<sup>1)</sup> Вяземскому, 27.V.1826.

<sup>2)</sup> «Ты пеняешь мне за «Московский Вестник» и немецкую метафизику, — писал он Дельвигу 2 марта 1827 г. — Бог видит, как я ненавижу и презираю ее, да что делать? Собрались ребята теплые, упрямые, поп свое, а чорт свое. Я говорю: «господа, охота вам из пустого в порожнее переливать, все это хорошо для немцев, прессыщенных уже положительными знаниями...»

<sup>1)</sup> «Якобинизм» Полевого, отмеченный в дневнике Пушкина 1834 г., носил очень смутный и противоречивый характер. Во всяком случае он не был ни революционером, ни демократом.

делом посторонним: они заняты своим честолюбием, своею службою, своими отношениями. Они всегда смотрели и будут смотреть на литераторов, как на ремесленников, более их искусных в своем деле, но чуждых им во всех отношениях. Напротив, для низшего класса литература есть та стихия, которую они сближаются с человеческим»<sup>1)</sup>.

Борьбы с «более опытными ремесленниками» «Литературная Газета» не выдержала, довольно скоро прекратив свое существование (1831 г.). Но сознание, что поприще «литературной промышленности» остается за Булгариным, и раны, нанесенные Пушкину грязными пасквилями Видока, не переставали тревожить его. Обуреваемый желанием задуть ненавистную монополию, Пушкин не останавливается даже перед замыслом создать в противовес «Северной Пчеле» свою литературно-политическую газету, подчиненную в политической части правительственному направлению. (Это относится к 1831 г., к периоду наибольшего примирения с правительством.) В докладной записке к Бенкендорфу в 1831 г. Пушкин прямо указывает, что единственным мотивом, побуждающим его просить разрешения на издание газеты, является намерение восстановить «равновесие в литературе», ослабить всеподавляющее влияние «Северной Пчелы», монополизировавшей «критику и полемику». Издание газеты Пушкину осуществить не удалось.

Вся страстная ядовитость пушкинской полемики направлена на Булгарина (статьи «О записках Видока», «Торжество дружбы», «Несколько слов» и др.). Насколько тяжелы и метки были удары его «львиных когтей», можно судить по тому, что Булгарин, по свидетельству современников, восстанавливал равновесие после одной из статей Пушкина кровопусканием. Сохранился рассказ, что, прочтя пушкинскую рецензию на «Записки» Видока, он божился перед иконой в книжной лавке, убеждая книгопродавца, что между ним, Булгариным, и Видоком нет ничего общего. По словам Дельвига, он даже «поглупел» после того,

как Пушкин сорвал с него маску. Антибулгаринские статьи Косичкина, послужившие образцом Белинскому и Герцену<sup>2)</sup>, — прекрасные примеры полемического блеска пушкинского пера.

Пушкину так и не удалось восстановить «равновесие» в литературе и задуть Булгарина, но огромный общественный смысл этой борьбы не прошел бесследно — дело его по расправе с Фаддеем докончил Белинский.

Полемика с Каченовским, Полевым и Надеждиным не носила такого напряженного характера и не имела такого значения в глазах Пушкина, как борьба с Булгариным. В лице Полевого он видел лишь союзника Булгарина<sup>2)</sup>.

Рассматривая его отношение к Полевому и Надеждину, нельзя не заметить, что Пушкин недооценил известные положительные стороны в критике того и другого. Но если обратиться к их выпадам против него, то станет понятным раздражение Пушкина. Полевой например считал, что «почтенный» Булгарин должен с улыбкой презрения перенести «приближение нечистого насекомого» (т.-е. Пушкина) «к своим нравственно-сатирическим сочинениям». Надеждин в статьях против Пушкина чаще всего предавался шутовству, столь ненавистному для Пушкина в литературе. Он беспокоился например, что станется с его «дядюшкой, которому стукнуло уже 50 лет», или с его «двуродной сестрой, которой нет еще шестнадцати», если им попадет в руки «Граф Нулин» Пушкина.

Чтобы не возвращаться к полемике Пушкина, отметим основную отличительную ее черту. Все его выступления в этой области имели целью отбросить

<sup>1)</sup> См. статью А. Герцена «Ум хорошо — два лучше». По мнению Белинского, полемические статьи Пушкина — «верх совершенства». Он неоднократно ссылается на них.

<sup>2)</sup> Зайдя слишком далеко, указав в статье «О выходах против «литературной аристократии» на революционную опасность антидворянских выпадов Полевого, Пушкин, словно оправдывая свой неверный шаг, писал в «Разговоре», что не мог этим причинить ему вреда, так как Полевой в союзе с «Северной Пчелой», образ мнений которой слишком хорошо известен, — следовательно, и Полевой в безопасности.

нелитературные обвинения и пресечь ту или иную попытку использовать критику для посторонних целей. В 1825 г., когда А. И. Муханов напал на «барыню» Сталь, сопричислив ее к «щепетильным французикам», Пушкин ударил по рукам автора «журнальной статейки не весьма острой и весьма неприличной». В 1829 г., когда Каченовский прибегнул в споре с Полевым к жалкой попытке оградиться тем, чем не следует и невозможно ограждаться в спорах чисто литературных, т.е. обратился в цензуру с жалобой на Полевого, Пушкин напечатал в «Северных Цветах» свой «Отрывок из литературных летописей», в котором жестоко высмеял поступок Каченовского.

В «Объяснении к заметке об Илиаде» (1830) он писал, что критика должна «ограничиться замечаниями чисто литературными, не примешивая к оным догадок насчет посторонних обстоятельств» (см. также «О личностях в критике», «Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений» (1830) и т. д.). Последняя полемическая статья Пушкина «Мнение Лобанова» (1836) — это сдержанный (по цензурным условиям), но пропитанный гневом ответ на полицейский окрик мракобеса, призывавшего академиков «проникать ухищрения пишущих».

Пушкин до конца жизни относился к современной ему критике крайне отрицательно. Но если в начале 20-х годов он начисто отрицал ее существование, то к 30-м годам, по мере несомненного роста критики, он констатирует наличие «отдельных статей, исполненных светлых мыслей и важного остроумия». «Но они являлись отдельно, — говорит он, — в расстоянии одна от другой и не получили еще веса и постоянного влияния. Время их еще не пришло».

Особенно горячее сочувствие вызвали у Пушкина критические статьи Д. В. Веневитинова и И. В. Киреевского, сделавшего первую попытку философского анализа эволюции пушкинского творчества. Всего любопытнее то, что Пушкин приветствовал первые шаги В. Белинского. В «Письме

к издателю» (1836) он писал: «Жалею, что вы, говоря о «Телескопе», не упомянули о г. Белинском. Он облачает талант, подающий большую надежду. Если бы с независимостью мнений и с остроумием своим соединял он более учености, более начитанности, более уважения к преданию, более осмотрительности, словом, более зрелости, то мы бы имели в нем критика весьма замечательного».

Несмотря на то, что Белинский отозвался о 2-м томе «Современника» 1836 г. резко отрицательно, Пушкин предполагал привлечь его к постоянной работе в журнале и уже вел с ним через Нащокина деловые переговоры на этот счет, хотя «арзамасские друзья» Пушкина относились к Белинскому более чем враждебно. Вяземскому например Белинский всегда казался каким-то пьяным Полевым, Полевым, беленым обевшимся. Вяземский называл его баррикадником, «литературным бунтовщиком, который за неимением у нас места бунтовать на площади бунтует в журналах...» (Письмо к Шевыреву, январь 1857 г.) «Литературный бунтовщик» надолго сохранил благодарные воспоминания о сочувствии Пушкина. В 1842 г. он писал Гоголю, что, несмотря на то, что «слышал похвалы от умных людей», «больше всего этого радует и будет радовать как лучшее достояние несколько приветливых слов, сказанных обо мне Пушкиным, к счастью, дошедших до меня из верных источников» (Письма Белинского, СПб, 1914, т. II, стр. 310).

Признание Белинского Пушкиным на фоне отрицательного отношения к нему Вяземского весьма симптоматично. Оно показывает, как широк был в своих исканиях Пушкин, уходя от друзей-«аристократов» в сторону сближения с лучшими представителями прогрессивного класса. Но оговорки и условия, которые он ставит Белинскому (уважение к преданию, осмотрительность), не менее симптоматичны. Они свидетельствуют, что привлечение Белинского к работе в «Современнике» представлялось Пушкину возможным лишь при известных уступках со стороны Белинского в смысле более осмотрительной переоценки им.

всех явлений русской литературы с позиций демократически настроенного разnochинца.

Литературную работу Пушкин начал с «невинного удовольствия», с заочного погребения «Беседы любителей русского слова» и кончил поисками союза с критиком, на целые десятилетия предопределившим развитие русской критической мысли.

Разбирая в «Московском Наблюдателе» (1838 г.) 5-й том «Современника», вышедший вскоре после смерти Пушкина, Белинский писал: «Статья Пушкина о Мильтоне и шатобриановом переводе «Потерянного рая» чрезвычайно интересна; она знакомит нас с Пушкиным не столько как с критиком, сколько как с человеком, у которого был верный взгляд на искусство, вследствие его верного и бесконечного эстетического чувства». Приведа затем заметку Пушкина «О Шекспире», Белинский прибавлял: «...во всем этом виден не критик, опирающийся в своих суждениях на известные начала, но гениальный человек, которому его верное и глубокое чувство или, лучше сказать, богатая субстанция открывает истину везде, на что он ни взглянет». Мысль Белинского совершенно верна. В суждениях своих о литературе Пушкин действительно не опирался на те «известные начала», под которыми Белинский подразумевал конечно родственные ему самому философские начала. Белинский рассматривает здесь статьи Пушкина с позиций критика-публициста, положившего в основу критики глубокие социальные проблемы своего времени, тогда как в критике Пушкина несомненно преобладание эстетического критерия над всеми иными.

Не надо забывать, что Пушкин не критик-профессионал, не создатель или последователь известной системы, но один из первых русских критиков-художников. Сам Пушкин считал, что критика и есть дело писателей. Мнение это он высказывал неоднократно: «Критикою у нас большею частью занимаются журналисты, т.е. entrepreneurs (предприниматели), люди, понимающие свое дело,

но не только не критики, но даже и не литераторы».

«Если бы писатели, заслуживающие уважение и доверенность публики, взяли на себя труд управлять общим мнением, то вскоре критика сделалась бы не тем, чем она есть». Известная односторонность такого подхода к задачам критики бросается в глаза. В свое время это отмечал в «Очерках гоголевского периода» Чернышевский, где он говорил, что «критика пушкинского направления довольствовалась замкнутой для остальной публики деятельностью в тесном кругу писателей». Но мы должны искать объяснение подобных взглядов Пушкина главным образом в том, что высококачественной, подлинно-синтетической критики до Белинского не существовало, а оставлять читателей под опекой литературных предпринимателей было бы, по мнению Пушкина, губительно.

Требования, которые он предъявлял к критике, были прежде всего требованиями художника. «Критика — наука открывать красоты и недостатки в произведениях искусств и литературы. Она основана: 1) на совершенном знании правил, коими руководствуется художник или писатель в своих произведениях, 2) на глубоком изучении образцов и на деятельном наблюдении современных замечательных явлений. Не говорю о беспристрастии — кто в критике руководствуется чем бы то ни было, кроме чистой любви к искусству, тот уже нисходит в толпу, рабски управляемую низкими корыстными побуждениями. Где нет любви к искусству, там нет и критики. Хотите ли быть знакомым с художеством? — говорит Винкельман. Старайтесь полюбить художника, ищите красот в его созданиях». Так определял для себя задачи критика Пушкин.

Эстетический критерий превалировал в оценках и суждениях Пушкина над всеми иными. Но это был конечно не тот эстетический критерий, который высмеял он в своем «Опыте отражения»: «это хорошо потому, что это прекрасно, это дурно потому, что плохо». Критика Пушкина действительно опиралась на совершенное знание правил и глубокое изучение образцов. Маргиналии Пуш-



кина на «Опытах» Батюшкова или на статье Вяземского об Озере, наброски предисловия к «Борису Годунову», статьи о Байроне, Баратынском, Катенине, заметки «О смелости выражений», «О вдохновении и восторге», «О слоге» и многие другие красноречиво свидетельствуют об этом. Именно как мастер, как критик-художник выступает Пушкин и в статье об «Утешениях» Сент-Бёва. Но это вовсе не значит, что внимание Пушкина было целиком поглощено вопросами узко-специального значения. Наоборот, рассматривая в этой статье нововведения так называемой «романтической школы французских писателей, которые полагают слишком большую важность в форме стиха, в цезуре, в рифме, в употреблении некоторых старинных слов, некоторых старинных оборотов и т. п.», Пушкин говорит: «Все это хорошо, но слишком напоминает гремушки и пеленки младенчества». Тем-то и ценны критические и теоретические искания Пушкина, что известное преобладание эстетического критерия вовсе не замыкало критика Пушкина в рамках узкого эстетства или формализма. Наоборот, говоря о том, что Малерб и Ронсар ныне забыты, Пушкин объясняет судьбу их произведений в потомстве тем, что «сии два таланта истощили силы свои в борении с усовершенствованием стиха. Такова участь, ожидающая писателей,—говорит он,—которые пекутся более о механизме языка, наружных формах слова, нежели о мысли — истинной жизни его, не зависящей от употребления!» В статье «Драматическое искусство» (1830) Пушкин поднимается до попыток социологических обобщений, давая смелый анализ придворно-аристократического театра. Сопоставляя положение творца народной трагедии с положением придворного драматурга, Пушкин показывает, как драма оставила язык общепринятый и приняла наречие модное, избранное, когда придворный трагик, подчинившись требованиям утонченного вкуса «людей, чуждых ему по состоянию», перестал предаваться вольно и смело своим замыслам.

Пушкин не создал стройной критиче-

ской системы, он не был последователем какой-либо одной теории или школы<sup>1)</sup>. Но, обладая необыкновенной проницательностью и опираясь на свой богатый творческий опыт, он явился первым и лучшим истолкователем многих явлений русской и западноевропейской литературы. Недаром современники ему критики-профессионалы указывали на его гениальное понимание Шекспира.

Белинский давал многим писателям оценки, предвосхищенные Пушкиным.

В середине тридцатых годов слепые почитатели авторитетов были возмущены смелыми и резкими суждениями Белинского о Ломоносове, Державине, Озере. Но задолго до Белинского Пушкин писал, что напрасно было бы искать в первом нашем лирике (т.-е. Ломоносове) истинных порывов чувства и воображения и странно требовать, чтобы человек, умерший 70 лет тому назад, оставался и ныне любимцем публики.

«У Державина,—говорил Пушкин,—должно сохранить будет од восемь да несколько отрывков, а прочее смечь... Слава Озера при появлении истинной критики совсем исчезнет». Отсутствию критики приписывал он и репутации Хераскова, Княжнина, Дмитриева.

Рассматривая пушкинские оценки литературы, не надо забывать, что они не

<sup>1)</sup> Не находя никаких образцов в русской критике и эстетике, Пушкин чаще всего обращал взгляд на Запад. В статьях и в письмах он ссылается на А. Шлегеля, Лагарпа, Лессинга. Его определение критики сложилось под влиянием Винкельмана. В суждениях о Шекспире, о драме вообще Пушкин опирался на А. Шлегеля и Гизо. Мнения критиков французского журнала «Le Globe» и английского «Edinburgh Review» имели некоторое влияние на оценки Пушкина. Высшим достоинством той или иной критической статьи он считал степень ее приближения к западноевропейским образцам. («Европейские статьи так редки в наших журналах», — писал он Вяземскому 25 мая 1825 г.).

«Шевырев, Погодин, Киреевский и другие написали несколько опытов, достойных стать на ряду с лучшими статьями английских «Review» («Мысли на дороге», 1833—1835).

«Многие из статей Сенковского достойны занять место в лучших из европейских журналов...»

О «Московском Вестнике» Пушкин писал Погодину: «Вы — издатель европейского журнала в азиатской Москве».

приведены им ни в какую систему, рассеяны в набросках, в черновиках и в письмах. Но основное их направление и конечный вывод вырисовываются все же довольно отчетливо.

Состояние «бедной» русской словесности Пушкин находил безотрадным, но верил в ее будущее, в ее скрытые возможности и считал, что «время зрелости ее уже недалеко».

В 1824 г. Пушкин писал: «У нас еще нет ни словесности ни книг; все наши знания, все наши понятия с младенчества почерпнули мы в книгах иностранных, мы привыкли мыслить на чужом языке (метафизического языка у нас вообще не существует)».

Отмечая сравнительно высокую поэтическую культуру в России XVIII и начала XIX вв., Пушкин вместе с тем утверждал, что «ученость, философия и политика доселе еще по-русски не изяснялись». Вот почему убеждал он Вяземского «образовать наш метафизический язык», т.е. «язык мысли».

Одну из основных причин плачевного состояния русской литературы Пушкин усматривал в отсутствии традиций. «Приступая к изучению нашей словесности, мы хотели бы обратиться назад и взглянуть с любопытством и благоговением на ее старинные памятники. Но, к сожалению, старой словесности у нас не существует». «Несколько сказок и песен, беспрестанно поновляемых изустным преданием, сохранили полуизглаженные черты народности». «За нами темная степь — и на ней возвышается единственный памятник — «Песнь о полку Игореве». Словесность наша явилась вдруг с 18 столетия подобно русскому дворянству, без предков и родословной».

Родившись вдруг, она оказалась оторванной от основ народного миропонимания и развивалась в атмосфере искусственности и подражания. Пушкин называет Сумарокова несчастнейшим из подражателей. Его холодные трагедии могли нравиться двору Елизаветы, но «не могли иметь никакого влияния на народное пристрастие». В Ломоносове Пушкин видит высокопарного подражателя немецким стихотворцам, не

знавшего, что такое простота и точность, и лишенного всякой народности.

Державин... но «этот чудак не знал ни русской грамоты, ни духа русского языка... Его гений думал по-татарски, а русской грамоты не знал за недосугом».

Озеров пытался дать народную трагедию, но оказывается, что черпать сюжеты из русской истории вовсе не значит быть народным.

Характерно, что и к современникам своим Пушкин предъявлял все то же требование народности. «Думы» Рыльева он строго осудил, не найдя в них этого качества. Крылова он называет самым народным из русских поэтов, объясняя его широкую популярность общедоступностью избранного Крыловым жанра. Катенина Пушкин ценил именно за то, что он «ввел в круг возвышенной поэзии» простонародный язык и простонародные мотивы. Наличие народности в «Вечерах на хуторе» Гоголя привлекло к ним сочувственное внимание Пушкина.

Он отдавал должное таким поэтам, как Жуковский, Баратынский, Языков, Дельвиг, и самым внимательным образом следил за первыми шагами нарождавшейся в России прозы (Загоскин, Вельтман, Павлов, Гоголь). И все же в 1834 г. он начал писать обширную по замыслу статью «О ничтожестве литературы русской», удивительно совпадающую в основном и в ряде частности с «Литературными мечтаниями» Белинского (1834), который решительно и твердо сказал тогда, что «у нас нет литературы». Любопытен самый план пушкинской статьи (кстати сказать, совсем недавно найденный и опубликованный). План этот Пушкин заканчивает так: «Если русская литература представляет мало произведений, достойных критики литературной, то она сама по себе (как и всякое другое явление в истории человечества) должна обратить на себя внимание добросовестных исследователей». Анализируя в самой статье причины, приведшие русскую литературу к состоянию «общего ничтожества», Пушкин приходит к выводу, что этим она обязана главным образом французской литературе, кото-

рая в начале XVIII столетия «обладала Европою» и «должна была иметь на Россию долгое и решительное влияние».

Мысль для Пушкина не новая. О вреде этого влияния он писал неоднократно и прежде. Пушкин очень быстро освободился от арзамасских традиций и от школьных представлений о французском классицизме по «Лицею, или курсу древней и новой словесности» Лагарпа. Уже к 20-м годам традиционное усвоение французской поэзии сменяется у него строго критическим отношением к ней. Еще в одной из самых ранних заметок о французской литературе Пушкин писал о ее «бледном, робком языке и о глупом стихосложении». Правда, тогда он не мог «решить, какой словесности отдать предпочтение», «но, — прибавлял он, — есть у нас свой язык, смелее! — обычаи, история, песни, сказки. Отсюда разовьется и получит совершенно определенные и ясные очертания позднейшее настойчивое требование народности. В дальнейшем вся эволюция литературных взглядов Пушкина пройдет под знаком отталкивания от французской литературы и преодоления ее влияния. Если в 1822 г. он еще осторожно отмечает, что «английская литература начинает иметь влияние на русскую», и высказывает предположение, что оно «будет полезнее влияния французской поэзии, робкой и жеманной», то через год прямо призывает Вяземского стать «за немцев и англичан и уничтожить этих маркизов классической поэзии». «Французская болезнь умертвила бы нашу отроческую словесность».

В 1827 г., разочарованный холодным приемом «Бориса Годунова» у читателей и убежденный в том, что надежды на торжество подлинного свободного и искреннего романтизма не оправдались, Пушкин приписывал неудачу эту опять-таки влиянию «французской словесности, всем нам с младенчества так коротко знакомой».

В чем заключалась, по мнению Пушкина, «французская болезнь» и чему он приписывал силу ее воздействия на отечественную литературу? На вопросы эти он отвечает в статье «О русской ли-

тературе с очерком французской»: «Влияние, которое французские писатели произвели на общество, должно приписать их старанию приноравливаться к господствующему вкусу и мнению публики... Ни один из французских поэтов не дерзнул быть самобытным, ни один, подобно Мильтону, не отрекся от современной славы. Расин перестал писать, увидя неуспех своей «Гофолии». Публика (о которой Шамфор спрашивал так забавно: сколько нужно глупцов, чтобы составить публику?), легкомысленная, невежественная публика была единственною руководительницею и образовательницею писателей. Когда писатели перестали добиться по передним вельмож, они, дабы вновь зайти в доверенность, обратились к народу, лаская его любимые мнения или фиглярствуя независимостью и странностями, но с одною целью выманить себе репутацию или деньги! В них нет и не было бескорыстной любви к искусству и к изящному — жалкий народ».

При этом Пушкин даже не видел особой разницы между состоянием литературы XVII в., сосредоточенной около трона Людовика XIV, которого Корнель и Расин тешили заказными трагедиями, и состоянием новейшей поэзии, очутившейся на площади, с чем иронически Пушкин и поздравлял поэтов, имея в виду конечно прежде всего Беранже.

К чему вело подчинение господствующему вкусу в век Людовика XIV, когда «писатели были призваны ко двору и задарены пенсиями, как дворяне»? Расин например, которого Пушкин считал истинным, тонким поэтом, чьи стихи были полны «гармонии и точности», — Расин, по словам Пушкина, «боялся унижить такое-то высокое звание, оскорбить таких-то спесивых своих зрителей — отसेле робкая чопорность, смешная надутость, вошедшая в пословицу, привычка смотреть на людей высшего состояния с подобострастием и придавать им странный, нечеловеческий образ изъяснения... «Нерон у него не скажет просто: Je serai caché dans ce cabinet, но: caché près des ces lieux, je vous verrai, madame... Мы к этому привыкли, нам

кажется, что так и быть должно. Но, надобно признаться, у Шекспира этого незаметно».

«Отселе вежливая, тонкая словесность, блестящая аристократическая, немного жеманная, но тем самым понятная для всех дворов Европы».

Даже «Вольтер, великан своей эпохи», по мнению Пушкина, то угрождает толпе — наполняя театры трагедиями, в которых, «не заботясь ни о правдоподобии характеров, ни о законности средств», заставляет своих героев выражать правила своей философии, то двору Фридриха II, где «лавры» Вольтера «были обрызганы грязью. А настоящее место писателя—его ученый кабинет». «Независимость и самоуважение одни могут нас возвысить над мелочами жизни и над бурями судьбы».

К концу XVIII века «истощенная поэзия превращается в мелочные игрушки остроумия». Поэзия салонов и гостинных, измельчавшая, слащаво-сентиментальная, вычурная французская поэзия «заполняет всё». «Грибы, выросшие у корней дубов: Дорат, Флориан, Мармонтель, Гишар, м-ше Жанлис, овладевают русской словесностью».

В современных ему французских писателях Пушкин видел все тех же поклонников минутного успеха.

Деклассирующийся дворянин, сам причислявший себя к роду среднего состояния, состояния почтенного, трудолюбивого и просвещенного, сохранивший гордость и стремление к независимости, одинаково отвергавший как меценатство знати, так и «отвратительную власть» буржуазной демократии, Пушкин не хотел видеть поэта ни у трона, ни в передней вельмож, ни в салонах, ни на площади («Ты царь, живи один»). Это толкование свободы художественного творчества, восходящее к Шеллингу и хорошо усвоенное Пушкиным в кружке «Московского Вестника», не мирилось с принципом социальности, доминировавшим в «новой» французской литературе. Не то, чтобы Пушкин был антиобщественным поэтом, не то, чтобы он мечтал об отчуждении поэзии от жизни (он ведь и сам, по его признанию, «был воспитан в страхе пе-

ред почтеннейшей публикой»), но общественная жизнь и политика заполняли французскую литературу больше, чем то мог допустить Пушкин. Это привело, по его мнению, к тому, что французский драматург стал писать древнюю трагедию, держа перед собою развернутую газету, «дабы шестистопными стихами заставить Сциллу, Тиберию, Леонида высказать мнение автора о Виллеле или о Кеннинге. От сего затейливого способа на нынешней французской сцене слышно много красноречивых журнальных выходов, но трагедии истинной не существует». Почти всем французским поэтам новейшего поколения нехватало, по мнению Пушкина, одного свойства, чрезвычайно важного, без которого нет истинной поэзии: искренности и вдохновения. «Ныне французский поэт систематически сказал себе: *soyons religieux, soyons politiques*, а иной даже: *soyons extravagants*, и холод предначертания, натяжка, принужденность отзываются во всяком его творении, где никогда не видим движения минутного вольного чувства».

С этой же точки зрения рассматривал Пушкин и представителей французского социального романа, который казался ему «скучной проповедью или галереєю соблазнительных картин». Отсюда непонятное с первого взгляда нерасположение Пушкина к таким писателям, как Гюго, Бальзак, Жорж-Санд. Любимцами его среди новых французских писателей были Шенье, Сент-Бёв, Мериме и Мюссе.

В статьях, заметках и письмах Пушкина французской литературе уделено наибольшее внимание. Он говорит о ней гораздо чаще, чем об английской, немецкой или итальянской. Это вполне понятно: французский язык был для него вторым родным языком; многих иноязычных писателей и поэтов, вплоть до античных, Пушкин узнавал впервые не в оригиналах и отнюдь не в русских, а именно во французских переводах. Литература Франции в глазах Пушкина, естественно, стала мерой сравнения с другими. Особенно характерны в этом смысле его оценки явлений ан-

глийской литературы. Глубину Байрона он противопоставляет поверхностности Расина, почти все произведения Шекспира он сопоставляет с французскими драматическими произведениями (Расина, Вольтера, Мольера), простоту исторического романа Вальтер-Скотта он ставит в образец «чопорному» де-Виньи и напыщенным французским трагикам, английских поэтов озерной школы Вордсворта и Кольриджа сравнивает с основоположником пуассарского жанра Ж. Ваде, отдавая полное предпочтение первым.

Английская литература в лице Байрона, Шекспира, Мильтона, В.-Скотта, Вордсворта, Кольриджа, Соути и др. сыграла огромную роль в истории развития литературных взглядов Пушкина, в процессе его эволюции к реализму, в освобождении от влияния французской литературы. Первым поэтом, поведшим Пушкина в сторону от обветшалых схем и правил французской классической школы, был Байрон. Когда в 1822 г. Пушкин писал, что «английская словесность начинает иметь влияние на русскую», он уже переживал неизгладимое увлечение «глубокой и очаровательной» поэзией Байрона. Но... «гений Байрона бледнел с его молодостью. В своих трагедиях, не выключая и Каина, он уже не тот пламенный Демон, который создал Гяура и Чайльд-Гарольда. Его поэзия, видимо, изменялась. Он весь был создан навыворот; постепенности в нем не было, он вдруг созрел и возмужал — пропел и замолчал, и первые звуки его уже ему не возвратились». Не было постепенности и в увлечении Пушкина Байроном. Оно интенсивно и кратковременно. Уже к середине 20-х гг. Байрон отступает в сознании Пушкина перед Шекспиром.

С длительным, пристальным, всесторонним изучением Шекспира связана вся система взглядов Пушкина на драму. Следуя А. Шлегелю, он выдвигает в противовес классической французской драме трагедию Шекспира, свободную от оков узаконенных единств, полную «истины страстей и правдоподобия чувствований». Робкой чопорности, напыщенности придворного театра, подчиненного вкуса «спесивых зрителей»,

Пушкин противопоставляет свободную «широкую» форму шекспировских исторических хроник и трагедии. Изучение Шекспира привело Пушкина к мысли, что сущностью и целью драмы является: «Человек и народ. Судьба человеческая, судьба народная... Что нужно драматическому писателю? Философия, бесстрашие, государственные мысли историка, догадливость, живость воображения, никакого предрассудка любимой мысли. Свобода». Изучение Шекспира окончательно укрепило его в убеждении, что «единства», которые все еще почитались главным условием и основанием драматического искусства, менее всего необходимы драматическому писателю, что они просто несоместимы с самой природой драмы. «Правдоподобие положений и правда диалога — вот настоящие законы трагедии». «Читайте Шекспира (это мой припев...)... Каждый человек любит, ненавидит, печалится, радуется, но каждый на свой образец — читайте Шекспира...» «Как Байрон-трагик мелок по сравнению с ним! Байрон постиг всего-навсего один характер (именно свой собственный)» и «разделил его между своими героями, давши — одному свою гордость, другому — свою ненависть, третьему — свою меланхолию и, таким образом, из одного характера полного, мрачного и энергичного создал несколько характеров незначительных. Это уже вовсе не трагедия».

Как Шекспир в области драмы, так Вальтер-Скотт в области прозы стал предметом изучения Пушкина и способствовал органическому переходу его к реализму (изображение прозаических подробностей жизни, просторечие, отсутствие какой бы то ни было приподнятости, театральности, даже в торжественных обстоятельствах). Пушкин считал «действие Вальтер-Скотта ощутительным во всех областях современной ему словесности» и сам всемерно использовал опыт «шотландского чародея» и в историческом романе («Капитанская дочка»), и в бытовых новеллах.

Под знаком все того же тяготения к реализму, к простоте и демократизации языка, к поэзии, освобожденной от

условных украшений стихотворства, Пушкин в 30-е гг. обращается к английским поэтам озерной школы — к Вордсворту, Кольриджу, Соути, чьи произведения «исполнены глубоких чувств и поэтических мыслей, выраженных языком честного простолюдина».

Из беглых и кратких заметок Пушкина о Чоусере, Матюрине, Фильдинге, Стерне видно, что они были ценимы им. В английской литературе безусловное неодобрение его заслужил лишь Томас Мур, которого он назвал «чопорным подражателем безобразному восточному воображению».

Другие западноевропейские, а также античные писатели вызвали очень немногие отзывы в статьях и в письмах Пушкина. Античная литература была хорошо знакома ему еще с лицейской скамьи<sup>1)</sup>. Лирика Пушкина хранит живые следы воздействия «величавой древности» на его творчество. И если в критической прозе он скуп на отзывы об античных писателях, то в его стихах и поэмах мы найдем немало интереснейших суждений о таких поэтах, как Анакреон, Вергилий, Овидий и др.

Среди немецких поэтов выше всех Пушкин ставил «великана романтической поэзии» Гете. «Фауст» в его глазах был «Илиадой новейшего времени».

Манерный, салонно-буколический поэт С. Геснер и тяжелый, напыщенный Клопшток были им отвергнуты. Но Гельбель и Бюргер, стремившиеся «приблизить поэтический слог к благородной простоте», привлекли к себе внимание Пушкина. Итальянская и испанская литература были восприняты Пушкиным на фоне французской. Он отметил, что «в средние века, когда поэзия во Франции еще младенчествовала», «отрасли романтической поэзии пышно процвели в Италии и в Гишпании. Италия присвоила себе ее эпопею, полуафриканская Гишпания завладела трагедией и рома-

ном». Здесь Пушкин видел рубеж между древней и новейшей поэзией. Именно средневековый («готический») романтизм был, по мнению Пушкина, началом новой европейской литературы, независимой от влияния античных образцов. И одним из самых ранних представителей этой новой европейской «романтической» литературы был Данте, а затем М. Баярдо и Ариосто, истоками поэзии которых были народные песни и предания.

Вопросы романтизма и «народности» (отчасти связанные тогда между собой) были основными теоретическими вопросами, занимавшими внимание критиков того времени. Пушкин, не питавший особой склонности к отвлеченным теоретическим спорам, считал, что о романтизме «у нас имеют самое темное понятие».

Сам он первоначально вкладывал в слово «романтизм» очень широкий смысл, полагая, что «школа романтическая есть отсутствие всяких правил». Романтик «принимает за правило одно вдохновение». К романтическому роду он относил сначала все, что по его представлениям было противоположно мертвым формам, каким бы ни было схемам и канонам «парнасского православия» (т.-е. классицизма). Хотя от подлинного классицизма («от бессмертных созданий величавой древности») Пушкин никогда не отрекался, но он очень хорошо понимал, что каждому веку нужна своя литература, что правильность и совершенство классической поэзии, а главное, «бледные списки ее подражателей» неизбежно должны были наскучить, что «утомленный вкус требует иных сильнейших ощущений и ищет их в мутных, но кипящих источниках новой народной поэзии».

Так смутно и расплывчато определял Пушкин романтизм в пору создания «Бориса Годунова». В наше время называют романтическими южные поэмы Пушкина, написанные в те годы, когда Пушкин, по собственному его признанию, «с ума сходил от Байрона». Но сам Пушкин настойчиво и многократно называет «истинно-романтической трагедией» своего «Бориса Годунова», со-

<sup>1)</sup> Впрочем и до лицейского он мог иметь известное представление о корифеях античной поэзии благодаря своему знакомству с французской литературой XVII и XVIII вв. Изучение латинского языка в лицее углубило и расширило его знание античности.

зданного в период его решительного отхода от Байрона.

Он считал «Бориса Годунова» истинно романтической трагедией, имея в виду «уничтожение единств, введение прозы в драму, применение народных законов драмы шекспировой», в отличие «от романтизма, под которым разумеют Ламартина» (т.е. другими словами: разумеют произведения, носящие на себе печать «уныния или мечтательности»).

«Борис Годунов», созданный «по системе Шекспира» — в плане «вольного и широкого изображения характеров», изображения многосложного и глубокого, несет в себе начала подлинного художественного реализма. Таким образом, пушкинское понимание «истинного романтизма» скорее характеризует и по внешним признакам, и по творческой сущности то, что позднее было названо реализмом, хотя самый термин этот нигде у него не встречается.

В 1834 г. Пушкин попытался уточнить понятия романтизма и классицизма, но остановился на чисто формальном определении: к классическому роду он отнес «те стихотворения, коих формы известны были грекам и римлянам или образцы коих они нам оставили» (эпос, поэма дидактическая, трагедия, комедия, ода, сатира, послание, ироида, эклога, элегия, эпиграмма и басня), а к романтическому роду стихотворений — «те, которые не были известны древним, и те, в коих прежние формы изменились или заменены другими». «Если же будем брать за основание только дух, в котором оно (стихотворение. — Н. Б.) написано, то никогда не выпутаемся из определений».

Чуждый всякой догме, широкий в своих литературных воззрениях, Пушкин не причислял себя ни к «классикам», ни к «романтикам»: «каюсь, что я в литературе скептик (чтобы не сказать хуже) и что все парнасские секты для меня равны, представляя каждая свои выгоды и невыгоды. Ужели невозможно быть истинным поэтом, не будучи ни закоснелым классиком, ни фанатическим романтиком? Формы и обра-

ды должны ли непременно поработать литературную совесть?»

Но искания «истинного романтизма» с его стремлением к «предрассудкам и преданиям престонародным» поставили перед Пушкиным вопрос о «народности в литературе». Отвергнув ряд примитивных и наивных определений народности, понимаемой как выбор художником предметов из «отечественной истории», или употребление «народных» слов, Пушкин указывает, что в результате подобных определений пришлось бы «отнять» достоинства «народности» у Шекспира, Лопе де-Вега, Кальдерона, ибо «самые народные трагедии Шекспира заимствованы им из итальянских новелл», а Кальдерон и Лопе де-Вега поминутно переносят действие своих трагедий во все части света. Что же такое истинная народность в поэзии? «Есть образ мыслей и чувствований, тьма обычаев и поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу». Отражение в зеркале поэзии тех особенных черт духовного облика народа, которые складываются у него под влиянием «климата, образа правления, веры», и есть, по мнению Пушкина, основное условие народности. Теперь очень легко внести поправки в эти рассуждения и указать на подлинные первопричины создания «особенной физиономии» каждого народа. Но не следует забывать, что по тому времени пушкинское определение народности было огромным шагом вперед, и оно почти сходствует с тем определением, какое много лет спустя дал Белинский, когда писал, что «литература должна быть символом внутренней жизни народа». С этой-то точки зрения Пушкин, с одной стороны, видел достоинства «великой народности» у Расина, бравшего «все предметы для своих трагедий из римской, греческой и еврейской истории», и, с другой стороны, отказывался признать эти достоинства у Озерова, «вообразившего», что для создания народной трагедии достаточно выбрать предмет из отечественной истории.

Крайне любопытно, что и в трагедии будущего вождя славянофилов А. С.

Хомякова, в его «Ермаке», Пушкину все представлялось «чуждо нашим нравам и духу, все, даже самая очаровательная прелесть поэзии».

В своей замечательной статье о драматическом искусстве Пушкин писал, что до тех пор, пока не произойдут коренные изменения исторических условий, подлинно народная драма и не может возникнуть: «Трагедия наша, образованная по примеру трагедий Расина, может ли отвыкнуть от аристократических своих привычек (от своего разговора — размеренного, важного и благопристойного?). Как ей перейти к грубой откровенности народных страстей, к вольности суждений площади — как ей вдруг отстать от подобострастия, как ей обойтись без правил, к которым она привыкла, где, у кого ей выучиться наречию, понятному народу, какие суть страсти сего народа, какие струны его сердца, где найдет она себе созвучие — словом, где зрители, где публика? Вместо публики встретит она тот же малый, ограниченный круг — и оскорбит надменные его привычки, вместо созвучия, отголоска и рукоплесканий услышит она мелочную привязчивую критику. Перед нею восстанут непреодолимые преграды — для того, чтобы она могла расставить свои подмостки, надобно было бы переменить и ниспровергнуть обычаи, нравы и понятия целых столетий». Так далеко вперед смотрел Пушкин.

У зрелого Пушкина требование подлинной народности красной нитью проходит сквозь все оценки явлений мировой литературы. Эта же тяга к народности обратила его самого к живым источникам народного слова. «Вознаграждая недостатки своего проклятого воспитания», он изучал сам и призвал молодых писателей изучать простонародные сказки, предания и легенды, которые таят в себе «так много истинной поэзии». Он считал, что «разговорный язык простого народа (не читающего иностранных книг и, слава богу, не выражающего своих мыслей на французском языке) достоин глубочайших исследований». При этом Пушкину пришлось вести настоящую войну с крити-

ками, усердно заботившимися о «паркетных дамах», о «светской» поэзии, о «хорошем тоне» и, как огня, боявшимися «бурлацких», «мужицких» выражений. Он стремился не только к опрощению языка и стиля, но и к опрощению жанров. В этом плане особенно показательна защита Пушкиным легкой шуточной поэзии, начиная от «сказок» Божаччо и «Кентерберийских рассказов» Чоусера и кончая «Девственницей» Вольтера и «Елмсеем» Майкова. Он видел в поэзии «идеал, а не нравоучение» и не «педагогическое занятие». Все вычурное, манерное, надуманное, столь характерное для салонной поэзии, встречало резкий и страстный отпор со стороны Пушкина.

«Не всякий судья искусства есть гений, но всякий гений есть природный судья. Проба его правил в нем самом» — сказал Лессинг. Особый интерес пушкинских суждений о литературе и его теоретических исканий заключается в том, что они неразрывно связаны с его творчеством. Именно здесь заложены основы его поэтики. Требования, которые он предъявлял к поэзии, к прозе, к драме, он сам же в первую очередь и стремился осуществить. Если мы вдумаемся в те строки чернового наброска, который Пушкин написал в 1826 г. в ответ на статью Кюхельбекера «О направлении нашей поэзии», то увидим, что в них как бы заключена программа будущего его развития: «Критик (т.е. Кюхельбекер. — Н. Б.) смешивает вдохновение с восторгом. Вдохновение есть расположение души к живому принятию впечатлений, следственно к быстрому соображению понятий, что и способствует объяснению оных. Вдохновение нужно в поэзии, как и в геометрии... Восторг исключает спокойствие — необходимое условие прекрасного. Восторг не предполагает силы ума, располагающего частями в отношении к целому. Восторг непродолжителен, непостоянен, следственно, не в силе произвести истинное, великое совершенство... Гомер неизмеримо выше Пиндара. Ода стоит на низших степенях поэм... Трагедия, комедия, сатира все более ее требуют



творчества, фантазии, воображения, генерального знания природы. Но план нет в оде и не может быть. Единный план Дантова «Ада» есть уже плод высокого гения! Какой план в одах Пиндара? Какой план в «Водопаде», лучшем произведении Державина? Ода исключает постоянный труд, без коего нет истинно великого».

Спокойствие и трезвое обсуждение, как условие прекрасного, соотношение частей с целым, упорный творческий труд и строгость плана, лежащего в основе каждого значительного произведения, — все это признаки зрелого творчества Пушкина.

Вспомним, что писал Пушкин о прозе, когда подлинной прозы в России, в сущности, еще не было: «Что сказать о наших писателях, которые, почитая за низость изъяснить просто вещи самые обыкновенные, думают оживить детскую прозу дополнениями и вялыми метафорами! Эти люди никогда не скажут дружба, не прибавя: «сие священное чувство, коего благородный пламень» и пр. Должно бы сказать рано по утру, — а они пишут: «едва первые лучи восходящего солнца озарили восточные края лазурного неба». Как это всё ново и свежо, разве оно лучше потому только, что длиннее?.. Точность и краткость — вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей — без них блестящие выражения ни к чему не служат» (1822). Надо ли говорить, что отличительными чертами пушкинской прозы, возникшей позднее, стали именно точность, ясность и краткость.

Он первый поставил у нас условием исторической драмы «вольное и широкое изображение характеров и высшую объективность, чуждую стремлениям к минутному успеху или угождению читателям. Драматический поэт, говорит он, должен быть «беспристрастен, как судья». «Не он, не его политический образ мнений, не его тайное или явное пристрастие должно было говорить в трагедии, — но люди минувших дней, умы их, предрассудки. Не его дело оправдывать, обвинять и подсказывать речи. Его дело воскресить минувший век во всей его истине».

Защищая поэзию от ходячей морали своего времени, он отвергал понятия, утвержденные «тяжелыми педантами», что «прекрасное есть подражание изящной природе и главное достоинство искусства есть польза». «Поэзия по своему высшему, свободному смыслу не должна иметь никакой цели, кроме самой себя» — сказано было Пушкиным в осуждение попытки «новейших» французских поэтов подчинить поэзию религии или политике.

Было бы совершенно ошибочно думать, что Пушкин не понимал необходимости живой связи между художником и действительностью. В приведенной формулировке он лишь заострял свои взгляды на искусство в противовес требованиям голой поучительности. Видя цель поэзии в ней самой, он писал: «Не мешало бы нашим поэтам иметь сумму идей гораздо позначительней, чем у них обыкновенно водится. С воспоминаниями о протекшей юности литература наша далеко вперед не подвинется». «Просвещение века требует важных предметов размышления, пищи для умов, которые уже не могут довольствоваться блестящими играми воображения и гармонии». А это уже очень далеко отстоит от жалкой теории «искусства для искусства», так же например, как далека от нее мысль Романа Роллана о том, что «поэзия должна быть свободна в области чистой мысли и широкой мечты» («Правда», 1934, № 156, «О творческой работе писателя»). «В произведениях величайших поэтов, — говорит Роллан, — существует два раздела: один связанный с эволюцией их времени, другой, значительно более глубокий, превосходящий нужды и желания их века. Этот источник все еще питает новые века. Он увековечил их славу и славу их народов».

Именно как заботу об этом источнике должны мы понимать слова Пушкина о высшем и свободном смысле поэзии.

Одна особенность Пушкина-критика сразу бросается в глаза: он оставался поэтом даже и в области скучных обязанностей библиографа. И. Киреевский

писал отцу в 1830 году о «Литературной Газете»: «Большая часть статей в ней будет писана Пушкиным, который открыл средство в критике в простом извещении о книге быть таким же необыкновенным, таким же поэтом, как в стихах».

Свидетельство тому — «Последний из свойственников Иоанны д'Арк», «О записках Самсона», «О русской литературе с очерком французской» и мн. др. Действительно, Пушкин в статьях часто заменял несколькими живыми образами подробное описание целой эпохи и литературного движения: «Общество созрело для великого разрушения. Все еще спокойно, но уже голос молодого Мирабо, подобно отдаленной буре, глухо гремит из глубины темниц, по которым он скитается. Смерть Вольтера не останавливает потока. Бомарше влечет на сцену, раздевает донага и терзает все, что еще почитается неприкосновенным...» «В чертогах драма изменилась, голос ее понизился, она не имела уже нужды в криках. Она оставила маску преувеличения, необходимую на площади, но излишнюю в комнате. Она явилась проще, естественнее».

Можно было бы привести еще много подобных примеров.

Мы узнаем критика-художника и в предельной сжатости суждений Пушкина. Бросая ту или иную мысль, он никогда не нагромождает доказательств. Она звучит у него афористически. Там, где иному критику понадобились бы целые страницы, для Пушкина достаточно нескольких строк: «Противоположности характеров — вовсе не искусство, но пошлая пружина французской трагедии»; «Молодые писатели вообще не умеют изображать физических страстей, их герои всегда содрогаются, хохочут, дико скрежещут зубами. Все это смешно как мелодрама»; «Истинный вкус состоит не в безотчетном отвержении такого-то слова, такого-то оборота, но в чувстве соразмерности и сообразности»; «Есть два рода бессмыслиц: одна происходит от недостатка чувств и мыслей, заменяемого словами, другая от полноты чувств и мыслей и недостатка слов для их выражения».

Даже характеристики отдельных писателей дает он чаще всего двумя-тремя штрихами, почти не мотивируя их: «Кумир Державина  $\frac{1}{4}$  золотой,  $\frac{3}{4}$  свинцовый»; «Батюшков сделал для русского языка то же самое, что Петрарка для итальянского»; «Лавинь бьется в старых сетях Аристотеля. Он ученик трагика Вольтера, а не природы».

И еще одна черта обличает в Пушкине-критике художника: его пристальное внимание ко всем деталям разбираемого произведения, к механизму стиха, к эпитетам, к метафорам, к звуковой структуре строки, к описаниям, к характерам героев, к плану, к завязке, к сюжету, словом, ко всему тому, что складывается в сумму художественных качеств произведения. Достаточно прочесть его письмо о «Горе от ума», разбор «Нарвского водопада» Вяземского, заметки на «Опытах» Батюшкова, чтобы увидеть, с какой тонкостью, точностью и требовательностью мастера, посвященного во все тайны своего ремесла, судил Пушкин о литературе. Вот почему современники Пушкина так высоко ценили его критический дар. А. Мицкевич в своем «Биографическом и литературном известии о Пушкине» («Le Globe, 1837, № 35») писал, что Пушкин «был одарен необыкновенной памятью, суждением верным, вкусом утонченным и превосходным». Вяземский называет его критиком метким, строгим и светлым, чье одобрение было лучшей наградой за труд, и говорит: «суд его был для меня многозначителен и дорог». Жуковский имел привычку исправлять стих, который не удержался в памяти Пушкина. Каждый такой стих считался дурным по одному этому признаку. Гоголь в 1837 г. признавался, что «ни одна строка не писалась им без того, чтобы он не воображал перед собою Пушкина. Что скажет он, что заметит он, чему посмеется, чему изречет неразрушимое и вечное одобрение свое — вот что меня только занимало и одушевляло».

Но критическое дарование Пушкина не раскрылось до конца, не получило широкого влияния. «Пушкин и его спод-

вижники, — говорит Чернышевский, — обладали многими из качеств, необходимых для того, чтобы оказывать сильное влияние на мнение читающей публики, и однако же их мнения имели и на публику, и на развитие литературы менее влияния, нежели как должно было бы ожидать». Неудачи Пушкина-критика теснейшим образом связаны с неудачами Пушкина-журналиста, а как журналист-издатель Пушкин неизменно встречал преграды. Никакое «Revue des Revues» не могло быть осуществлено им в ссылке. Связь с «Московским Вестником» оказалась призрачной. «Литературная Газета» существовала всего лишь год. Попытка создать «Дневник» кончилась провалом. Лишь за год до смерти Пушкин становится редактором «Современника», издание которого ему пришлось осуществлять в невыносимых политических и цензурных условиях. Вот основная причина, помешавшая Пушкину широко выступить в роли критика и оказать решающее влияние на мнение читающей публики его времени. Вот причины, по которым критическое

его дарование, не находя достаточного практического применения и живого отголоска, искало себе места в его художественных произведениях в письмах к друзьям или находило выход в массе черновых набросков, заметок, статей, писавшихся не для печати.

Поэзия Пушкина затмила все другие стороны его деятельности. В тени осталась его критическая работа, без которой трудно понять этапы формирования его творческой мысли. Статьи и литературная переписка как бы освещают весь путь поэта от лицейской скамьи к вершинам мировой литературы. Путь этот крайне сложен и часто внутренне противоречив. Но общая тенденция могучего роста поэта ясна. Он шел от салонно-кружковой эстетической культуры, создаваемой в узком кругу друзей, от условного, ограниченного избранным кругом языка к «преlestи нагой простоты», к «свежим вымыслам народным», к живому, реалистическому искусству для многих.

### 3. КНИГА ОТЧАЯНИЯ И СМЕРТИ<sup>1)</sup>

#### Н. Соболевский

##### 1

Мировая война. Фронт — изрытые траншеями, развороченные снарядами поля Фландрии.

Дни, начиненные взрывами снарядов и свистом пуль.

Ночи, озаренные пламенем пылающих вокруг деревень.

Замученное, загнанное людское стадо в солдатских шинелях.

«Мы шли, сгибаясь под тяжестью мешков, которые весили больше человека. На нас кричали, нам грозили, мы шли мрачные, без надежды на что-нибудь другое, кроме угроз, навоза и от-

вращения к этим пыткам, обманутые этой ордой извращенных безумцев, которые внезапно, все, сколько есть, оказались неспособными ни к чему-либо другому, кроме как к убийству, и к тому, чтобы их самих потрошили неизвестно зачем».

Когда не осталось деревень, «мы все ночевали под открытым небом... Те, которые раньше бодрились, и те потеряли бодрость. Именно в эти месяцы начали расстреливать рядовых для поднятия воинского духа целыми взводами; именно тогда жандармов стали награждать орденами за способ вести свою местную войну, глубокую войну, без дураков, доподлинную».

Проникнутые сарказмом зарисовки «извращенных безумцев» — офицеров французской армии.

<sup>1)</sup> Луи-Фердинанд Селин — «Путешествие на край ночи», перевод с французского Эльзы Триоле. Предисловие И. Анисимова, ГИХЛ, 1934.

Мастерской портрет одного из главных палачей и убийц, — генерала дез-Антрей, — утонченного «любителя роз» и гурмана, всюду возившего с собой повара и «усовершенствованную кухню».

Тыл — Париж. Разгул спекуляции. Чудовищный разврат. Пир во время чумы.

Эпидемия лжи.

«Все врал с бешенством, превосходя все возможности, превосходя всякий абсурд и чувство стыда, — в газетах, на афишах, пешком, на лошадях... Все взялось за вранье. Наперегонки, кто соврет больше. Скоро в городе не осталось правды.

Того, что от нее оставалось в 1914 году, теперь стыдились. Все, к чему только ни притрагивались, было поддельно: сахар, аэропланы, сандалии, варенье; все, что читали, глотали, сосали, чем восхищались, что утверждали, от чего отрекались, — все это было лишь злостными призраками, подделкой и маскарадом».

И то же палачество, что и на фронте. Госпиталь для психически больных солдат, где они находятся на испытании под наблюдением провокаторов, шпионов и врачей.

«Пробыв некоторое время под наблюдением, можно было тихонько выписаться — либо на свободу, либо в сумасшедший дом, либо на фронт, либо, частенько, на виселицу».

«За приветливыми масками врачи носили наш смертный приговор».

«Многие из находящихся под наблюдением больных, наиболее нервные, приходили в этой атмосфере в состояние такого раздражения, что ночью, вместо того, чтобы спать, они ходили по палате взад и вперед, громко жалуясь на свою тоску, корчась между отчаянием и надеждой, как на неустойчивой глыбе над обрывом. Так они мучились день за днем и в один прекрасный день обрушивались и признавались во всем главному врачу. Они никогда не возвращались».

Больница Бестомба, профессора с прекрасными глазами и бархатным голосом, лечившего электрическим током и «хорошими дозами патриотизма». Отвратительная комедия, в которой обязаны бы-

ли участвовать находившиеся на излечении солдаты. «Уж раз ты туда попал, то нужно было говорить в тон, оживляться, играть или же исчезнуть со сцены».

Знаменитая актриса французского театра, «с развратными рыжими волосами», читающая «героические стихи» солдатам, рассудок которых не выдержал безумия войны.

Селин беспощадно правдиво, яркими и сильными мазками изобразил империалистическую войну во всей ее наготе, укрепляя этим настроения, которые очень «портят музыку» господам империалистам. В этом его большая заслуга. Но у него так же, как и у Ремарка («На Западе без перемен»), Олдингтона («Смерть героя»), Жиано («Большое стадо»), мы не видим зарниц, не слышим раскатов грома надвигающейся революционной грозы.

Селин обходит молчанием революционное брожение среди солдат французской армии, переходившее в последние годы войны в открытые восстания целых корпусов. Он глухо говорит о расстрелах солдат, не объясняя причин этих расстрелов. У него нет ни слова о движении против войны, охватившем широкие массы рабочих и мелкой буржуазии, о растущей революционной агитации в тылу, которая вклинивалась в море казенной лжи и расстраивала патриотическую комедию.

Реализм Селина ограничен. Действительность отражена им неполно.

Селин остается в болоте пацифизма.

Вместо четких и ясных формулировок, раскрывающих истинные причины и цели войны, — туманная и расплывчатая пацифистская фразеология, маскирующая сущность «чудовищного предприятия 1914 года».

Вместо призыва к организованной революционной борьбе, к превращению империалистической войны в гражданскую — вопли отчаяния.

«В войне все было непонятно».

«Почему немцы стреляют в меня? Я не сделал им ничего худого».

«Грандиозная ошибка».

«Мировая насмешка».

«Человекоубийственная мания».

«Громадное бешенство, толкающее одну часть человечества на истребление другой».

«Когда же кончится этот бред? — беспомощно вопрошает Селин. — Когда же останутся наконец, обессилев, эти чудовища?»

А между тем в самом начале книги есть замечательное место, показывающее, что Селин совсем не плохо разбирается в хитрой механике империализма:

«Мы все плывем в одной галере, гребем все вместе. И что же мы получаем взамен? Ничего! Удары хлыстом, неприятности, рассказы и еще всяческие гадости. Они говорят: «Надо работать!» Ну, а работа их еще отвратительнее, чем все остальное. Сидим в трюме, вонючие, потные, отдуваемся — и это все. А наверху, на палубе, на свежем воздухе, беспечные баре гуляют с красивыми, розовыми, раздушенными женщинами. Нас вызывают на палубу. Они надевают цилиндры и начинают нам пышно наворачивать: «Сволоочь! война объявлена. Мы доберемся до негодяев родины № 2 и изничтожим их. Вперед! Вперед! На пароходе есть все необходимое. Ну-ка, хором! Ну-ка, гаркните для начала так, чтобы все дрожало: «Да здравствует родина № 1». Чтобы вас было слышно всюду! Тот, кто будет кричать громче всех, получит медаль и христов гостинец! Чорт побери!.. И кстати те, которым не нравится подышать на море, пусть сдыхают на суше: там это еще проще, чем здесь».

Но Селин нигде не возвращается к «галере», нигде не говорит о переустройстве каторжной галеры, о том, чтобы снять «бар» с ее палубы, перевести туда посаженных в трюм и т. д.

Полная безнадежность.

Война 1914 — 18 годов — прелюдия к новым войнам, которые окончатся только с истреблением всего человечества.

Образы ночи и смерти встают над книгой Селина и, все сгущаясь, будут реять над ней до конца.

## 2

Французская колония в экваториальной Африке.

«Паточное небо». «Теплая вата воздуха». Истерика света и красок. Красная вода рек, красные деревья в первобытном лесу. Биллионы малярийных комаров.

Белые — шайка бандитов, возглавляемая губернатором, перед которым все трепещет, — пауки, высасывающие кровь из негров.

«Коммерсанты, устроившиеся там, казались, воровали и наживались с еще большей легкостью, чем в Европе. На всей территории ни один кокосовый орех, ни одна фисташка не могли ускользнуть из их лап».

Торговля белых с неграми — открытый грабеж.

В лавку приходит семья негров. Жена несет на голове большую корзину с сырым каучуком. Понадобилось, может быть, больше года, чтобы собрать этот каучук. Негры впервые пришли из леса к белым. «Они смыслят в весах не больше, чем во всем остальном». Лавочник сует отцу семейства несколько серебряных монет, а когда тот с недоумением смотрит на него, вырывает деньги, швыряет ему подвернувшийся под руку платок и пинками выгоняет вон.

Пароходы акционерной компании, монополизировавшей всю торговлю в колонии, разгружаются неграми. Эти «вертикальные муравьи» движутся безостановочно, осыпаясь ударами палок белых надсмотрщиков.

Нити торговли сходятся в руках членов правления компании, «всем бандитам бандитов», наблюдающих с высоты улицы Монсей в Париже. Это фактические всемогущие владыки колонии. От них зависит даже назначение губернатора.

Грабеж коммерсантов дополняется грабежом чиновников и военных.

«Лейтенант Граппа драл подвластных ему негров, чтобы извлечь из них налог, из которого он оставлял себе бесстыдно крупную долю».

Селин рассказывает, как этот «маленький Нерон» творил суд и расправу. «Он не любил мыслить: это его раздражало», и, не выслушав объяснений обвиняемых, приказывал «высыпать» каждому двадцать-тридцать ударов пал-

кой, — сколько вздумается. «Сыпались удары гибкой палки, от которой здоровенный осел ревел бы неделю. Негр вертелся, и песок разлетался вокруг его живота брызгами вместе с кровью».

Рабство чернокожих.

И рабство белых: огромное большинство агентов акционерной компании — тоже рабы. Негров подгоняет кнут, белого — призрачная надежда разбогатеть, действующая лучше всякого кнута.

«Незачем больше воспевать Египет и татарских ханов! Эти древние дилетанты — лишь мелкие держиморды с претензиями на высокое искусство извлекать из «вертикальных муравьев» максимальные усилия. Эти примитивные люди не знали, что раба можно называть «мосье», давать ему время от времени избирательное право, даровую газету, а главное — посылать его на войну, чтобы успокоить его страсти».

«Белые неистово подгоняли черных грузчиков: они были усердны и настолько же трусливы и подлы, насколько усердны».

«Они приехали в тропическую Африку, эти человекообразные, чтобы отдать хозяевам свое мясо, свою кровь, свою молодость, мученики за двадцать два франка в день (минус вычеты!), довольные, все-таки довольные до последнего красного кровяного шарика, подстерегаемого миллионным комаром».

Колония не выпускает обратно почти никого: тропическая лихорадка пожирает всех.

«Невозможно было уследить за тем, как исчезали люди, дни и вещи в этой зелени, в этом климате, жаре и комарах: все в одну кучу, клочки фраз, горести, кровяные шарики исчезали на солнце, таяли в водовороте света и красок, и с ними — желания и время, все в одну кучу. В воздухе было лишь одно сверкающее томление».

И не только белые, ослепленные призраком богатства и власти, развращенные своей ролью палачей и насильников, покорно несут ярмо, — негры также мирятся с рабством. «От негров несет нищетой, безграничным тщеславием, гнусным смирием. Словом, та же беднота,

что и у нас, только детей у них еще больше, меньше грязного белья и красного вина».

«Удары надсмотрщиков падали на великодушные спины негров, не вызывая ни сопротивления, ни жалоб... Боль переносилась так же просто, как знойный воздух этого горнила».

Негры, подвергавшиеся экзекуциям лейтенанта Граппа, также относились к ним невозмутимо спокойно.

«Негритянские племена плесневели в чаще первобытного леса, вымирая от сонной болезни и постоянной нищеты».

Никакой попытки дать отпор белым бандитам, никаких признаков революционного движения.

Снова рядом с замечательно верным, острым, может быть, непревзойденным во всей художественной литературе, изображением колонии в эпоху империализма, рядом с гневным обличением колониальных порядков — явно односторонний, неправильный, искажающий факты показ туземного населения колонии в виде послушных рабов, навеки осужденных остаться рабами.

Негры изображены такими, какими хотели бы видеть их хозяева колонии. Колониальный режим незыблем, несмотря на всю свою чудовищность. Нет силы, которая могла бы его взорвать.

Снова ночь, отчаяние и смерть.

### 3

Нью-Йорк. Город-призрак.

«Бесконечные раны улиц, на дне которых копошатся люди, от края до края, от муки до муки».

Где-то на необъятной высоте, между небоскребами, видны «день и чайки, и кусочки неба», а внизу «освещение, нездоровое, как свет в лесу, и такое серое, что оно наполняет улицы как бы кусками грязной ваты».

Непрерывный грохот надземного метро.

Тупое, бездушное самодовольство толпы, заливающей улицы богатых кварталов.

Очерченные беглыми штрихами кварталы бедноты. Кривоногие дети и шар-

манки. Взрослые, похожие на крупных ручных животных, привыкшие скучать, не понимающие, что к чему.

Ощущение бесконечного одиночества и смертельной тоски в американском муравейнике.

Образы, проникнутые безнадежностью. Тупик.

Детройт — царство Форда.

Толпа безработных у ворот завода.

«Почти никто в этой толпе не говорил по-английски. Они следили друг за другом, как недоверчивые животные, которых часто бьют. От всей этой массы пахло мочей, как в госпитале. Когда они заговаривали, приходилось отворачиваться, оттого что нутро бедняков заранее уже пахнет смертью».

«Вы пришли сюда не для того, чтобы думать, а для того, чтобы проделывать те движения, которым вас научат... Нам не нужны на заводе люди с воображением. Нам нужны шимпанзе!» — обрывает производивший освидетельствование врач безработного, вздумавшего заговорить о своем образовании.

Бесконечный, оглушительный грохот тысячи тысяч машин, «который хватает вас изнутри, зажимает голову, перетрывает кишки, поднимается непрерывными толчками к глазам».

Конвейер. Одурачивающее однообразие движений. Рабочие превращаются в автоматы, перестают думать. Вне завода это тоже полулюди.

«Тошно смотреть на рабочих, которые нагибаются над машинами, всячески стараясь им угодить, вместо того, чтобы разом со всем этим покончить, — с этим запахом масла, с этим паром, выжигающим через горло барабанные перепонки и внутренность ушей».

Перед нами пример недиалектического подхода к изображению действительности, отличающего реализм, отмеченный буржуазной ограниченностью и упадочничеством, от социалистического реализма.

Показана разноязычная несознательная толпа ищущих работы на заводах Форда. Она вольется в гигантский коллектив, организованный, объединенный, крепко спаянный процессом производства

и капиталистической эксплуатацией; произойдет переплав этой толпы в рабочих крупного капиталистического производства со всеми их классовыми особенностями. Такова фактическая тенденция развития. Но она не вскрыта. Наоборот. На безработных, изображенных Селином, лежит печать обреченности и смерти. Разве могут они стать частью армии «строителей нового мира»?

Такой же безнадежностью проникнуто изображение рабочих Форда: машины и конвейер убили в них мысль и волю, превратили их в дрессированных «шимпанзе». Опять извращена основная тенденция развития — рост революционной классовой сознательности пролетариев, которые конечно не мирятся и не могут мириться с усовершенствованным физическим и духовным калечением их на заводах Форда.

Селин возмущается тупым терпением рабочих Форда, которые не хотят «разом покончить со всем этим», но это пустая фраза, не более. Что значит «разом покончить»? Разрушить машины — вернуться к движению луддитов начала девятнадцатого века? Или покончить с капиталистической системой? Но это задача непосильная для рабочих Форда.

И это лицемерная фраза, так как Селин вовсе не хочет низвержения капитализма. Бунтуя против капитализма, он остается прикованным к нему, как каторжник к галере.

Селин изображает безработных и рабочих такими именно, какими хочет видеть их господин Форд. «Капитализм ужасен, но нет силы, которая могла бы его победить» — говорит своими образами Селин.

Не видя зари новой жизни, он продолжает свое путешествие в ночь.

#### 4

Парижское предместье Гарен-Ранси, в «частоколе из труб», с каменными клетками в домах-казармах, с безысходной нуждой, вечно окутанное пологом дыма, закрывающим свет солнца.

Между громадами домов — изредка домики мелких рантье.

К Ранси примыкает «зона» — беднейшая полоса Парижа, «застроенная лачугами, зажатая между отбросами и помоями и окаймленная тропинками, по которым сопливые и не по летам развитые девчонки убегают из школы, чтобы заработать под заборами двадцать су, жареную картошку и триппер».

Бедноту, населяющую Ранси, — в огромном большинстве людей наемного труда: приказчиков, конторщиков, грузчиков, фабрично-заводских рабочих (Ранси окружено частоколом труб фабрик и заводов), — эту бедноту Селин, во-первых, не дифференцирует, не выделяет из нее индустриального пролетариата, во-вторых, изображает в виде омерзительных гадов, копошащихся на дне большой ямы.

Отвращение к бедноте, прорывавшееся у Селина и раньше, достигает здесь предела. Его буквально сводят судороги, он говорит о жителях Ранси с перекошенным от ненависти лицом. Яркие картины капиталистического насилия, которые Селин развернул на предыдущих этапах своего путешествия, отходят здесь на задний план. Все заслоняет пасквиль на бедноту, на промышленный пролетариат в том числе.

«Мои пациенты, — говорит Бардамю, главный персонаж книги, от имени которого ведется рассказ, — показывали мне одно уродство за другим, все, что они прятали в лавочке своей души и не показывали никому, кроме меня... Они скользили у меня меж пальцев, как змеи».

«Погодите, блевуны! Не убивайте меня еще. С подобострастным и безоружным видом я расскажу про все. И уверяю вас, что тогда вы начнете отступать, как те слюнявые улитки, которые приходили в Африке гадить в мою хижину».

Бардамю описывает сцены, которые он наблюдал из окон своей квартиры.

Вот приказчик с женой — садисты, истязавшие дочь до потери сознания, после чего они приходят в возбуждение и занимаются «любовью» у кухонной раковины.

До Бардамю доносятся крики из двадцати домов сразу.

«Сотни пьяных самцов и самок населяют эти кирпичи и начинают эхо руганью, особенно после завтрака в субботу. Это наиболее интенсивный момент семейной жизни. Сначала треплют языком, издеваются друг над другом, потом, нализавшись, папаша замахивается стулом, как топором, а мамаша кочергой, как саблей... Удары приплюсываю к стене все, что не может защититься и ответить тем же: детей, собак, кошек...»

Бедняки относятся друг к другу по-волчьи. Даже когда они приходят справиться о здоровье больного ребенка, они делают это из простого любопытства. «Это их развлекало». Сочувствие чужому горю, чужому старанию им недоступно.

Никаких проявлений дружеского участия, взаимопомощи, товарищества, даже среди индустриальных рабочих, переделываемых, перевоспитываемых коллективным трудом и коллективной борьбой.

Отсутствие самых обыкновенных человеческих чувств: ни семейных привязанностей, ни заботы о детях, ни любви, — «самцы» и «самки» способны лишь на голый физиологический акт в промежутках между потасовками.

И тупоумие — «подавляющее тупоумие бедняков».

«Рабочий с забинтованной рукой, раненный производством, которому не на что выпить — нечем наполнить свое сознание», — символическая фигура.

«Эти рабы потрясают свои цепи лишь после дня алкогольной свободы».

Обычно они отличаются гнусным смирением.

Словом, бедняки — «хлам», «навоз».

Рассказывая об одной буржуазной семье с подмоченной репутацией, вынужденной переехать из своего района в Ранси, Бардамю говорит, что, «когда теряешь к себе уважение, то идешь к народу».

За исключением пресловутого гнусного смирения», народ, населяющий окраины Парижа, представляет в изображении Бардамю-Селина ту *canaille*, ту «сволочь», в образе которой всякий



благонамеренный французский буржуа рисует жителей парижских предместий — санкюлотов Великой французской революции, коммунаров 1871 года.

Под злостной карикатурой Селина охотно подпишется любой реакционер, любой фашист.

В книге есть любопытные указания на то, что население Ранси сохранило верность традициям санкюлотов и коммунаров. Одна из площадей Ранси переименована в площадь Ленина. Это мог сделать только местный муниципалитет. И действительно, «этот муниципалитет, по словам Селина, вел ужасную политику, по правде сказать, политику анархистов, политику хулиганов. Об этом говорила вся Франция. Ранси было предано анафеме».

Если это расшифровать, то это может означать лишь одно: большинство в муниципалитете предместья Гарен-Ранси составляли социалисты левого крыла и коммунисты. Это подтверждает и статистика муниципальных выборов в Париже. Поэтому вся буржуазная Франция и Селин вместе с нею и предали анафеме Ранси, и окрестили его муниципалитет анархистами и хулиганами. Селин выдает себя с головой и сам разоблачает чудовищное нагромождение лжи в нарисованной им картине Ранси и классовую подоплеку этой лжи.

Ранси было ареной классовой борьбы. Вокруг Бардаму кипело революционное движение, происходили митинги и демонстрации, развевались красные знамена, раздавался мерный шаг рабочих колонн, гремел «Интернационал», но он не обмолвился об этом ни единым словом. Вместо этого он выхватил отдельные факты пьянства, хулиганства, драк, которые он конечно наблюдал вокруг себя, даже среди рабочих, — капитализм порождает эти факты, политика буржуазии, ее «агитпроп» действует в этом направлении, — но он преувеличил их в сто, в тысячу крат, отбросил все остальное и дал безобразное, уродливое отражение в кривом зеркале.

В таком же карикатурном и отталкивающем виде изображает Селин и наиболее близкий ему социальный слой —

мелкобуржуазную интеллигенцию, даже ее цвет, высококвалифицированных специалистов, приписывая им всякие пороки, но вместе с тем подчеркивая совершенно правильно прозябание, на которое они обречены при капитализме.

Как типичный представитель их показан ученый бактериолог Парапин, создавший себе славу юмористическими открытиями и поддерживавший ее статьями, которых никто не читал. Небритый, похожий на беглого каторжника, в пальто, покрытом множеством пятен и перхотью, Парапин грязен и уродлив, жаден и завистлив, ненавидит свою науку и занимается развращением малолетних девочек: «Это все, что мне нужно от жизни».

Но в описании Ранси есть замечательные страницы, где Селин поднимается до реализма Бальзака. Он дал совершенно исключительный по силе изображения тип мелких рантье — супругов Анруй. Напрашивается сравнение их со стариком Гранде.

Заветной мечтой Анруй было купить себе домик и стать рантье. Пятьдесят лет жизни ушло на это. Когда они достигли цели, им было уже под семьдесят: жизнь прошла. «Они приобрели дом за счет тела и духа своего, как улитка». Они отказывали себе во всем: не покупали газет, морили себя голодом. Страсть к накоплению довела их до помешательства и до злодейства. Старуху мать они поселили в какой-то закуте в саду, вроде собачьей конуры. Она прожила там двадцать лет, почти никогда не вылезая оттуда, среди собственных испражнений, запершись из боязни, что сын и невестка ее убьют. И она имела основания бояться этого. Завладев имуществом и пенсией старухи, супруги Анруй рассудили, что лучше избавиться от нее совсем: приходилось все-таки кормить мать, а, кроме того, ее конуру можно было сдать в наем. План посадить психически совершенно здоровую старуху в сумасшедший дом не удался. Тогда они решили ее убить, но заряд дроби, предназначенный для старухи, попал в лицо наемному убийце. Опять не вышло.

## 5

Книгу Селина раздражают противоречия. Это противоречия классовой природы автора. Мы уже подошли к ней вплотную. И Селин помогает нам раскрыть ее окончательно. В биографии Бардаму есть элементы автобиографии. Из-под портрета Бардаму явно проступает облик самого Селина. Было бы конечно ошибкой видеть в его жизни простую автобиографию, целиком и полностью отождествлять Бардама и Селина: в канву событий, действительно пережитых автором, его творческая фантазия вплела, разумеется, множество вымышленных происшествий, положений, встреч. Бардаму не является точной копией Селина.

Но Бардаму несомненно выражает в основном мировоззрение и мироощущение автора. Это подтверждается документально неоднократно выступлениями Селина на конференциях, на митингах, в прессе.

Селин относится отрицательно и к капитализму, и к социализму, и к буржуазии, и к пролетариату, — занимает позицию абсолютного отрицания.

Бардаму, как и Селин, мелкобуржуазный интеллигент, ущемленный капитализмом, — бедняк, такое же пушечное мясо во время войны, как и вся остальная беднота, пария буржуазного общества, вынужденный довольствоваться жалкими крохами, падающими со стола господ. У матери Бардаму есть мелочная лавочка, но «торговля доставляла ему с матерью много горя и мало денег». Бардаму все время бьется, как рыба об лед. Студентом он не брезгует никакой работой и живет впроголодь. После войны едет в колонию, надеясь «разбогатеть», но едва не погибает там. В Нью-Йорке бродит без работы. В Детройте поступает на завод Форда, но не выдерживает этой каторги. Вернувшись в Париж, бедствует в течение пяти лет, прежде чем кончить медицинский факультет: ему приходилось браться за «работу, которая выжигает горло и носоглотку почти так же, как у Форда». Сделавшись врачом, имеет грошевую практику: «питается преимущественно

сушеными овощами», ходит всю зиму в легнем пальто, продает мебель, чтобы заплатить за квартиру. И нет никакой надежды выбраться из этой ямы. Впереди глухая стена.

«И хуже всего то, что начинаешь спрашивать себя, будут ли завтра силы, чтобы продолжать делать то, что делал накануне и уже столько времени до этого, где взять силы для всех идиотских хлопот, для тысячи ~~бессмысленных~~ проектов, попыток ~~выбраться~~ из подавляющей нищеты, попыток неизменно тщетных, и все это для того, чтобы лишний раз убедиться, что судьба неприступна, что все равно опять сорвешься и будешь лежать под стеной в страхе перед завтрашним днем, все более ненадежным, все более мерзким».

Бардаму не может выбиться не только потому, что он безволен и труслив, совсем не похож на Растиньяков и Сорелей — сильных и смелых хищников, с горячей кровью и волчьей хваткой, гладиаторов, выходивших на арену жизни, чтобы победить или умереть. В эпоху послевоенного кризиса, в эпоху агонии капитализма большинство даже Растиньяков и Сорелей разделяет судьбу десятков и сотен тысяч интеллигентов во Франции (и не в одной Франции), выброшенных за борт, обреченных на голодное прозябание, о которых писал недавно в «Известиях» Илья Эренбург.

И Бардаму начинает бунтовать. Он заходит очень далеко в разоблачении бандитов капитализма, пассажиров «верхней палубы галеры», посылает проклятия «богатым» (Бардаму-Селин знает только деление общества на богатых и бедных — не дифференцирует классов), с величайшей ненавистью изображает орудия капиталистического насилия и обмана: офицеров, чиновников, попов.

Но это бунт взбесившегося мелкого буржуа. На всем протяжении романа Бардаму не принимает никакого, даже самого отдаленного, участия в революционном движении. Он и не думает о низвержении капитализма, о замене капитализма социализмом, несмотря на нарочитую, подчеркнутую, подчас трескучую революционность своей фразео-

логии. Бардамю отравлен капитализмом. Он мечтает о том, чтобы самому стать богатым. С каким увлечением описывает он богатые кварталы Парижа! «Это хороший кусок города, — говорит Бардамю в заключение, — все остальное — страдание и навоз».

«Когда делаешься богатым, тогда все сейчас же становится просто, божественно просто, все, что было так сложно за минуту до этого. Все преобразуется, и чудовищно враждебный мир сейчас же клубком сворачивается у ваших ног, послушный и бархатистый».

Но разбогатеть — несбыточная мечта: жизнь на каждом шагу разбивает ее. Тем не менее Бардамю цепляется за эту мечту, остается в плену миража.

Анархический индивидуалист Бардамю органически не способен понять и воспринять социализм.

О своей вражде к социализму Бардамю-Селин избегает говорить в книге открыто. Это приходится расшифровывать. Но совершенно ясно, что он относится к борьбе за социализм крайне враждебно: победа социализма поставит у власти пролетариат, «бедноту», от которой его отделяет пропасть, хотя он сам бедняк. Ненависть и презрение к пролетариату вынесены им из мелкобуржуазной среды, воспитаны в нем лицеем и университетом: буржуазная наука, которой начинали ему голову, вся насквозь пронизана этой ненавистью, этим презрением. Бардамю возвращен буржуазией, опутан буржуазными понятиями и предрассудками. Необыкновенно гордый своим образованием (он не раз упоминает о нем), своими хорошо вымытыми руками и чистыми воротничками, он делает гримасу отвращения, встречаясь с блузниками, часто в поту и грязи, которые говорят коряво и не постигли всей школьной премудрости. Подойти к ним поближе, узнать и понять их Бардамю не желает: для него это низшая порода людей. В этом трагедия Бардамю-Селина и ему подобных.

Постоянно срываясь на дно нищеты, ютясь на задворках буржуазного общества, чужой и враждебный классу, исто-

рическая миссия которого состоит в том, чтобы убрать смеющийся труп капитализма и построить новый, прекрасный, солнечный мир, — Бардамю впадает в отчаяние, в мрачный пессимизм:

«Замолкла в нас музыка, под которую плясала жизнь, — вот и все. Вся молодость умерла где-то там, в конце света... И куда итти, — спрашиваю я вас, — когда нет уже при себе необходимой дозы безумия? Истина — это бесконечная, предсмертная агония. Истина этого мира — смерть».

Точно невидимый орган играет где-то Реквием, не умолкая.

Переносить муку жизни можно, лишь обладая дозой безумия или погружаясь в призрачный мир. В Нью-Йорке Бардамю ходит в кинематограф: «торопится набраться побольше снов, чтобы перейти через жизнь, ожидающую на улице, протянуть еще несколько дней среди зверств людей и вещей».

Но гаснут огни кинематографа, и Бардамю снова видит страшное лицо жизни и ощущает дыхание смерти: «Нужда грызет часы и годы, бессонница замазывает серым цветом целые дни и недели, и может быть, рак уже подымается из прямой кишки, добросовестный и кровотокающий».

В книге Селина не слышно смеха. Не видно ни одного веселого лица. Радость жизни умерла. И даже природа — для других вечный источник обновления и жизни — возбуждает в нем ужас и наводит на него тоску.

«Истина — смерть».

Люди принимают за истину призрак.

«Научное безумие, более рассудительное и более холодное, чем всякое другое, в то же время самое невыносимое. Но когда удалось добиться возможности существовать в каком-нибудь месте при помощи определенных кривляний, хотя бы существование это было мизерно, приходится продолжать или подождать, как кролик».

Селин издевается над научными открытиями знаменитого бактериологического института Биодюре — по всем признакам института Пастера.

Все работающие там ученые не верят больше в науку. Веру в науку сохранил

только уборщик института, подметающий за ними сор в течение тридцати лет.

Перелистывая томик Монтэня, Бардамю находит, что и у Монтэня нет ничего, кроме прописных истин, кроме покрытых плесенью, никому ненужных триюизмов.

«Стоит покопаться, и сейчас же пустота — на всей земле пустота».

Селин достигает предела отрицания, предела отчаяния.

Беспросветная тьма. Черная ночь без конца.

«Так вертится вселенная среди огромной угрозы и молчания ночи».

«Я заснул в моей собственной ночи — в этом гробу».

Образ ночи неотступно преследует Селина.

Заглядывая в себя, Бардамю видит там одну мерзость. С каким-то мучительным наслаждением копается он в нечистотах овоей души и выворачивает их наружу. Он не находит в себе никакой точки опоры, ничего, за что он мог бы ухватиться, что поднимало бы его в собственных глазах, позволяло бы ему уважать себя, делало бы твердой и уверенной его поступь.

И это увеличивает его отчаяние, усиливает ощущение мрака.

Он — жалкий трус. Страх доминирует в нем над всем, руководит всеми его поступками. «В жизни чаще всего помогает страх. С того дня я отказался от всякого другого оружия и добродетелей».

Он подличает и унижается, чтобы «спасти шкуру». У него нет ни гордости, ни самолюбия, ни чувства собственного достоинства.

«Отказавшись от добродетелей», Бардамю все глубже и глубже увязает в трясине всяческих пнуностей.

Очутившись во время войны в Париже, Бардамю проводит ночи в лакейских особняках богатых аргентинцев, поставлявших мороженое мясо на армию, в то время как его возлюбленная Мюзин веселится с ними. Сверху доносятся звуки рояля, прерываемые долгими паузами; лакеи усиленно подливают Бардамю

белого вина и называют его «котом». «Котом» называет его и Мюзин.

В Детройте Бардамю делается сутенером.

Вернувшись в Париж, пыгается вместе с супругами Анруй засадить их мать в сумасшедший дом, надеясь «заработать на этом деле тысячу франков».

Когда это не удается, становится соучастником замышляемого бандитского убийства старухи. После провала предприятия берет две тысячи франков за молчание. Когда в конце концов его приятель Робинзон все-таки убивает старуху, Бардамю укрывает убийцу.

Кроме того, он делает немало пакостей помельче.

Бардамю не только отчаявшийся мелкий буржуа, как Селин, но и люмпен-пролетарий, опустившийся на самое дно. Он заражен гангреной капитализма. Он весь гнилой.

Обвиняя бедноту Гарен-Ранси во всяких пнуностях, Бардамю смотрит на нее сквозь призму собственной скверны. Судя о людях по самому себе, меряя их на свой аршин, он убежден, что каждый человек — гад: «Когда умирает взрослый, всегда приятно: все-таки одним гадом меньше». Рассказывая о готовящемся убийстве старухи Анруй, Бардамю говорит, что «всякий сделал бы это, если бы был уверен в своей безнаказанности».

Отсюда крайний цинизм книги — цинизм образов и языка; в ней чувствуется не только истерическая злоба раздавленного капитализмом мелкого буржуа, но и моральное одичание люмпен-пролетария.

Пессимизм Бардамю тем мрачнее, что подлинное безумие коснулось его своим черным крылом. На фронте он сошел с ума, «повредился навсегда». Он сам говорит о «путанице в своих мыслях и поступках», о своем «постоянном бреде», «о чем-то черном и мрачном, что навалилось на него» и давит его мозг.

Отсюда его упоение страданием, тяга ко всему уродливому и больному, темному и жуткому, путешествие на край ночи, — туда, где ночь человеческого

падения, ужаса, отчаяния и смерти всего глубже, всего мучительнее.

Интересна сцена в конце книги, где Бардаму идет к дому Анруй: он хочет видеть госпожу Анруй, главную виновницу убийства старухи, полупомешанную злодейку. Его неудержимо тянет к ней, но, дойдя до крыльца, он поворачивает назад. Его останавливает мысль, что, если раньше госпожа Анруй могла идти в ногу с ним, то теперь ей его не догнать: «Теперь она недостаточно низка для меня, она не может опу-

ститься ниже меня. Для нее ночь вокруг меня слишком глубока».

Книга бурного и страстного протеста против безумия и зверств капиталистического мира — плевков из желчи и крови в лицо этому миру и вместе с тем книга клеветы на живые силы революции, — книга отчаяния, безумия и смерти.

Единственный в своем роде литературный памятник эпохи распада капитализма.

#### 4. ПИСЬМА БЕРАНЖЕ

(С предисловием и примечаниями Н. Славятинского)

(Окончание<sup>1</sup>)

XXVI. Господину де-Ламенэ

17 декабря 1837 г.

Дорогой и глубокоуважаемый друг, я получил прекрасную книгу, и бесполезно вам говорить, с какой радостью и каким восторгом я прочитал ее! Еще одним добрым делом больше в вашей жизни, и народ будет вам за него признателем, как он был признателем за «Речи верующего». Один из моих друзей писал мне, что вы унаследовали чернильницы Боссюэ и Фенелона и что вы опускаете перо то в одну, то в другую. Мне не удаются красивые фразы: я даже редко повторяю их; но фраза моего провинциала (письмо получено мной с юга) содержит истину, и вам я передаю ее в особенности потому, что это слова молодого человека. В самом деле, ничто не должно вам так нравиться, как успех среди молодежи. У меня были вчера молодой художник и молодой поэт; мне хотелось бы, чтобы вы могли их слышать: они, однако, еще не знают вашего последнего произведения, которое я поспешил дать им почитать, чтобы вознаградить их за то удовольствие, которое они мне доставили.

Но я представляю на ваше усмотрение одно критическое замечание. Я нахожу, что в этой книге вы слишком умеренно пользуетесь этими евангельски-умилительными притчами, которые с таким

духовным изяществом льются из вашего сердца, как выражение вашего стиля, и с помощью которых так глубоко врезаются наставления в память тех, кто слушает вас. Кроме этого преимущества, книга пополнилась бы рядом новых страниц, потому, что в этом отношении ей может быть сделан упрек: она чересчур коротка. Правда, некоторые из ваших страниц стоят целых томов. Как раз это я и говорил себе, читая вас и думая о той папкотне, которой я занимаюсь. Я тоже хотел писать для народа, и тоже для того, чтобы просветить его; но, по правде говоря, могу ли я продолжать дело, которым вы занимаетесь с таким умом и красноречием? Смелость оставляет меня, и мне надолго придется отложить в сторону мое перо, перо новичка, прежде чем я решусь приняться вновь за свои бумаги; и это тем более, что я вовсе не намерен отказываться от желания перечитывать вас.

Надеюсь, что вы в добром здравии; не забудьте написать об этом, мой дорогой друг, и сказать, какие планы лелеете вы в настоящее время. Будете ли вы в Париже в конце апреля? Поедете ли вы в Бретань? Не стремитесь ли вы в Турен? Я забросал вас вопросами. Прошу вас передать мой дружеский привет Бону и вашей любезной кузине.

До свидания! Навсегда ваш, от всего сердца,

## XXVII. Господину де-Ламенэ

1 августа 1838 г.

Мой дорогой друг, я не хотел вам писать, так как я знаю, что вам нельзя терять ни минуты. Но, будучи вынужден прибегнуть к вашему содействию, чтобы передать мою благодарность Дидье, адрес которого я потерял, я осмеливаюсь поздороваться с вами, слегка приоткрыв вашу дверь. Не бойтесь, это не полиция, пришедшая осмотреть ваши бумаги, хотя мне доставило бы большое удовольствие перелистать одну рукопись, которая, как говорят, растет на глазах ради вашей славы и нашего блага. Но правда ли, что в вашей мансарде был полицейский обыск? Я прочел об этом сегодня не в одной, а в двух газетах. У меня остались сомнения. Но, по правде говоря, к чему сомневаться? Разве этот поступок хуже других? И разве вы не заслужили, чтобы беззаконие остерегалось вас? К тому же они жаждут благословений из Рима. Я сомневаюсь, однако, чтобы наше начальство обеспечило себе этим способом вечное спасение. Только бы ваш покой не пострадал от этого, дорогой друг! Мне очень хотелось бы, чтобы это глупое и подлое вторжение стоило вам лишь нескольких потерянных минут, презрительной улыбки и пожатия плеч.

Бенуа, который так добр, что сообщает мне новости о вас, говорит, что вы, пожалуй, работаете чересчур много, в интересах вашего здоровья умерьте немного применение ваших драгоценных способностей, чтобы просвещать нас долее. Вы обязаны сделать это ради народа и ради ваших друзей; достаточно вам сказать, что, если бы от меня зависело, я предписал бы вам это законодательным путем.

До свидания! От всего сердца ваш  
Беранже.

P. S. Я здоров и очень доволен своим теперешним положением. Вы не можете себе представить, сколько выражений дружбы было получено мной за последние 3 месяца! Госп. де-Шатобриан,

расставшийся со своим домом на улице д'Анфер, хотел помочь мне остаться в отставке, от которой я вынужден был отказаться! Я был очень тронут этим проявлением интереса с его стороны.

Я прибавил эти слова, чтобы избавить вас от всякого беспокойства за мое положение, так как знаю, что оно вас занимает. Мне хорошо. Очень хорошо.

## XXVIII. Господину Перротену

3 сентября 1838.

Мой дорогой Перротен, предосторожности никогда не лишни. Уступая вам права свои на мои песни, напечатанные и опубликованные вами (а я признаю своими только те, что вышли в издании in — 12), уступая вам, повторяю, навсегда все мои права на песни, я равным образом отдал в вашу собственность песни, которые я мог написать до дня моей смерти, каково бы ни было их количество. Вот уже несколько лет, как вы мне выплачиваете за право издания ренты в 800 франков, эту пожизненную ренту в последний раз вам угодно было повысить до 1.200 франков. Признавая с благодарностью ваше хорошее отношение, я обеспечиваю за вами всеми возможными средствами собственность не только на опубликованные песни, но и на те, что я сочиняю еще время от времени.

На тетради, куда я их записываю, я позаботился написать: «Эта тетрадь принадлежит господину Перротену согласно частному договору между ним и мной». Итак, после моей смерти вам стоит лишь потребовать, и эти песни будут переданы так же, как и немногочисленные примечания, которые я смог составить к прежде изданным томам, — примечания, записанные на одном экземпляре изданий моих сочинений in — 12. Но так как бумаги мои могут исчезнуть или затеряться, то я хочу принять еще одну предосторожность по отношению к рукописям песен. Я вручаю вам сделанную мной копию этих новых песен и прошу вас отдать ее на хранение

в руки нотариуса, г. Деффена, пользующегося вашим доверием. Я обещаю вам присылать те, которые я могу написать позднее, для присоединения их к ранее внесенным на хранение, чтобы они оставались там до моей смерти, так как я полон решимости впредь не опубликовывать ни одной из них, как условлено между нами. Смотрите же хорошенько, мой дорогой друг, и держите их за семью печатями, чтобы никто не мог ознакомиться с ними. Если мне вздумается внести в них какие-либо исправления, я отмечу их в остающейся у меня тетради, и я присоединю их в виде errata к следующим посылкам, которые я адресую вам.

Вы чувствуете, что я предпринимаю столь необычные для меня хлопоты единственно в ваших интересах и по долгу совести. Справедливо, что я обеспечиваю за вами исключительное право собственности на песни моей старости, у которых, быть может, не будет другого достоинства, что они явятся дополнением к моим песням — этим медам моей жизни, но они, по крайней мере, будут обладать этим достоинством.

Разумеется, при издании не надо придерживаться такого порядка, который я устанавливаю здесь. Если явится возможность, я укажу порядок, в каком надо их опубликовать.

Я вас очень прошу, чтобы в том невероятном случае, если вы умрете раньше меня, пакет, который вы будете хранить у нотариуса, был мне возвращен нераспечатанным; со своей стороны, я обещаю принять все необходимые меры, чтобы обеспечить за вашими наследниками право собственности на эти песни. Я думаю, для этого достаточно, чтобы вы оставили собственноручную записку о возвращении мне пакета. Это мне нужно для того, чтобы опубликование песен не произошло без моего согласия, если ваше имущество перейдет в руки несовершеннолетнего. Простите, что я думаю обо всем, даже о наиболее тяжелых обстоятельствах; вы знаете, что это в моем характере. Вы убедитесь в этом после моей смерти, так как вы увидите, что в моем завещании я позаботился упомянуть о происшед-

шем между нами соглашении, по которому к вам переходит собственность на мои напечатанные песни и на рукописи.

Так как вы, я думаю, сохраните это письмо, то я рад засвидетельствовать в нем мою благодарность за то, что вы сделали по отношению ко мне. Вы пришли мне на помощь в трудную для меня минуту, и я должен прибавить для тех, кого это удивит, что, если я не принял большого участия в ваших приключениях, то лишь потому, что я не считал это справедливым, зная, насколько ваша ловкость содействовала успеху большого издания. Впрочем, я был вознагражден за свое поведение тем, как вы повели себя по отношению ко мне. Примите мою благодарность и уверения в моей глубокой дружбе.

### XXIX. Господину де-Ламенэ

8 марта 1839.

Дорогой и почитаемый друг, вы настолько добры, что беспокоились обо мне. Я писал бы вам чаще, если бы я не боялся отрывать вас от ваших размышлений и трудов. Я слышался о них много чудес, и это меня несколько не удивило. Я заранее радуюсь за нашу публику, которая нуждается в таком голосе, как ваш, чтобы держать голову выше этого потока грязи, в который нас заставляют погружаться все глубже и глубже, вызывая в нас крики негодования. Я тоже кричу из моего угла, но я не отчаиваюсь. И это потому, что я основываю мои надежды не на том, что уже есть, но на том, что еще только совершается. Присмотритесь внимательнее к тому, что мы представляем собой как нация, и вы увидите, что испорченность никогда не пускает в нас глубоких корней. А грязь, возмущающая нас, быть может, напоминает нильский ил. Разве вы не видите, что у самой буржуазии, часто такой эгоистичной, есть моменты пробуждения. Я предсказывал нашей молодежи, что она кончит ссорой с королевской властью: мое предсказание начинает сбываться. Правда, от этого не выйдет пока большого толку, но много уж и

то, что произошло, это — парламентское возмущение, вожди которого, как мне кажется, не смогли предугадать всех его последствий. Мой дорогой друг, мы слишком часто забываем, что живем в ученические годы. Все мы школьники, и часто наш колледж приходит в возбуждение, ученики в нем непослушные, и что хуже всего — учителя выказывают невежество. Это неизбежно. Но когда любимый учитель возвышает свой голос, педанты умолкают, ученики успокаиваются, слушают и аплодируют. Говорите же, мой друг, говорите, и вы увидите, что есть люди, которые и поймут вас, и будут вам повиноваться. Не приходите же больше в отчаяние от нашего времени, надеждой которого вы являетесь. Что касается меня, то я едва смею признаться, что я сочиняю еще песенки, не находя ничего более подходящего для себя. Я чувствую себя прекрасно на улице Шануано, и она не кажется мне более отдаленной от Парижа, чем та, где вы нашли себе убежище. Если память мне не изменяет, от вас недалеко до телеграфа. Раз вы поселились там, то я полагаю, что эту улицу, где я никогда не видел домов, стали теперь застраивать. Самое красивое место для прогулки у вас — это кладбище, куда я часто отправлялся помечтать, живя на улице Тур д'Овернь.

Я хотел бы узнать, как поживает Бенуа с семьей. Скажите же этому ленивцу, чтобы он дал о себе знать. У меня была надежда увидеться с ним в прошлом году, а он даже не написал мне.

Мне очень приятно, что вы отзываетесь так о Леру, которому я желаю всяческих благ. Я согласен с вашим мнением о его способностях и его доктрине. Если мне удастся, я его уговорю отказаться от метафизики, которая вечно запутывается в пантеизме, веровании, которое на мой взгляд не может быть истинным, потому что оно, как мне кажется, опрокидывает мораль и приводит мир к политеизму. С моей стороны чересчур смело выражаться так, особенно, когда крупнейший поэт нашего времени бросается, очертя голову, в то

верование, которое я порицаю. Что делать? Я всегда был спиритуалистом и очень мало приверженцем министерства. Надо быть снисходительным к старому песеннику.

Человек, которому я поручаю доставить мое письмо, это г. Чечилья, молодой неаполитанский изгнанник, который просил меня дать ему случай повидаться с вами. Друг его, Ташро, являющийся моим другом, привез его недели на две в Париж вопреки полиции, назначившей ему для жительства Тур. Чечилья, секретарь партии молодой Италии, опубликовал по-французски историю Партенопейской республики и собирается напечатать здесь исторический роман «Mazaniello». Заглавия этих произведений достаточно говорят вам о том, что изгнание не изменило убеждений автора, которые были причиной его высылки. Нельзя упрекнуть себя, что сделаешь чересчур много, желая смягчить результаты пережитых им бед, поэтому-то мне и хотелось доставить ему удовольствие повидать вас.

До свидания, мой Хризостом; берегите ваше здоровье, о котором, говорят, вы недостаточно заботитесь, и не забывайте преданнейшего из ваших друзей

Беранже.

Вы, конечно, встречаетесь с госп. де-Шатобрианом; поговорите немного с ним обо мне. Скажите, что я молюсь богу о нем и что я был бы рад узнать, что он живет счастливо и спокойно и что, таким образом, мои сокровенные желания услышаны.

Кстати, о счастье! Слышали, что говорят о Дидье? Меня уверяют, будто он взял за женой, не знаю уж, сколько миллионов. Эти черти женеццы всегда так желятся. Я поздравляю его, так как думаю, что он найдет хорошее применение своему богатству. И все-таки рискованно быть таким богатым.

XXX. Господину де-Ламенэ

23 июня 1839.

Вы не говорили мне, мой дорогой друг, что вы один из вождей республики. Уж не боитесь ли вы, что я попро-



шу у вас какого-нибудь жирного оклада? Правда, вы, должно быть, 2 июня еще не знали, какой почет вас ожидал. Тем не менее я был испуган, увидя ваше имя замешанным в это дело. Я боялся какой-либо неловкой выходки властей. Но дело обернулось для вас лучше, чем я ожидал, и я вижу, что вас оставили в покое.

Вы знаете, что я не из тех, кого могут удивить торжественные заявления; но я сильно сокрушаюсь, когда их делают не во-время и вопреки здравому смыслу. К тому же, дьявольский Монитор, который, что бы там ни говорили, принадлежит к этой фракции республиканской партии, постоянно проявляет вызывающую страх ретроградную тенденцию этой партии, которая живет только прошлым, не видя настоящего, каково оно есть, и будущего, каким оно должно быть. Я не принадлежу к христовой церкви, но у меня больше отношения к его школе, чем у многих прославленных католиков; поэтому-то кровавые речи вызывают во мне невыразимый ужас. Ничто во Франции, благодарение богу, не утвердится теперь кровью. Подобные речи и проекты, столь же бессмысленные, сколь и ужасные, отдаляют событие, наступления которого мы с вами ожидаем. Если нам случается иногда видеть этих юных и храбрых безумцев, то вы, дорогой друг, наделенный даром такого красноречия, должны постараться вернуть их здравому смыслу, который не так уж нелеп, как они думают.

Один из них, которого я знаю лишь понаслышке, это — Бланки, человек высоких качеств, как мне говорили. Какая у него роль в этой авангардной стычке? Если вы когда-нибудь услышите о нем, поделитесь со мной новостями. Меня интересует этот мужественный фанатик; в наше время это редкая разновидность.

Но вы, без сомнения, далеки от всего этого и поглощены лишь вашим произведением, которое беспокоит меня тем, что требует от вас столько труда и времени. Как ваше здоровье? У меня оно всегда в плохом состоянии из-за перемежающейся лихорадки. Так как

хинин оказывает на меня довольно скверное действие, то я пользуюсь им, чтобы обрывать приступы лихорадки, но мне не осмеливаются давать его, как предупредительное средство. Поэтому болезнь возвращается. Переезжать в Париж я пока не думаю, я нанял домик с садиком, и я надеюсь, что мне будет там неплохо; я поселюсь в нем не раньше сентября; я смогу дружески предложить вам комнату. Но вы стали сейчас таким парижанином, что едва ли удостоите посещением бедного провинциала.

Неужели вы станете терять время и отправитесь слушать стихи? А я-то думал, что Ламартин отбил у вас охоту к этому. Читали ли вы стихи, которые г. Мерсье сочинил, вдохновляясь вашей прекрасной прозой? Я вынужден был прочитать их и написать ему несколько строк. Странные бывают люди!

Это письмо оставит вашему швейцару моя старая приятельница, которая живет со мной и едет на несколько дней в Париж.

До свидания, мой дорогой друг, обнимаю вас от всего сердца.

XXXI. Господину \*\*\*

13 июня 1843.

Вы тысячу раз правы, милостивый государь, но вы должны обратить свой упрек против тех, кто злоупотребляет смешными похвалами, а не против меня. Если вы читали мои песенки и предисловия, то вы могли бы убедиться, что у меня никогда не было каких бы то ни было честолюбивых претензий; если бы вы меня знали, — а человека, о котором берешься судить, надо знать, — то вам было бы известно, что уже 10 лет, как я порвал с теми, кто создает и упрочивает репутации. Вы знали бы, что я никогда не произносил большей части великих имен, которые вы приводите, не обнажая головы; вы знали бы, наконец, что я всегда был настороже против вполне извинительного чрезмерного увлечения моих лучших друзей и что я не раз повторял им некоторую долю тех истин, с которыми

вы взяли на себя труд ко мне обратиться.

Впрочем, то, на что вы жалуетесь, является злом, свойственным нашему времени. В эпохи, когда мало великих людей, публика их выдумывает. Те же, кого (прибегая к словечку, которое в ходу за кулисами) выбирают на затычки, часто бывают обмануты этим коротким благоденствием и принимают свою роль всерьез. Здравый смысл избавил меня от этого безумия. Как видите, сударь, я почти ваш единомышленник. Но я не согласен со сравнением, которое вы делаете между собой и крестьянином Аристидом, потому что оно очень для вас невыгодно и оказывает мне гораздо больше чести, чем это вошло в ваши намерения.

Затем, милостивый государь, вам следовало обратиться с вашим письмом к публике и сделать это через печать, а не писать, как вы говорите, к старику вроде меня. Распространяя свое мнение обо мне, вы, я уверен, встретили бы сочувственный отклик. И это согласие с вами могло бы успокоить ваше гневное раздражение, от осуждения которого я далек, не одобряя все же тех форм, которые вы придаете ему в вашем послании. Позвольте сделать вам тут замечание о самых обыкновенных приличиях.

Когда обращаются к человеку моего возраста, посвятившему, под угрозой преследований, бескорыстно свой небольшой талант служению делу, которое он считал и всегда считает наилучшим, тогда, кажется мне, каково бы ни было высказываемое мнение, следует придавать своим аргументам, хотя бы в силу требований хорошего вкуса, формы вежливости, которые только прибавили бы вес высказываемым истинам, вызывая уважение к тому, кто хочет стать их рупором.

Мой возраст, которым вы как будто меня попрекаете, дает мне право представить на ваше усмотрение эту мысль в благодарность за ту услугу, которую вы хотите мне, без сомнения, оказать, рассеивая иллюзии, которые, как вы полагаете, баюкают мою старость.

## XXXII. Господину Тома

14 июля 1847.

Дорогой Тома, я внимательно прочел Проект общественного устройства, присланный вами, и не без колебания собираюсь сообщить вам о нем свое мнение, потому что, как вы знаете, я не очень силен в том, что касается финансов и промышленности.

Проект этот, как видно, — произведение человека с благородным сердцем и с искусственным, осторожным умом; но возможность применения кажется мне чересчур ограниченной и вызывающей слишком много возражений, чтобы ваша газета могла принять проект и полностью одобрить. Вас упрекают в том, что вы не дали еще достаточного доказательства сочувствия пролетариату; в своем плачевном положении он даже обвинял вас в тенденциях, которые я называю буржуазными. И, если я не ошибаюсь, этот проект мог бы вызвать яростные нападки со стороны ваших противников. Ведь, несмотря на честные и великодушные намерения автора, нетрудно обнаружить, что в основе проекта лежит эксплуатация работников в пользу мелкого капитала, объединяемого и управляемого комитетом, в бескорыстии которого в будущем нельзя быть уверенным. В самом деле, что будет служить гарантией против преемников тех самоотверженных сердец, которые начнут это дело?

А затем, какую роль будут играть рабочие в управлении разнообразных предприятий? Придется ли им приобретать акции, чтобы получить место в Комитете по руководству? Или они будут даже стоять во главе промышленности и административного управления различных предприятий? Если бы дело обстояло иначе, то, боюсь, не подпали бы они под опеку, на опасность которой я не раз указывал тем, кому угодно было со мной советоваться.

Даже если предположить, что я ошибаюсь относительно последствий, к каким мог бы привести план подобной ассоциации, то ведь другие тоже могут ошибаться и даже делать вид, что они ошибаются. Вот почему, мой дорогой

друг, я нахожу, что «Насьоналю» было бы не к лицу опубликовывать этот проект, как бы он ни был похвален в виде переходного средства: он может и должен быть приведен в исполнение без шума, без треска и занять место среди благотворительных учреждений, которые полезно использовать в ожидании лучшего и основателей которых надо благословлять. Вообще во всем, что хотят сделать для пролетариата, мне кажется, есть ложная точка отправления. Понятие о р г а н и з а ц и я т р у д а, брошенное экономистами, толкает нас на опасный путь. О р г а н и з а ц и я т р у д а щ и х с я — вот, по-моему, настоящий пароль. У нас и повсюду экономисты почти всегда подходят с точки зрения производства и прибылей вместо того, чтобы итти от производителя, т.-е. от человека и его морального совершенствования. Это — моя старая идея, и, быть может, вы припомните, что лет пятнадцать назад я приставал к моим друзьям с планом рабочей организации, которая привела бы наиболее способных в интеллектуальном отношении к депутатскому месту в парламенте.

К несчастью, ни у кого нет времени попытаться хорошенько разобраться в требованиях демократических слоев. И только правительство, кажется, заметило их, но лишь для того, чтобы всеми доступными средствами поставить их в безвыходное положение, не встречая при этом стойкого сопротивления, если не говорить об инстинктах масс, донныне располагающих необходимой степенью просвещения.

Вы найдете меня чересчур резким; это — оттого, что меня начинает разбирать страх. Я вижу всюду демократию в опасности, из-за анархии, царствующей снизу доверху, и мне хотелось бы, чтобы орган печати, вроде вашего, бросил, наконец, несколько лучей в ночную тьму, которая становится все гуще.

Именно эта мысль заставила меня, быть может, чересчур сурово отнестись к проекту, который вы мне сообщили. Но я, по правде говоря, судил о нем лишь с общей точки зрения и задавался вопросом о том, что подумали бы о

вашей газете, если б вы напечатали его как выражение ваших стремлений.

Судите же и вы о моем письме по моим предубеждениям и предоставьте его участи, какой оно заслуживает.

14 июля! Вот дата, над которой должны задуматься истинные демократы, порога более редкая, чем кажется, несмотря на пятьдесят восемь лет демократии!

### XXXIII. Господину Мишле

24 ноября 1847.

Дорогой, прославленный учитель и друг, я хотел зайти к вам, чтобы выразить свою благодарность, но мне помешало недомогание, которое все еще не прекращается, а я не в состоянии больше хранить при себе ту дань похвал, которую я обязан вам заплатить. Похвал, — это слишком слабо сказано; скорее признательности за то счастье, которое я испытал за чтением вашего нового тома. Вы один, один лишь вы, могли дать картину начала нашей святой революции; вам одному дано было схватить народный инстинкт в прекраснейший миг его проявления, в минуту любви, равной которой еще не было в мире. Ваше сердце вдохновило вас написать картину подобного порыва, и какое счастье, что эта мысль пришла на ум единственному талантливому человеку, способному привести ее в исполнение! Согласитесь, дорогой учитель, что в летописях мира навсегда исчезло бы без вас то, что было наиболее характерным и трогательным в эту творческую эпоху. Трижды слава вам, сберегшему для наших потомков благодаря изучению, совести гражданина и гению подобное воспоминание! Я сам был свидетелем этого часа, но я помню его хуже, чем дни, следовавшие за ним. И я проливал слезы над вашими бессмертными страницами. Большим счастьем для меня было видеть, что ваше перо сформулировало мою всегдашнюю мысль о лицемерном правлении англичан, мысль, две недели назад брошенную мной в лицо одному крупному философу.

Если бы я захотел пуститься в подробности, то мне пришлось бы перебрать весь том, что я и сделал этим утром, беседуя с молодым Кассу, достойным понимать вас и восхищаться вами. Ламенэ был в не меньшем восторге, чем мы.

После сказанного нет нужды добавлять, что я принимаю ваши замечания о народном инстинкте, которые неудивительно слышать от человека, сказавшего, что народ был его музой. Для этого человека история, написанная вами, становится священной книгой. Я вижу, что в ней уже пробиваются ростки тех антипатий, которые у меня всегда были и которые лишь с возрастом и житейским опытом покрылись слоем политической терпимости, в которой я еще упрекаю себя иногда.

У вас, как автора, есть еще одно достоинство, о котором я пока ничего не сказал, это — мужество; а его надо много иметь, чтобы быть столь искренним и столь точным, как вы. Именно этим способом достигается сила морального авторитета литературных произведений и именно благодаря этому вы заслужили, чтобы ко множеству ваших главных званий было присоединено звание великого гражданина.

До свидания, дорогой учитель, в ожидании того времени, когда я смогу принести вам устно свою благодарность. Прошу принять уверения в моем дружеском восхищении и сердечной преданности.

#### *XXXIV. Господину председателю Национального собрания*

Апрель — май 1848.

Гражданин председатель, я считал своим долгом предупредить избирателей департамента Сены, приводя в свое извинение серьезные мотивы, по которым я не могу принять чести заседать в Национальном собрании.

Несмотря на глубокую признательность, вызываемую во мне большим числом голосов, призывающих меня в это собрание, я не отказываюсь от намерения, принятого окончательно еще

раньше, отвергнуть мандат, к которому меня не подготовили ни размышления, ни недостаточно серьезное образование. Я не решался на это до сих пор, чтобы не быть причиной нового созыва избирательного корпуса, но одно недействительное избрание, делающее этот созыв неизбежным, представляет мне эту возможность, и я вручаю в ваши руки, гражданин и председатель, вверенный мне мандат, который тем не менее останется славой всей моей жизни.

Будьте добры, гражданин президент, заверить Национальное собрание в том, что я сожалею о невозможности для меня принять участие в тех демократических трудах, которые оно будет иметь честь совершить.

Соблаговолите передать ему и примите сами уверения в моем глубочайшем уважении.

Ваш преданный согражданин.

#### *XXXV. Ему же*

Гражданин президент, если что-либо могло бы заставить меня забыть про мой возраст, состояние моего здоровья и мою неспособность к трудам по законодательству, так это письмо, которое вам угодно было мне написать и в котором вы извещаете меня, что Национальное собрание почтило отказом мое прошение об отставке.

И мое избрание, и этот акт представителей народа будут предметом моей вечной признательности; именно потому, что они превышают те слабые услуги, какие я смог оказать свободе, они доказывают, как завидны будут отличия, которые впредь будут предоставляться тем, кто, обладая гораздо большими способностями, окажет более действительные услуги нашей дорогой родине.

Будучи счастлив, что я имею перед своими глазами такой ободряющий пример, и убежденный в том, что это единственная польза, которую я еще могу принести, я умоляю еще раз Национальное собрание не вырывать меня из безвестности моей частной жизни.

Это вовсе не желание философа, еще менее — мудреца; это желание стихотвор-

ца, которой будет считать себя конечным человеком, если он, среди делового шума, потеряет свою независимость, единственное благо, которого он всегда добивался.

Впервые, за всю мою жизнь, я обращаюсь к моей стране со скромной просьбой, чтобы ее достойные представители не отвергли моей мольбы об отставке и простили эту слабость старику, который понимает, какой чести он лишается, расставаясь с ними.

Поручая вам представить Собранию мои покорнейшие извинения, я прошу вас, гражданин президент, принять уверения в моей почтительнейшей преданности вам.

Братский привет,

### XXXVI. Жюлю Вернь

25 мая 1850 г.

Нет, слава богу, я не убил песню, множество молодых талантов является ныне подтверждением этого. И вы сами, без сомнения, будете из числа тех, кто впоследствии на собственном примере будет продолжать это опровержение, даваемое мысли, которая содержится в вашем письме, столь для меня лестном и выражающем чувства, которые я счастлив внушать молодежи.

Благодарю вас за присланные мне вами первые опыты. Песня «И з г н а н н и к» кажется мне предпочтительнее «Б о г а ч е й». Я упрекаю последнюю в преувеличениях, которые возбуждают умы вместо того, чтобы их сближать. Вам известно, что я на стороне бедных, но я не хочу, чтобы их учили проклинать богатых, пресловутое счастье которых никогда не вызывало во мне зависти. По-моему, и те и другие одинаково нуждаются в просвещении: в этом и состоит миссия людей, которые искренно любят родину, как вы ее, кажется, любите.

Если вы ничего не сможете сделать для нее другого, служите ей, нашей дорогой Франции, своими песнями и будьте уверены, что ваши усилия будут со временем вознаграждены. Я лично являюсь доказательством того, что неко-

торые дети ее были награждены не по заслугам высоко.

Примите мою благодарность и уверения в моем уважении.

### XXXVII. Госпоже Гюго

30 июля 1852.

Как я несчастен, сударыня! В эту самую минуту, когда я возвратился из деревни, вы, быть может, покидаете Виллекье. На всякий случай, посылаю вдогонку несколько строк, чтобы сказать вам, как я тронут проявлениями вашей благосклонности, недостаточно заслуженной мною. К несчастью, я не мог предложить вам ничего, кроме бесплодных утешений; у меня не было ничего другого, кроме добрых пожеланий вам, сударыня, великому нашему поэту и милым вашим детям. Теперь же у меня исчезла вера в силу моих пожеланий, но столько других людей шлют их вам, что, надеюсь, их благословения смогут оказать большее влияние на судьбу, чем мои. Хотя случай заставил нас жить в двух разных мирах, однако, там, где живу я, с большим интересом принимают к сердцу все, что касается нашего славного изгнанника; это служит мне утешением в несчастье, близкий конец которого все предвидят. Передайте это Гюго, вашим дорогим детям и превосходному Вавери, которого я так мало видел, но уже так глубоко ценю.

Прощайте, сударыня; у меня едва достаёт времени доказать вам, что я исполняю обещание, которое вы, по своей доброте, заставили меня дать; спешу сдать письмо на почту.

Примите, сударыня, уверения в моей преданности вам и всем вашим и в моем глубоком уважении к вам лично.

### XXXVIII. Господину Виктору Гюго

21 сентября 1852 года.

Меня очень тронули, мой дорогой Гюго, те строки, которые вам угодно было приписать к письму вашей супруги; они—свидетельство дружбы, и я его заслуживаю. Последние слова приписки:

«До скорого свидания!» останутся в моем сердце. Если бы они стали пророческими!

Я вам пишу, живя у престарелого председателя Временного правительства, и у меня нет для вас никаких новостей даже о Ламартине, так как я не получил от него ни слова с момента его отъезда из Парижа. Без сомнения, он занимается прозой, более или менее. А вы, мой дорогой изгнанник, неужели и вы будете писать только прозу? Я не смог раздобыть о вас никаких новостей, но неужели вы, в самом деле, не станете ничего писать, кроме прозы? Вы говорите о моих стихах. Ведь это — шутка; в семьдесят два года ничего хорошего не напишешь. Ничего больше не напишешь, и это, пожалуй, самое лучшее. А вы, мой дорогой поэт, вы попали в новую фазу поэтического вдохновения; она может стать плодотворной! Какой славой увенчала Данте судьба, сходная с вашей! А вы, ушедший в изгнание с уже заслуженной славой, разве вы не сможете ее удвоить? Прекрасная месть! В наши дни только вы один могли бы доставить себе такое большое удовольствие. О, мой друг, на берегу моря, на виду всей Франции, пойте, пойте же! Завтра вас услышит будущее. Вы скажете, быть может, что я даю вам непрощенные советы. Но это не совет, это мольба к вам, мольба человека, состарившегося в беспрестанных заботах о славе родной страны. Час отправления почты заставляет меня топиться. В ожидании дня, когда я пошму вам руку, говорю от всего сердца — прощайте.

*XXXIX. Госпоже Гюго*

10 декабря 1852 г.

Поистине, сударыня и друг мой, мне давно следовало поблагодарить вас за ваше письмо от 8 ноября, успокоившее меня относительно моих писем.

Ваше меня очаровало. Все, что вы мне пишете о своем времяпрепровождении, говорит мне, что вы и ваши домашние живете там счастливо и в состоянии даже содействовать благополучию

других. Подробности, которые вы так любезно сообщили и за которые я вам благодарен, помогли мне успокоить тревоги нескольких ваших друзей. Не далее как вчера я сообщил о них Вильмену, он, как и я, не представляет себе возможности жить в другом месте, кроме Франции. Передайте Гюго, что он несколько раз справлялся, начал ли Гюго снова писать стихи. Мне очень бы хотелось иметь возможность подтвердить то, чего я так желаю. Признаюсь, несмотря на то, что вы рассказали мне о Вильмене, в эпоху прокрипционных списков я не ожидал от него такой преданности вашему супругу.

Один из верных вам (и я счастлив, что он с вами) — это Вакеи. Странно, что, увидевши его только два или три раза, я мог составить себе такое твердое представление о характере этого молодого писателя, стихи которого все же не в моем вкусе, хотя они, по-моему, стихи настоящего поэта, поэта недалекого будущего. Я представляю себе счастливую жизнь, которую вы ведете с Гюго в вашем кругу в Джерсе, и будь я путешественником, мне захотелось бы отправиться посмотреть на вас сквозь стекла вашего уединенного домика, чтобы слегка разделить это блаженство. К сожалению, я никогда не любил путешествий, а когда за плечами семьдесят два года, трудно почувствовать к ним склонность, даже при подобных обстоятельствах. Как видите, чтобы восполнить пробел в активности, которой мне недостает, вам при вашей сердечной доброте следует чаще писать мне. Не бойтесь разорить меня расходами на почтовую переписку. Ко мне пришел недавно один честный должник и надолго наполнил мой кошелек.

Очень прошу вас, сударыня, не называть меня больше з н а м е н и т ы м. Если бы вы знали, сколько лет я смеюсь над этим словом, хотя мне и самому приходится иногда употреблять его, следуя обычаю! Принято говорить: знаменитая певица такая-то, знаменитый критик такой-то. Не знаю, быть может, где-нибудь уже напечатано: з н а м е н и т а я м а д а м С а к и. Вернемся к тому, что просто и правдиво; без этого

я не могу жить. Вот почему, как только представилась возможность, я бежал от общества и живу только с родственниками и старыми друзьями, которых я иногда еще смешу, как сорок или пятьдесят лет назад. Наше знакомство с вами состоялось недавно, но в нужде сближение происходит быстрее. Обращайтесь ко мне, следовательно, как к другу и без церемонии. Вы не колебались бы, если бы слышали, как я говорю о вас со всеми, кто интересуется судьбой вашей семьи, а число их велико, как ни склонны люди к забывчивости. Говоря это, я прежде всего вспоминаю Манэна и Ламенэ: и тот, и другой много раз просили меня передать привет дорогому Виктору и превосходнейшей госпоже Гюго. А что до барышни, то чего только не услышишь о ней. В том, что о ней думают, есть много такого, от чего может притти в восхищение сердце матери. Но вот бумага исписана. Примите мои уверения в преданности и искренней привязанности и передайте их всем вашим.

#### XL. Господину \* \* \*

3 июня 1853 г.

.. Существуют два рода политики, маленькая и большая: к сфере маленькой, естественно, относятся люди, у которых в виду всегда лишь их личные интересы и которые проводят свою бесполезную жизнь за жалкими протоколами. Они не видят дальше своего носа. К сфере большой политики принадлежат могучие духом, которые в истории называются: Карлом Великим, Людовиком XI, Ришелье, Кромвелем, Генрихом IV и Наполеоном. Это люди огромной силы, и их орлиный взгляд проникает в будущее. Наполеон III сыграл роль Октавиана, не знаю, удастся ли ему роль Августа, она, как мне кажется, не отвечает его натуре... Надо выждать время, чтобы здраво судить о его личности. Веревка, за которую он ухватился, недостаточно прочна, чтобы он мог решиться на резкие движения. Мне хотелось бы видеть, что он душой и телом предан демократии; но,

кажется, у него нехватит на это благоразумия: если бы он гладил по шерстке крестьян, он на сто лет упрочил бы свою династию. Крестьяне! вот главная опора всякого нового правительства! Крестьяне поддержат Наполеона не столько из симпатии, сколько из выгоды. Они представляют собой массу в двадцать или двадцать два миллиона; это — страшная армия, и заманчиво было бы научиться управлять ею. Но это все равно. Если вы проживете, мой друг, еще сорок лет, вы увидите много и великого, и ужасного. Старый мир уходит, а я принадлежу к нему, я все сильнее чувствую это с каждым днем.

Р. S. Вейо хитрее, чем вам кажется. Будьте осторожны. У ханжей есть когти.

#### XLI. Госпоже Виктор Гюго

9 июня 1854.

Прошло уже два с половиною месяца, как я получил ваше последнее письмо, и с тех пор, моя дорогая, я думаю о вас и о ваших, не будучи в силах ответить. Вы мне говорили о возникшем у Гюго плане уйти подальше от наших берегов, о плане поселиться в Испании или Португалии. Но, боже мой, что вы будете там делать? Мне кажется, что даже Америка гораздо ближе этой прекрасной Иберии. В Америке вы имели бы постоянные сношения с вашими соотечественниками, которых ваша славная звезда привлекла бы к вашему пристанищу. Мы постоянно получали бы о вас новости, и вы жили бы под небом — другом свободы, таким ласковым для изгнанника (не потому ли, что оно так желанно?). В Америке знают, кто такой Гюго. Имея его, там гордились бы им. Наши жалобы были бы там поняты. Что же касается климата, его можно выбрать по желанию.

Вот что я говорил себе, и еще много другого, с тех пор, как я получил ваше прискорбное письмо, на которое мне стоило такого труда ответить. Гюго не любит советов, и советы бедного пе-

сенника были бы для него лишними. Не передавайте же их ему, если его решение принято. То, с чем я позволяю себе обратиться к нему,—это плод двух месяцев раздумья. Вы проявили ко мне столько доверия, что мой совет вас не оскорбит. Меня беспокоит его положение, ваше, ваших детей, — ведь вам известно, что меня толкнуло к вам несчастье и оно дало мне возможность доказать, что я не был безразличен к вашему бессмертному супругу, начиная с его дебютов и кончая тем временем, когда судьба поразила его, несмотря на всю его славу.

Я говорю это вам, мой друг, придавая большое значение тому, что с вами будет дальше, говорю в особенности вам, мой друг, так как вы уверены в глубоком и давнем интересе, который я проявляю к нему и ко всему, что может его касаться, говорю вам, так нежно преданной ему и заслужившей право быть счастливой.

Я говорю вам это сегодня, потому что, как мне кажется, близок уж день другого великого расставанья. Увижу ли я конец того? Без сомнения, нет, я становлюсь очень стар. Здоровье мое разрушается. Последний месяц я чувствую, как силы мои тают. Бретонно (мой врач из Тура) не тревожится, однако. Но то ли от пресыщенности всем, что приходится видеть, то ли это предчувствие, но мне сдается, что я не увижу возврата тех, кого уносит проскрипция. Я огорчаюсь только за других. Сам я достаточно пожил, и сейчас я похож на Ламенэ, смотревшего на приближение смерти с удовлетворением, которое, казалось, возрастало до последних мгновений.

Пишу же я теперь с трудом, и мое письмо подтвердит вам это. Сердце, слава богу, состарилось меньше, чем голова, и так как родина всегда была моей великой страстью, то те, кто являются ее славой, не перестанут занимать меня до последнего часа.

Прощайте, моя дорогая. Глубоко вам признателен за добрую память, которую вам угодно было сохранить обо мне. Прошу считать меня навсегда преданным вам и всем вашим.

## XLII. Господину де-В\*\*\*

16 июня 1854.

Я слышу ежедневно от людей, претендующих на роль политиков, разговоры о партии легитимистов, партии республиканцев, партии орлеанистов и даже партии социалистов. Из всех этих партий, конечно, составляется довольно значительное целое — недовольные, но правительство Наполеона ничуть их не пугается. Легитимисты, привыкшие, по большей части, к оппозиции на словах, к жизни с удобствами, без малейшей заботы о народных нуждах, мало способны, как мне кажется, проявить в данное время энергию. Наполеон спокойно следит за их мелкими происками, за их маленькими салонными заговорами, но он меньше всего на свете боится их. Они могут вызвать в нем досаду; они могут задеть самолюбие вьвскочки; но тут предел их силе. Республиканцы могли бы стать опаснее, умей они столкнуться между собой и пожертвовать своими плоскими честолюбиями ради убеждений, но они далеки от этого и, следовательно, далеки от возможности опрокинуть трон, который восстановлен по их же глупости. Партия орлеанистов пользуется некоторой силой; в ее рядах есть несколько человек, имена которых врезались в память народа. Только орлеанисты могли бы извлечь выгоды из обстоятельств; но этих обстоятельств они не смогут создать. Партия социалистов не пользуется влиянием на общественное мнение. Она не стала еще армией. Когда она покончит с мечтательностью, когда ее теории созреют (а это произойдет не так скоро), тогда с нею станут считаться; а до тех пор она только пугало, из которого полиция не раз извлекала пользу для дела империи.

## XLIII. Госпоже Сольмс

Что вы смеетесь надо мной, называя меня бонапартистом? Полноте! Ведь, несмотря на мои песни, я даже не был партизаном того, который обладал известным величием, импонировавшим



поэзии. Я вовсе не прославлял его в 1810 г., но это правда, что я воспевал его, когда он умер. Одну минуту мне казалось, что я снова возвращаюсь к этой роли. Быть может, я ошибся; но во всяком случае я поступил не как придворный. Впрочем, я никогда не скрывал своих взглядов, и я очень хорошо знаю, что только благодаря Гражданскому Кодексу враги вступили во Францию с обнаженными головами. Я припоминаю горячий разговор, какой у меня однажды произошел по этому поводу с Лафитом и Гюго.

#### XLIV. Госпоже Сольмс

Нет, разумеется, вы ошибаетесь; возможно, что вы разбираетесь в этом лучше меня, но я прав. Ваше восхищение Делакруа необоснованно; вы говорите как энтузиастка, а не как художник. Я берусь в 10 минут убедить вас в том, что вы не правы. Говорите о Декане, об Ари Шеффере, в час добрый! Но не становитесь на колени, как вы это делаете, перед продавцом гашиша.

#### XLV. Госпоже Сольмс

Ваше письмо восхитительно, мое дитя, и я от лица моего друга Мишле благодарю вас за тот простосердечный энтузиазм, с каким вы выражаете вашу симпатию к нему. При вашем милом нраве, который мне достаточно известен, вы, без сомнения, готовы были предать Париж огню и мечу, когда чтение курса было запрещено. Но это должно было случиться; он был не только красноречив, но и смел. Стоит только вспомнить, что на своей первой лекции он требовал Пантеона для Мирабо, воскликнув, что полувекового искупления на кладбище де-Кламар недостаточно и что Франции пора отнестись с уважением к памяти одного из величайших своих мужей! Это были благородные слова, достойные во всех отношениях великого человека и мужественного гражданина, осмелившегося сказать, что его муза — это народ. В Мишле есть что-то гениальное, Ламенэ давно

говорил мне это. В нарисованной им картине первых дней революции есть великие страницы; это прекраснейший памятник истории того времени. Я не согласен с его мнением о Робеспьере; мне всегда был ненавистен этот краснобай, даже в стихах господина Понсара, которые, кстати сказать, очень хороши и отличаются большей исторической точностью. Все эти террористы по большей части обыкновенные люди; они были топором в руках народа, а народ — дитя, и нельзя чересчур долго оставлять в его руках опасное оружие. Начинают с защиты прав, а кончают эксцессами, и самое святое дело оскверняется при этом.

#### XLVI. Госпоже Сольмс

Если вы встречаетесь в Лондоне с Луи-Бланом, мой милый друг, передайте ему от меня много-много хорошего. Его история десяти лет — это шедевр. Я испытываю гордость при мысли о том, что именно я открыл этого возвышенного ребенка, как сказал бы Шатобриан. Он пишет, как Вольтер, и рассказывает, как Сен-Симон. Да, это я определил его на настоящий путь; спросите у него сами. Его индивидуальность одна из тех, что отличаются наибольшей полнотой.

#### XLVII. Госпоже Сольмс

Париж, октябрь 1854.

Благодарю вас за присланные мне в подарок «К а р ы»: со вчерашнего дня я читаю их и перечитываю. Это восхитительно! В особенности последняя вещь полна такого лиризма и такой силы мысли, каких Гюго никогда не достигал. Сейчас у меня снова завязались с ним отношения. Мы часто пишем друг другу, я этим горжусь: он поэт нашего столетия, во всем значении этого слова.

#### XLVIII. Госпоже Гюго

21 октября 1854.

Сударыня и друг мой, верны ли слухи, распространившиеся с некоторого

времени, что вы и Гюго, со всем семейством, покидаете, как говорят, ваш прелестный остров? Мысль об этом удручает меня. Мне кажется, что, переселившись в Испанию, вы будете в сто раз дальше от нас. Знаете, ведь теперь Америка, в сущности, ближе от Франции, чем ваша Испания, несмотря на некоторый прогресс, начавшийся там.

Справьтесь по книжным каталогам, и вы увидите, что Америка гораздо больше ценит великого поэта, чем эта старая Испания, для которой понадобится, по крайней мере, столетие, чтобы понять новые идеи. В Америке пребывание Гюго было бы триумфом для французской литературы, вся слава которого досталась бы ему одному. Американцы не преминули бы оказать почести поэту, появление которого явилось бы знаком уважения к тем свободам, которыми они наслаждаются. Я уверен, что там его осенило бы новое вдохновение и его гений, оставшийся таким молодым, поспешил бы поделиться с нами его плодами.

Но моя проповедь, быть может, запоздала. Судя по тому, что вы говорили, возможно, что вы уже в Мадриде или в Лиссабоне.

Как! вы могли бы уехать, ничего не сказав мне на прощанье! Подумайте, моя дорогая, что в моем возрасте и при моем опыте чересчур далекие надежды мучительны.

Помните, что если я не часто появлялся у вас, когда вы царили на Ко-

ролевской площади, то я все же был одним из первых искренних поклонников нашего великого поэта. Что же касается вас лично, то, когда несчастья сблизили нас, вы, думаю, не сомневались, что старый песенник готов был ухватиться за всякий повод, чтобы доказать вам свою почтительную преданность. К несчастью, она могла выражаться лишь в горячих пожеланиях вам и всем вашим домашним всяческих благ. И вы отправились, я уверен, с убеждением, что эти пожелания будут сопровождать вас всюду. Да, они последуют за вами и в Испанию.

Передайте это Гюго, вашим сыновьям и мадемуазель Адели. Если бы вы могли быть так счастливы, как я вам того желаю!

Вспоминайте меня от времени до времени, я не прошу о других знаках внимания, да и эти, я думаю, вам недолго придется оказывать мне. Мое здоровье сильно ухудшилось. Это не мешает мне сообщить вам мой новый адрес: надо вам знать, что, быть может, из экономии, а также из-за неаккуратности со стороны некоторых должников мне приходится жить гораздо скромнее. Я переселяюсь в Марэ, улица Ван, 5, во флигеле старой гостиницы. Отчего вы теперь не на Королевской площади!

Мой дружеский привет Гюго и вашим детям; свидетельствую мое глубокое уважение к вам, моя дорогая.

А что ваш добрый и верный Вакери?

## ПРИМЕЧАНИЯ

ПИСЬМО XXVI. Ламенэ (1782—1854) — друг Беранже, самый талантливый представитель тогдашнего «христианского социализма». В 1837 г. вышла его книга «Le livre du peuple».

ПИСЬМО XXVIII. Перротен—издатель Беранже.

ПИСЬМО XXIX. Пьер Леру (1798—1854) — французский утопический социалист. Ему, между прочим, приписывают введение самого слова «социализм» как антитезы — «индивидуализм».

ПИСЬМО XXX. Бланки Луи-Август (1805—1881) — известный французский революционер, о котором Маркс говорил, что он был представителем «решительно революционной партии во Франции».

ПИСЬМО XXXII. Тома Фредерик (1814—1889) — адвокат, французский писатель, автор целого ряда весьма посредственных пьес и 35 сборников рассказов, сотрудник нескольких республиканских газет, в том числе «Насьональ».

ПИСЬМО XXXIII. Мишле Жюль (1798—1874) — знаменитый французский историк, автор многотомной «Истории Франции».

ПИСЬМО XXXVI. Жюль Вернь — пятнадцатилетний поэт, приславший Беранже письмо и две песни.

## ПИСЬМА К ГЮГО

Виктор Гюго (1802—1885)—глава французской романтической школы. После Фев-

ральской революции, окончательно порвав со своим роялистским прошлым, становится республиканцем. Во время декабрьских выборов 1849 г. голосовал за кандидатуру Луи-Наполеона в президенты, но решительно выступил против него, когда тот стал готовить государственный переворот. После переворота Гюго эмигрировал сначала в Брюссель, а затем на остров Джерсэ, откуда был выслан английским правительством в 1855 г. за пораженческие речи во время Крымской войны и за памфлет против Наполеона, союзника Англии. Он перебрался с острова Джерсэ на соседний остров — Гернсей. Будучи уверен в неизбежности падения Наполеона, он, вскоре после объявления войны, перебрался в Брюссель. Знакомство Беранже с В. Гюго началось в 1829 г., когда тот посетил Беранже в тюрьме Ля Форс.

### ПИСЬМА К МАРИИ ДЕ-СОЛЬМС

Мария де-Сольмс — урожденная Уайз-Бонапарт, внучка Люсьена Бонапарта, брата Наполеона I. По второму мужу, итальянцу, — графиня Раттацци. Луи-Бонапарт не признавал ее за родственницу, так как она появилась в результате «мезальянса», к которому племянник был чувствителен не менее, чем дядя. В 1858 г.

она выпустила в Женеве книжку с несколькими письмами Беранже, большей частью неполными, урезанными. Издатель «Переписки» Беранже, Поль Буато, указывает, что эти письма написаны в разные годы (промежуток в 7—8 лет), но не позднее 1854 г. Под этим годом он их и напечатал.

Упоминаемый в одном из писем к Сольмс Понсар (1814—1867) — популярный в то время драматург, пьесы которого были выражением классической реакции в литературе. Успех его трагедии «Лукреция» (поставлена в 1843 г.) был совершенно исключителен; этому успеху сильно содействовала игра знаменитой Рашель.

Луи-Блан (1811—1882) — публицист, политический деятель, историк. Восхищенно Беранже перед Луи-Бланом можно противопоставить следующую выдержку из письма Энгельса к Марксу от 1 мая 1866 г.: «Видел ли ты, как Луи-Бланчик в качестве хорошего императорского демократа заявляет теперь в «Temps», что если Пруссия поглотит мелкие германские государства, то Франция должна получить по меньшей мере левый берег Рейна. Вот это настоящие революционеры!» В таком же духе не раз высказывался о Луи-Блане и Маркс.

Н. С.

## Книжное обозрение

1. Массовый читатель о художественной литературе. — С. Дзюбинский, Н. Изгоев.  
2. С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ. „Гоголь уходит в ночь“. — К. Литовцева. 3. А. ДМИТРИЕВ. „Адмирал Макаров“. — Г. Тарпан. 4. Д. В. ВЕНЕВИТИНОВ. Полное собрание сочинений. — К. Богаевская. 5. Е. А. ШТАКЕНШНЕЙДЕР. „Дневник и записки“. С. П. ЖИХАРЕВ. „Записки современника“. — С. Иванов

### МАССОВЫЙ ЧИТАТЕЛЬ О ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

#### I. Из опыта одной заводской библиотеки

На одной из читательских конференций, организованных библиотекой завкома машиностроительного завода имени Молотова<sup>1</sup>), старый рабочий, инструментальщик, прямо заявил:

— Прошли те времена, когда писатель пописывал, а читатель «почитывал». Я не почитываю — я упорно, деловито, порой с удовольствием, порой с возмущением, читаю книги наших советских писателей. И я чувствую, что не всегда писатель меня, рабочего читателя, знает... и не всегда он меня уважает. Я, глядите, вырос уже, я до социализма дорос, а меня все еще как бы за малолетнего считают!

Другой рабочий, термист, говорил, обращаясь к библиотекарьше:

— Напрасно вы стараетесь для нас приобретать одни только «массовые»... «дешевые» издания. Не надо этого. Дайте нам хорошо изданную, серьезную, «трудно» написанную книгу: мы научились преодолевать не только книжные трудности!..

Инженеры и техники вполне поддержали рабочих-читателей: стало общим требование — дать «настоящую» художественную книгу, повесть, роман, поэму, которые не просто заинтересовали бы, но взволновали бы, заставили бы думать, вызвали бы восхищение или ненависть.

Эти голоса были серьезным сигналом для библиотеки.



Рабочий-молотовец систематически, уверенно осуществляет лозунг: «культурно жить, производительно работать». Старая Мотовиха, с закоптелыми домишками и пыльными, горбатыми улицами, вытесняется новым

«рабочим поселком» — большим городом Молотово со множеством каменных многооконных домов, со строго планированными зелеными улицами, единым диспансером, фабрикой-кухней, цирком, парком культуры и отдыха. В новых квартирах рядом с новой мебелью нередко стоит рояль, на стенах можно видеть картины советских художников и, непременно, книжные полки. Культурный рабочий читает не только «библиотечную» книгу, — он покупает книгу, он ищет ее в культмагазинах Молотова и Перми, записывается в очередь на «новинки»...

— Нет ли изданий «Академии»? — таким вопросом часто входит молотовский рабочий в книжный магазин.

По газетам и журналам следят рабочие за книжными новинками. Библиотека вышивает списки «новинок» с аннотациями.

Но не только количественно, но и качественно вырос рабочий-читатель. Неудовлетворенные своей библиотекой, читатели, «в складчину» приобретая новые книги, читают их по очереди, устраивают «семейные споры» по вопросам художественной литературы. Заводская библиотека не хочет и не может отставать от своего читателя. Она хочет и может им руководить. Чем же интересуется нынешний читатель? Какие книги нравятся ему, какие доступны и недоступны? Трудность учета читательских запросов состоит в том, что читатели не любят «высказываться» или высказываются весьма лаконично: «нравится», «не нравится»... Нельзя же, в самом деле, делать обобщения на таком зыбком «вкусовом» основании!..



Молотовская библиотека решила изучить лицо своего читателя, заставить его высказаться более определенно. Был образован

<sup>1</sup>) Гор. Молотово, Свердловской области.

актив читателей, примерно в 150 человек, преимущественно рабочих разных специальностей и квалификации. Актив обязался давать о каждой вновь прочитанной книге письменный отзыв.

Для первого опыта был составлен список из 10 книг.

Вопросу о выборе 10 книг было уделено много внимания. Решено было включить в список 2 политических книги, 2 технических и 6 художественных произведений.

В первый список решено было включить следующие книги: 1) Горький — «В людях» или «Мои университеты», 2) Шолохов — «Поднятая целина», 3) Леонов — «Скутаревский», 4) Серафимович — «Железный поток», 5) Авдеенко — «Я люблю», 6) Шухов — «Неизвестно», 7) Доклад тов. Сталина на XVII съезде ВКП(б), 8) доклад тов. Кагановича на XVII съезде ВКП(б), 9) техническая книга, 10) техническая книга.

Названные книги были приобретены в значительном количестве.

Среди читателей возникло своеобразное соревнование не только по вопросу о том, кто прочтает больше, но и о том, кто толковее и полнее напишет о прочитанном.

Доклады тт. Сталина и Кагановича были прочитаны всеми без исключения. Отзывы об этих книгах, часто с диаграммами и цифровыми сводками, сдавались через библиотеку в цеховые ячейки. Отзывы о технических книгах изучались специалистами. Библиотека тщательно изучила отзывы о шести художественных произведениях, получив ценнейший материал для некоторых обобщений. Вместе с политическими и техническими книгами каждый из 150 прочитал за 3 месяца не менее 7 книг. Отдельные художественные произведения (напр. «В людях» М. Горького) были прочитаны всеми. Если же взять лишь шесть художественных произведений, включенных в рекомендательный список, то об отношении к ним говорит следующая статистическая табличка:

Количество прочит. книг	Колич. читат.	% к 150
Все 6 книг . . . . .	62	41
5 книг . . . . .	38	26
4 » . . . . .	26	17
3 » . . . . .	24	16

Прочтению всех названных книг всеми 150 активистами-читателями мешали разные причины. Одним нехватало времени, другим был «недосуг», третьи решили прочитать «меньше, да лучше». Впрочем для первого обзора отзывов рабочих-молотовцев о художественной литературе количество не имело решающего значения. Важно было выяснить, почему рабочие охотно читают ту или иную книгу, чем объясняется их отрицательное отношение к книге, какую книгу они считают для себя трудной или легкой, какие требования пред-

являют они к языку художественного произведения? На все эти произведения отзывы в той или иной форме дают ответы. Мнения рабочих-молотовцев совершенно отчетливо отразились в их письменных отзывах, и многие из них свидетельствуют о серьезном, зрелом отношении культурного советского рабочего к художественному произведению. Бросается в глаза самая форма отзыва: рабочий-читатель точно мотивирует свое отношение к книге. Он знает, почему нравится или не нравится ему книга.

Это не «вкусовщина», а мнение, созданное в результате внимательного чтения и размышления.

Как же отнеслись рабочие-молотовцы к произведениям Горького, Серафимовича, Шолохова, Леонова, Авдеенко и Шухова?

### О романе М. Горького «В людях»

Как уже сказано было, «В людях» читали все активисты. Любопытно, что об этом произведении нет ни одного «отрицательного» мнения, — оно на всех произвело глубокое впечатление. Но каждый мотивирует свой интерес к книге по-своему. Рабочему Капустину например кажется, что «В людях» Горький показал себя «мастером передачи детских мыслей и переживаний». Абонент № 380 считает «В людях» волнующей книгой, так как в ней Горький «первый выразил настроения пролетарских масс в художественной форме, простым и убедительным языком». Тов. Вольников<sup>1)</sup> особенно ценит это произведение потому, что «в нем отражена героическая и поучительная жизнь М. Горького». Такой «биографический» мотив звучит и в других отзывах: «В этой книге видно, как Горький накапливал жизненные наблюдения, и я понимаю, что свои произведения Горький не выдумывал, а выстрадал. Молодая работница ценит «В людях» как подлинно историческое произведение, которое «знакомит нас, молодых, с прежней жизнью рабочих-подростков». Но особенно ценна эта книга тем, что «она показательна для рабочего класса, с которым Горький слил свою жизнь: в ней нащупан путь к освобождению, она зовет к жизни, борьбе и труду!» Много раз повторяется указание на то, что «эта книга сильно возбуждает против угнетателей рабочего класса, уничтожает жалость к врагу».

«Настойчивости и воле в борьбе, — вот чему учит эта книга!» — восклицает 56-летний рабочий.

Комсомолец-молотовец отвечает, что «образы, нарисованные Горьким, я вижу прямо перед собой, чего нет у других писа-

<sup>1)</sup> В дальнейшем мы вынуждены опускать фамилии читателей, так как их пришлось бы повторять часто. Для настоящего же опыта это не столь важно, тем более, что мы приводим не все отзывы, а лишь наиболее интересные.

телей». Пожилую работницу привлекают лирические черты «В людях»: «Хорошо описаны природа и душевные переживания. Так может писать лишь свой писатель». А одному из молотовских ветеранов, прошедшему путь героической борьбы за новую жизнь, книга эта напомнила его «собственное» детство: «Я вижу, что Горький мне родной брат».

Таким образом, книга Горького, прочитанная всеми ста пятидесятью читателями, воспринята была, как книга «борьбы и гнева», как художественный рассказ о прошлом, «вооружающий на борьбу с угнетателями», как книга, «воспитывающая волю к победе и бодрости», наконец как книга «своего писателя, который потому и пишет так просто и убедительно», что пишет не о выдуманном, а о выстраданном. Горький — писатель, которого любит, которому верит рабочий-читатель, — вот какой вывод снова и снова приходится делать на основании прямых высказываний молотовских рабочих. И совершенно естественно, что на вопрос библиотеки о том, какие книги Горького хочет он читать в ближайшее время, один из читателей ответил: «Все! Только по порядку от первой и до самой новой книги!»

Иначе говоря, рабочий-читатель от чтения отдельных книг Горького переходит к систематическому чтению произведений Горького!

### О «Поднятой целине» М. Шолохова

По количеству отзывов на втором месте после «В людях» стоит «Поднятая целина» Шолохова. Общий тон всех отзывов — более чем положительный. Роман Шолохова «затронул сердце рабочего-читателя», и книга читалась всеми «безотрывно, несмотря на мелкий шрифт массового издания». Читатель принимает «Поднятую целину», как «исторический документ в художественной форме», как «картину коллективизации, нарисованную очень понятно для рабочего класса». Читатели единодушно утверждают, что «книга убеждает, что, несмотря на большие трудности, партия выйдет победительницей на колхозном фронте». Особо отмечают читатели те творческие средства, при помощи которых так крепко впечатляет роман. «Книга написана многокрасочно, не избегает тех трудностей, какие были при коллективизации».

Правдивость и яркость, действенность изображения отмечаются очень многими читателями. «Есть в книге места сильные по волнению (напр. раскулачивание) и есть места очень смешливые (напр. про деда Щукаря) — и это говорит за большое умение писателя». Многие убеждены даже, что «немного найдется книг, в которых было бы столько здорового, жизнерадостного

смеха и веселья, за которыми не затушены трудности».

«От всей книги веет животрепещущей правдой жизни». Часто читатели отмечают, что «книга занята и понятна», «книга красноречивая», она «вооружает на борьбу за социализм, а не просто рассказывает о борьбе»...

Читатели искренно жалеют Нагульного, который «является типом преданного партии человека, но вредного по своей некультурности». Высказывают сожаление о том, что «в книге нет раскаявшихся середняков, обманутых Половцевым и др.», и советуют автору в дальнейших частях «здорово ударить по контрреволюции и оппортунистам! Наконец подчеркивается полезность книги, из которой рабочие-читатели почерпнули много знаний о коллективизации, о том, «как она проводилась в первый год головокружения от успехов». «Такой книге, как «Поднятая целина», — место не только в заводской библиотеке, но и в моей личной библиотеке найдется!..» — так выражает свое удовлетворение книгой строгий читатель, ветеран рабочего движения.

### О «Скутаревском» Л. Леонова

Очень охотно высказались молотовцы о книге Л. Леонова «Скутаревский». Немало было читателей, которые читали и другие книги Л. Леонова — «Барсуки», «Соть», — и в отзывах есть попытки сравнения «Скутаревского» с другими книгами автора, особенно с «Барсуками». Возможно, что некоторые читатели знакомы были с рецензиями и критическими статьями о «Скутаревском», печатавшимися в периодической печати. Так или иначе, молотовцы очень внимательно отнеслись к «Скутаревскому», — и их мнение об этом романе отнюдь нельзя считать случайным. Как правило, читатели отмечают «трудность» книги, хотя чувствуют ее значительность.

Доступности романа, очевидно, мешает не столько общая стиливая «трудность», сколько отдельные «чужие слова». Рабочий-читатель «раззадорен» этой книгой, он хочет ее понять, но что-то мешает: «Книга написана похвально, но я просил бы автора писать попроще, иногда бывает непонятно, что он хотел сказать, а гадать не охота (например: фагот, скерцо, космос, антреприза)». «Тема произведения очень полезная, но не могу понять, почему Леонов выбрал такую форму писания — за мудреватые фразы». Тот же читатель признается, что «всю книгу читал с усиленным напряжением. Книга мне понравилась своей правдивостью, но много я над нею попотел!» Последнее замечание однако не следует понимать, как упрек. Это скорее звучит для писателя похвалой: молотовский читатель не очень любит книги «для легкого чтения» и поэтому охотно преодолевает книжные трудности...

«Книга ценна тем, что автор сумел изобразить жизнь и работу советского ученого. Язык можно одолеть».

Были и такие, которые роман этот читали дважды, отзываясь о нем с искренним удовлетворением.

«Книга значительна тем, — пишет один из квалифицированных рабочих, готовящийся во вуз, — что она заставляет думать о многом, не имеющем прямой связи с темой книги. Книга рождает бодрые мысли. Достоинство книги в том, что она ставит проблему, а недостаток ее — в том, что она ставит слишком много проблем». Такой читатель не жалуется на трудность языка, для него «язык книги убедителен». В других отзывах жалуются не на множество «проблем» а на множество «героев»: «Яркая книга, но в ней много второстепенных героев, как бы мутно, в тумане описанных, напр. Штруф, Ширинкин...» Этот мотив повторяется нередко: «Непонятный язык, много действующих лиц, не запоминаются».

Сравнивая «Скутаревского» с «Барсуками», читатель нередко делает такой вывод: «Барсуки» яснее и понятнее «Скутаревского», в котором автор слишком много словесен и тратит часто много слов совершенно зря. Многие в романе непонятно, хотя хотелось бы понять».

Из высказавшихся о «Скутаревском» (62 человека) 12 «книгу никак не могли усвоить», считают, что «книга эта для научных работников», что она «трудная и сухая», что она «не развлекает, а отвлекает, — в ней все очень разбросанно».

Но такие отзывы типичны очевидно для читателей малоопытных, еще не приобретших навыка к чтению серьезных книг. Общий же тон отзывов о «Скутаревском» несомненно сочувственный, хотя ни один из читателей не скрывает трудностей стиля романа. В одном отзыве прямо так и сказано: «Сначала читать трудно, но, как привыкнешь к авторским штукам, — ничего, нравится».

Общий тон отзывов о «Скутаревском» убеждает в том, что рабочий-молотовец вырос уже для чтения серьезных художественных произведений, для ознакомления с которыми он готов преодолеть многие «книжные трудности».

### О «Железном потоке» А. Серафимовича

«Железный поток» Серафимовича понравился тем, что «главный герой Кожух — реальное лицо, и это чувствуется в произведении». Читателю в этой эпопее «все ясно и понятно... все равно, как это действие перед тобой происходит». Молодой рабочий узнал из этой книги, «как боролись отцы и братья». Особенно ценит читатель то, что такой писатель, как Серафимович, который мог бы «все придумать», не стал «придумывать», — «описал достоверные исторические факты, а не просто из головы»...

Здесь сказывается общее тяготение выросшего читателя к подлинному, правдивому историческому роману. «Серафимович рисует массу без прикрас, как она на самом деле была в те трудные годы».

Помимо художественного мастерства, рабочий-читатель требует от произведения и некоторой познавательной ценности: «Из этой книги многое узнаешь, чего сам не мог увидеть». Но в «Железном потоке», по мнению некоторых читателей, «нет конца, многое остается неизвестным (напр. судьба беженцев)... Хочется продолжения». Изредка встречаются указания на перегрузку украинской речью, «которая все же непонятна». «Железный поток» вообще вызвал интерес к Серафимовичу: читатель спрашивает, есть ли у этого писателя, «кроме проведений о прошлом», книги о нашем строительстве? Заинтересовавшись этим писателем, рабочий-читатель включает его в свой список и не успокоится до тех пор, пока не «получит о нем полное представление»...

Любопытно, что молотовский читатель сам устанавливает какую-то незримую грань между «опытными писателями и начинающими». Если о Горьком, Серафимовиче, Леонове, Шолохове читатель высказывается скромно, деловито, подтверждая свои впечатления примерами или во всяком случае мотивируя их более или менее подробно, то об Авдеенко и Шухове например отзывы носят либо восторженно-нисходящий, либо «поучающий» характер.

Читатель считает, что своим молодым рабочим-авторам он «обязан давать советы», чтобы «помочь им выйти на верную дорожку».

### О романе Авдеенко «Я люблю»

«Я люблю» Авдеенко читала главным образом молодежь. Возможно, что виною этому — заглавие книги. Молодой молотовец в восторге от этой книги своего, уральского, писателя. Некоторые отзывы лаконичны: «Замечательная книга! Не верится, что наш брат написал ее». Но большинство читателей ценит «Я люблю» как произведение историческое: «Книга эта — настоящий музей прошлого и свободы». «Интересна тем, что рисует перерождение героя, что дает молодежи представление о прошедшей жизни».

Нельзя однако не отметить, что рабочие ценят книгу Авдеенко главным образом за ее содержание, не скрывая ее крупных недостатков. Так, даже восторженные читатели указывают, что «слабо показан переход от старого времени к революции, забыты некоторые герои». Один прямо указывает, что «надо было Верку довести до новой жизни». В языке книги «есть много погрешностей, но это потому, что Авдеенко еще не выдающийся писатель, но он исправится».

«Есть у Авдеенко умение привлекать читателя, но еще не вполне: срывается он. Учиться надо у Горького».

«Может из него выйти толк, — пишет один из немногих пожилых читателей, — если не зазнается». «Главное, знает он то, о чем пишет, теперь бы перо покрепче в руках держать».

Но Авдеенко готовы простить «все грехи» его первого романа, если и дальнейшие его книги «будут вызывать любовь к труду».

### О «Ненависти» И. Шухова

О Шухове, о его «Ненависти», читатель говорит не без раздражения: «Автор напрасно рассказывает о том, что должно случиться событие, которое потом только происходит... Это расхолаживает». Признавая «Ненависть» ценным произведением, «в котором обрисована классовая борьба против кулака, трудная работа ячeyки ВЛКСМ», читатели подчеркивают, что «мало уделено внимания личной жизни героев: описывая строительство, вовсе не следует забывать о личности строителей». В каждом почти отзыве отмечается полезность «материала книги»; иногда говорится определенно: «Это произведение помогает колхозному движению СССР». Но рядом с этим читатель подчеркивает: «Не живо написана эта полезная книга». Один из квалифицированных читателей так говорит о «Ненависти»: «Роман не живет внутренней жизнью». Мало подготовленные очевидные читатели жалуются, что «книга трудно читается — скоро притупляется внимание, тугучая она книга».

Общее отношение к книге правильно выражено в одном из 24 отзывов: «Сначала книгу читать неинтересно, она скучно написана, нет в ней волнения. А как прочтешь — видишь, что она полезна».

Это суждение не только верное, но и предостерегающее. Оно совершенно наглядно показывает, что рабочий-читатель не может удовлетвориться произведением, в котором полезное содержание дано в слабой художественной форме.

Рабочий-читатель требует от произведения, чтобы оно было содержательно (полезно) и интересно. А интересным оно станет лишь тогда, когда «мысль, заложенная в книге, станет мне ясной сама по себе... из всех поступков героев, а не из рассуждений автора».

### О «Капитальном ремонте» Л. Соболева

С этой точки зрения интересны отзывы молотовцев об одной книге, прочитанной либо «сверх «обязательства», либо взамен одной из указанных в купонах. Речь идет о «Капитальном ремонте» Л. Соболева. 16 читателей — 10 проц. всех взявших обязательства — признали эту книгу «полезной по материалу». Отзывы зачастую так и начинаются: «Книга эта интересна как материал о флоте в царское время». Автору однако ставится в вину очень и очень многое, но особенно его «многословность» и «рассуждения». «Автор, вид-

но, много знает или читал и все считает нужным объяснить, а мне это мешает читать и вдумываться... «Революционный комитет на корабле показан только в разговорах, а действия никакого нету». «Главный недостаток «Капитального ремонта» в том, что роман написан скучным разговором. Много всяких воспоминаний, описаний, мало настоящего волнения». Один нетерпеливый читатель утверждает, что «в романе ничего не происходит, а все только ходят, едят, пьют и разговаривают». Другой, более спокойный, допускает, что «положение во флоте описано хорошо, но не сразу понимаешь, что к чему». Наконец отмечают много «мелочей и разговоров», за которыми теряется «главный смысл».

Даже самый квалифицированный читатель, мнения которого о других книгах отличались точностью и меткостью, считает «Капитальный ремонт» «пространным предисловием к еще не написанной книге».

Трудно конечно согласиться с такой резкой оценкой книги Л. Соболева. Но нельзя не признать, что автор действительно ввел в роман такое обилие литературных, исторических и психологических отступлений, что основная сюжетная линия ускользает от внимания читателя. От этого-то немотивированного «отвода» основной сюжетной линии рабочий-читатель и предостерегает писателя: в художественном произведении не должно быть оголенной, бросающейся в глаза тенденциозности; читатель не хочет, чтобы ему давали «разжеванную или заранее рассказанную мысль», — он, развитой рабочий-читатель, требует, чтобы в произведении была сюжетная ясность («чтобы было ясно, что к чему»), отраженная в занимательной, волнующей, художественной форме!



Изучив 970 отзывов, библиотека сделала ряд ценных обобщений. Прежде всего стало ясно, что, хотя состав читателей неоднороден, но в массе своей рабочий-читатель культурно вырос. Рабочий-читатель знает, какая книга ему нужна: он знает заглавие книги, точно знает фамилию автора. Более того, зачастую рабочий-читатель следит за ростом определенного автора, с волнением выписывая каждую новую его книгу.

Такое положение обязывает ко многому.

В библиотеке очевидно должна быть более или менее полно представлена советская и иностранная художественная книга. Рабочий-читатель претендует не только на общераспространенные книги, но и на книги, написанные «для ограниченного круга читателей». Когда на конференции читателей кто-то обмолвился, что Пастернак — поэт «для немногих», один из читателей крикнул: «А вы дайте его книги для многих... Может, он им по зубам придется!» Для выросшего нашего рабочего-читателя нет очевидно «труд-



ных» писателей: есть писатели свои и чужие, талантливые и бездарные. (Все эти замечания, само собой разумеется, никак не снимают необходимости «массовых» книг.)

В заводскую библиотеку — книги лучших, самых значительных и самых «трудных» писателей, до них дорастает и уже дорос рабочий-читатель! — вот что отметила для себя молотовская библиотека.

Но отзывы рабочих говорят еще и о другом: рабочий-читатель подходит к художественному произведению с определенными требованиями. Советский роман должен быть насыщен полезным, правдивым, идейно значительным, проверенным на жизненном опыте материалом. Художественное произведение должно быть поучительным — в высоком смысле этого слова. Требовательный рабочий-читатель не прощает снижения сти-

ля, вульгаризации речи, длиннот, долгой экспозиции и нарочитых, выдуманных финалов, особенно — апофеозов. «Многословие» (очевидно «периодическая речь») и «многоплановость» композиции сбивают читателя, — отсюда требование ясности сюжета, совершенно не исключаящей сложности, «запутанности» ситуаций и «захватывающей» интриги. Напротив, рабочий-читатель ждет от книги этой волнующей интриги, которую пока находит он главным образом в произведениях классиков.

Дальнейшие опыты изучения литературных интересов рабочего-читателя позволяют сделать более широкие обобщения. Но и этот первый опыт должен быть признан поучительным.

С. Дзюбинский

## II. Из опыта одной газеты

### О книге Кофанова «Стансовет»

Недавно Павел Кофанов выпустил слащавый роман о Кабарде «Дочь Катахалка». Кабарда же приняла эту книжку, не признала себя в ней. Теперь вышла повал книга Кофанова — «Стансовет», «оперативные зарисовки» о пресловутой станице Полтавской, из крепости кулацкого саботажника превратившейся в Красноармейскую станицу, занесенную на красную доску. Книга издана в серии «Художественная библиотека рабочего и колхозника» Азово-Черноморским краевым издательством.

В порядке подготовки к съезду советских писателей краевая газета «Колхозная правда» провела в станице обсуждение книги П. Кофанова. Книга издана в серии Колхозники заявили: «В книге много выдумки, мало правды и не описано основное».

Пригодим характерные высказывания:

«Вся моя работа, начальника политотдела, и моих заместителей описана совершенно неверно, все это выдуманно, и ни одного факта, действительно отражающего работу политотдела, нет».

Считаю безусловно неверным и вредным стремление Кофанова отобразить начальника политотдела и предстансовета в роли «вождей», которые например договариваются «о призыве парторганизации». Считаю вредным отображение меня в виде всеведущего, всезнающего, вседущего человека — идеала, не имеющего ошибок, промахов. Это не помогает, а путает в работе. Сила большевиков заключается в том, что мы, двигаясь в массах, видим трудности и, вооружившись большевистской самокритикой, вскрывая ошибки, быстро исправляем их. А всего этого в книжке Кофанова не найдете.

Нач. политотдела Красноармейской МТС

И. Клишкин.

Интересно высказывание председателя стансовета Иванова:

«... Формы классовой борьбы отражены с искажением. Зачем Кофанову было выдумывать пустой, не существующий в действительности факт о нападении на квартиру предстансовета? Ведь действительных фактов классовой борьбы было сколько угодно. А произошло это потому, что писатель не изучил самой станицы, отдельных выдающихся людей, не изучил недостатков, а поверхностно схватил материал».

Нам нужна литература, рисующая действительные формы классовой борьбы... Тогда книга явится хорошим помощником в дальнейшей работе, как передача опыта, и будет интересна с художественной стороны, заинтересует читателя».

В педтехникуме станицы книгу обсудили очень внимательно. Отзыв из педтехникума показывает, каков наш массовый читатель, как внимательно он относится к форме, к языку:

«Прежде всего о языке книги «Стансовет». Он небрежен и нечеток. Вот например:

«Снилось председателю... как погибает на боевом посту отец его... неторопливо уходя на крогь и замирающим языком завещал сыну продолжать рабочее дело...» (стр. 20).

Хозяйственные прорывы почему-то «ужасающие», а ночь с «блестательным серебристым полнлунием». Ненужная вычурная красноречивость!

Герои-руководители говорят плакатным, лозунговым языком, говорят тезисами. Вот Клишкин делает выговор бригадире: «Ты ослабил работу в массах, да-да». Иванов, у которого глаза пели, лицо улыбалось, походка стала летающей, говорит: «Большой

подъем». Больше он ничего не может придумать, глядя на работу колхозов.

И такой тон взят во всем очерке. Это не живые люди, а схемы. Думают они отвлеченно. Такими их в жизни не найдете, нет их в станице Красноармейской.

Есть в станице начальтодела Климкии — энергичный, горячий и чуткий руководитель. Есть предстановеца Иванов (кстати, ничего в нем нет «летающего»), который не думает лозунгами и тезисами, а занят живым, конкретным руководством, начиная от поля и кончая заботой о крышах домов станицы; есть Борис Сафонов — помощник по комсомолу — отличный руководитель-массовик, внимательный, но он ничуть не похож на того «мальчика Борю» — мечтателя, каким изображен он в книге.

Собственно говоря, и книга не о них написана. Есть один живой человек в книге, да и тот дан комом, — Серафима Ивановна, ныне «благополучно» выжившая из станицы. И то, что она была «активной» когда-либо, и то, что она «пе-ре-ро-дилась», тоже выдуманно автором, как и березы в Красноармейской (их всего две на всю станицу).

Кофанов описания героизма доводит до худолности, лакирует колхозную действительность.

**С. Сергеев-Ценский.** — «Гоголь уходит в ночь». Повесть. Моск. т-во писателей. 1934. Стр. 126. Тираж 5.200. Цена 4 р.

За последние годы приобрели большое распространение романы-биографии великих людей. Идея таких книг в принципе не плоха, — они несут массам в легкой, занимательной форме знания о той или иной эпохе и о ее выдающихся деятелях. Круг читателей этих книг очень широк, он не ограничивается ни возрастом, ни профессией, ни культурным уровнем человека, их читают все, начиная от школьников и кончая учеными-специалистами.

Но относятся ли авторы подобных книг достаточно серьезно к своей задаче, учитывают ли они всю тяжесть ответственности, которую они на себя берут, освещая так или иначе великого человека, взвешивают ли основательно каждое свое слово? К сожалению, приходится наблюдать совершенно обратную картину, — книг пишется много, но очень немногие, — вернее меньшинство из них, заслуживают признания действительно ценных и нужных. А некоторые даже приносят определенный вред, подавая массам совершенно неверный, с историко-литературной точки зрения, образ данного писателя. Примером такой вредной книги может служить повесть Сергеева-Ценского «Гоголь уходит в ночь». Название книги очень заманчиво, оно рождает сразу интерес к ней, предисловие автора еще более его разжигает, — в нем Сергеев-Ценский обещает читателю показать, как ночь,

Ой превращает каждодневную борьбу за лучшее будущее в какой-то аллилуйный гимн с «церковным» обходом зажиточных дворов начальником политотдела. Это или сознательное опошление и дискредитация лучшего... или политическая близорукость и художественная беспомощность...»

Откликнулись на книгу Кофанова и местные журналисты. Они говорят: герои сами себя не узнают. «В результате безответственного отношения Кофанова к работе в книге героями-ударниками являются враги колхозного строя, действовавшие «тихой сапой», притворявшиеся «ударниками», — это кулаки Луханины и зав. МТФ колхоза им. Бацкого — бывший белогвардеец Назаров».

Такова разносторонняя оценка книги Кофанова.

Встреча автора с персонажами оказалась далеко не в пользу писателя. И делом: не надо калтурить, лакировать действительность, — надо писать правду.

При обсуждении книги Кофанова массовый читатель на конкретном материале ясно показал и свои литературные вкусы, и органический интерес к литературе, и тот культурный рост, который может только радовать нашу литературу.

*Н. Ивгоев*

то-есть николаевская Россия, поглощает гениального художника, долго и тщетно с нею борвшегося. Идея хороша, остается пожалеть, что исполнение ее оказалось слишком далеко от обещанного. Прежде всего в книге нет самого необходимого элемента для изучения жизни писателя, — нет эпохи, его создавшей. Где же она, эта николаевская Россия, холодная, суровая и беспощадная, где эта «ночь», поглотившая Гоголя? Ее нет нигде и ни в чем. Сергеев-Ценский решил, что если он покажет читателю Хомякова, остриженного по-русски, в кружок, или Чаадаева, мудро цитирующего свои же статьи, то он даст этим эпоху. Увы, этого слишком мало, и первым недостатком книги, создавшей бледный, невыразительный образ Гоголя, и является отсутствие фона современной ему эпохи. Здесь Сергееву-Ценскому следовало бы поучиться у Ю. Тынянова. Почему его «Кюхля» и Грибоедов — настоящие, живые люди, почему такими цельными и реальными получаются все его образы? Главным образом потому, что они слитны и неразделимы, как в подлинной жизни, с эпохой, в которую они существовали. Что сделал Сергеев-Ценский с Гоголем? Перед нами — бумажная фигурка, марионетка, не способная вызвать у читателя ни симпатии, ни понимания. Это — беспомощная кукла, за которую автору все время приходится подкачивать читателю: «Смотрите, сейчас Гоголь мучается, сейчас он делает то-то» и т. д. Особенно это бросается в глаза в 4-й, 7-й и 11-й картинах. Как Гоголь, так и все окружающие его фигуры друзей, — Погодин, Акса-

ков, Хомяков и Шевырев, — только бледные, плоские тени, автоматически повторяющие то, что им подсказывает автор, и вяло двигающиеся в определенных местах, когда он дергает за нитку. Слова их неестественно книжны, надуманны, архаичны, — даже не по времени, — а некоторые «герои» только и делают, что цитируют, кстати и некстати, свои собственные писания. Лаконичные и скупые фразы, которыми их характеризует автор, не помогают делу, так как они не выпуклы, не могут показать того особенного, специфического, что отличает Аксакова от Хомякова, а Шевырева от Погодина, — все они на одно лицо. А ведь это всё были выдающиеся люди, и у всех у них были свои яркие особенности, в книге же Сергеева-Ценского их ничего не стоит перепутать или даже просто не заметить. Единственно удачными можно признать лишь двух действующих лиц — казака Семена и о. Алексея. Они нарисованы тепло и живо; в особенности типичен о. Алексей. Его рассказ о жизни в семинарии так реален, что одним этим рассказом автор сразу нарисовал живое лицо, в существование которого веришь и образ которого вырастает в воображении читателя до мельчайших подробностей. Совершенно неприемлема трактовка вторым самого Гоголя, — в нем нет ни одной положительной черты: это — капризный, высокомерный эгоист, ханжа и фанатик и прежде всего просто неумный человек. Мог ли быть таким узким и односторонним гениальный писатель? Когда мы обратимся к его переписке, мемуарам современников и др. документам того времени, то убедимся, что он был совсем иным. У читателя, мало знакомого с биографией Гоголя, по прочтении книги в памяти останется искаженный, неверный образ. Можно было бы простить Сергееву-Ценскому некоторые, хотя и сильно утрированные, стороны характера Гоголя, но зачем он лишил его ума, совершенно непонятно и непорочно. В результате приходится констатировать, что Сергеев-Ценский не только не внес ничего нового в изучение личности Гоголя, но только не раскрыл причин его трагедии, не только не показал «ночь», поглотившую гения, но исказил и нарисовал в совершенно неверном свете его черты.

Неудачна и форма, в которую облек автор книгу; она делится на картины, что замыкает показ эпохи в узкие и строгие рамки. К чему здесь картины? Это не пьеса и не сценарий. Лучше было бы автору придать книге обыкновенную повествовательную форму, которая оправдала бы название «повесть» и значительно облегчила бы его задачу.

Позволю себе сказать еще о языке этой вещи. К сожалению, он заставляет желать лучшего, так как не только далек от настоящего художественного языка, но местами просто сыроват и нескладен. Встречаются например такие слова: «решенно (решительно?) сказал Хомяков» (стр. 34) и т. п.

Иллюстрации Н. П. Дмитриевского вполне

гармонируют с содержанием и дают чудовищно уродливого и непохожего Гоголя.

В заключительных главах книги, — последние минуты Гоголя, — автор мог бы, смягчив прежние прегрешения, произвести на читателя сильное впечатление. Но что это... около постели умирающего писателя начинают топтаться и устраивать нелепый и комический карнавал персонажи его произведений. И все впечатление пропадает. Вместо чувства уважения остаются лишь глубокое разочарование и досада.

Непонятно, зачем понадобилось Сергееву-Ценскому устраивать безкусный балаган у смертного одра Гоголя и зачем «МТП» понадобилось выпускать эту книгу, дающую совершенно неверный образ Гоголя и оскорбляющую его память?

К. Литовцева

**А. Дмитриев. — «Адмирал Макаров», роман.** Изд-во писателей в Ленинграде. 1934 г.

В 1920—21 г. обстановка на Дальнем Востоке была весьма сложная. Разбитая в Сибири белогвардейщина сделала еще одну попытку сколотить силы контрреволюции, чтобы дать отпор Красной армии, победоносно продвигавшейся к берегам Тихого океана. Под защитой штыков японских интервентов, разбросанных по всему побережью, сформировались новые отряды, состоявшие из банд атамана Семенова, капителейцев и остатков колачакцев. Оккупировав побережье, японцы распоряжались здесь, как на территории своего государства, оказывая всяческую поддержку белогвардейщине. Фактически, несмотря на наличие правительства ДВР со своей армией и флотом, во Владивостоке власть принадлежала японскому военному командованию, установившему свои посты, караулы, брандвахту и т. д. Без разрешения японского командования ни один корабль не мог войти в порт или из него выйти.

В такой обстановке особенно резко должны были проявиться противоречия классового порядка среди отдельных групп и прослойки сторонников и противников революции. На фоне этой сложной обстановки А. Дмитриев и попытался развернуть большое полотно из жизни остатков русского дальневосточного флота, сосредоточив внимание на судьбе крейсера «Адмирал Макаров».

Флот вправе гордиться героическими страницами своего революционного прошлого. Таких страниц немало вписано в историю гражданской войны. Конечно у флота есть и свои будни: период учебы, накопления сил, сколачивания кадров и т. д. Каждому из таких периодов поставлены свои задачи, достаточно четкие и ясные, для решения которых требуется не менее четкая и ясная расстановка основных движущих сил. Японская интервенция 1920—21 г. является одной из интереснейших тем для наших романистов,

разрабатывающих оборонную тематику, но вместе с тем она достаточно серьезна и ответвенна и не каждому автору по плечу. Нагляднее всего это доказал А. Дмитриев первой книгой своего романа «Адмирал Макаров».

Содержание книги несложное. Во Владивостокском порту, оккупированном японцами, стоят остатки бывшего царского флота и среди них сторожевой крейсер «Адмирал Макаров». Командует флотом адмирал Габай, в распоряжении которого имеются штаб флота, политотдел и есть даже комиссар-большевик. Все корабли разоружены, но штаб решает секретным порядком вооружить крейсер и под предлогом доставки продовольствия алеутам отправить его из Владивостока, нагрузив ящиками с оружием для партизан. В эту канву вплетены различные эпизоды, как будто имеющие отношение к теме, — увод белогвардейцами посыльного судна, переворот во Владивостоке и т. п.

Следует признать, что в романе есть интересные страницы. Хорошо показан лейтенант Габернкорн, как тип офицера-служака, каких немало было во флоте. Неплохо дан адмирал Габай, марионетка в руках японского командования. Но в целом роман не поднимается над уровнем серой беллетристики, — на всем видна печать спешки и схематичности.

Пытаясь дать широкое полотно и не обладая достаточным мастерством, автор начинает «плавать» в материале, нагромождает факты, людей, давая схему событий вместо углубленного вскрытия сущности явлений. Люди появляются, произносят несколько положенных им «по штату» фраз и бесследно исчезают, — таковы вахтенный начальник мичман Жуков, введенный, повидимому, лишь потому, что трудно представить корабль без вахтенного начальника, или например начальник политотдела Гинзбург, появление которого ничем не оправдано в романе.

Автор, показывая вооруженную борьбу рабочих и матросов Владивостокского порта с белогвардейцами, дал ее лишь через восприятие трех китайцев, наблюдавших борьбу через бухту. К действовавшим на стороне революции силам автор отнес лишь военных матросов и грузчиков порта, позабыв о существовании моряков торгового флота, которых во Владивостоке всегда было достаточно. А. Дмитриев, видимо, упустил из виду, что единственно правильный метод художественного показа вещей и событий, метод социалистического реализма, «требует от художника правдивого, исторически-конкретного изображения действительности в ее революционном развитии». В главе о вооруженной борьбе это требование как-раз забыто.

Не лучше обстоит дело и с языком произведения. Не только в языке героев, но и в авторской речи слышны да рядом встречаются такие «перлы», как «бразжа», «стремил»,

«роба», «матрозня», «побарахлить», «шляпнул», «сadanул под микитки» и т. п. Достаточно имеется и просто неграмотных фраз, хотя по сравнению с текстом романа, печатавшимся в журнале «Знамя», эти погрешности частично выправлены и не так ярко бросаются в глаза.

Общий вывод: автор взял очень интересную тему, но не справился с ней. Роман (первая книга) написан неудовлетворительно.

*Г. Гарпан*

**Д. В. Вeneвитинов.** — Полное собрание сочинений. Под ред. Б. В. Смиренского. «Академия». 1934.

Сочинения Вeneвитинова не печатались более двадцати лет и ни разу не издавались настоящим научным образом. Это была голая подача текста (да еще часто скверного текста!) без примечаний и почти без датировки. И вот наконец появилось настоящее научное издание — первое после ста семи лет, протекших со дня смерти поэта. В нем впервые собраны все письма Вeneвитинова и опубликован ряд неизвестных писем (большая часть которых дошла до нас благодаря И. А. Кубасову, хранившему в течение многих лет копии исчезнувших теперь подлинников), неизвестные отрывки: «Четыре богини», «13 августа», «Нежданный праздник» и перевод из Гофмана «Что пена в стакане, то сны в голове». В конце книги приложена большая библиография литературы о поэте, до сих пор не собранная в одном месте и в таком полном виде.

Книга издана «Академией» хорошо, с большим количеством иллюстраций и с воспроизведениями автографов и рисунков поэта, впервые увидевших свет. Том в 33 с лишним печатных листа, по сравнению с брошюрками Суворинского и др. изданий, казалось, обещает много хорошего. Но, увы, редактор больше позаботился о внешнем оформлении книги и количестве иллюстраций, чем о тексте и комментариях к нему. А при небольшом литературном наследии Вeneвитинова да еще при минимальном наличии рукописей и полном отсутствии трудно читаемых черновики можно было бы сделать все гораздо более серьезным и научным образом.

Прежде всего, редактор не дал себе отчета в том, что такое канонический текст стихотворений, не отнесся с должной серьезностью к редакции даваемого им текста; волюющим примером к этому может служить стих. «Новгород» (стр. 82), представляющее собой смешение трех редакций, а именно: редакции посмертного издания, редакции, опубликованной Ю. Г. Оксманом в «Литературном музее» (1922, стр. 21), и поправку племянника поэта М. А. Вeneвитинова, сделанных на экземпляре сочинений Вeneвитинова (1862 г.), бывшем у него в библиотеке (ныне Библиотеке им. Ленина). Какое же право имеет редактор по своему личному усмот-

рению делать из нескольких, хотя бы и слабых, редакций стихотворения одну, хотя бы и прекрасную, тогда как он должен был в каноническом тексте дать только одну определенную редакцию, а прочие поместить в примечаниях. Удивительно, что тов. Смиренский до сих пор не знает таких элементарных вещей<sup>1)</sup>.

Подобные примеры контаминации текста представляют собой стихотворения: «Италия», «Завещание», «Последние стихи» и «Монолог Фауста», причем в комментариях к «Новгороду» редактор хоть доводит до сведения читателя о том, что он делает с текстом, в других же случаях он благообразно умалчивает об этом. Не менее возмутительно отношение редактора к примечаниям. В примечаниях каждого научного издания писателя непременно условием являются в первую очередь сведения об автографах произведений, затем — история текста в печати, датировка и биографический комментарий. Но тов. Смиренский решил пренебречь и этими правилами. Так, об автографах он не находит нужным говорить совсем и вдруг «прорывается» неожиданным подробным описанием вида автографа «Любимый цвет», вплоть до его размера, и тут же умалчивает о том, что подлинники стихотворений «Завещание» и «К моей богине» находятся в ИРЛИ. Полное молчание встречается и о подлинниках стихотворений, опубликованных С. М. Шпицером в газ. «День» (1913 г., № 213) и журн. «Солнце России» (1914 г., № 26), а между тем подлинники эти должны быть в ИРЛИ, и дело редактора было их там разыскать или выяснить их настоящее местонахождение. То же можно приблизительно сказать и о различиях бывших в печати стихотворений — редактор то приводит их, но не все (как напр. к стих. «Поэт» и «Поэт и друг»), или совсем не приводит («Моя молитва», «Песнь Кольмы», «Домовой», «Песнь Маргариты», «Монолог Фауста» и «Песнь Клары» из «Эмонта»). Не указано, что стихотворения «Домовой» и «Песнь Маргариты» печатались в альманахе «Эвтерпа» 1831 г. (стр. 158 и 164) с вариантами.

Вообще комментарий производит впечатление беспомощного, дилетантского, — даются никому не нужные переложения содержания стихотворений, понятных всем и без служливой помощи редактора, и обходятся молчанием вещи, заслуживающие действительно серьезного внимания, как автографы, варианты и имена собственные.

На стр. 67 при стихотворении «К. И. Герке» есть примечание: «Здесь берется на выдержку одна из картин пьесы»; примечание это сделано А. П. Пятковским, в изд. 1862 г.;

тов. Смиренский, недолго думая, приписывает курсивом: «Примечание Д. В. Веневитинова». Абсурдная вещь! Рукопись стихотворения неизвестна, в изд. 1829 г. примечания этого нет, и вдруг в изд. 1862 г. может появиться примечание, сделанное самим Веневитиновым, не говоря о том, что по содержанию его видна принадлежность редактору. Следовало бы тов. Смиренскому быть чуточку внимательнее в таких серьезных вещах, как приписывание Веневитинову слов, ему не принадлежащих.

Обращает еще на себя внимание беспринципность в заключении в прямые скобки заглавий стихотворений, данных не самим поэтом; напр. в скобки заключены: «Экспромт», «Эпиграмма на историка Арцыбашева», «Последние стихи», но не заключены: «Два отрывка из неоконченной поэмы» и «Импровизация».

Необходимо было сделать отдел Dubia (сомнительные, в смысле принадлежности Веневитинову, стихотворения) и отнести туда «Родину» и «Импровизацию», принадлежность которых перу Веневитинова, в особенности «Родины», подлежит большому сомнению и не имеет достаточной почвы для приписывания их ему столь безапелляционно.

Что касается датировки стихотворений, то она совершенно оставлена в пренебрежении. Порядок, данный друзьями и братом поэта в посмертном издании его сочинений, в 1829 г., здесь нарушен самым бесцеремонным образом. На каком основании? Неизвестно. Надо предполагать, что друзья поэта, знавшие близко его жизнь и приблизительную последовательность написания стихотворений, не без основания конечно поместили их в определенном порядке; если же редактор нашел у них ошибки, то он должен был указать на них и мотивировать свое исправление, но он этого не сделал, он просто нарушил порядок посмертного издания без всякой мотивировки, не за тем ли, чтобы таким путем придать своему изданию более новизны? (Надо сознаться, способ довольно наивный.)

Не касаясь датировки отдельных стихотворений, необходимо указать, что даже знание дат не мешает редактору делать и здесь ошибки. Напр. стих. «Жизнь», судя по известному письму жившего в Петербурге с Веневитиновым Ф. С. Хомякова к брату А. С. Хомякову от 3 декабря 1826 г. (и цитируемому самим же Смиренским!), написано до декабря 1826 г.; датируется же оно здесь 1827 г.

Вызывает недоумение и расположение критических статей Веневитинова. Почему «Несколько мыслей в план журнала» помещено раньше, чем полемика с Полевым? Polemika с Полевым происходила летом 1825 г., «Несколько мыслей в план журнала» прочитаны были Веневитиновым в философском кружке и, судя по зрелости их и содержанию, связанному с организацией журнала «Мос-

<sup>1)</sup> Затем в примечании к «Новгороду» говорится о восстановлении редактором смяченных друзьями поэта из-за цензурных соображений мест в их первоначальном виде, но не оговаривая того, что эти «смяченные места» все-таки были пропущены цензурой и появились в издании 1829 г.

ковский вестник», были написаны позже по-лемеки, т.е. зимой 1825 — 1826 г. «Analyse d'une scène détachée de la tragédie de Mr. Pouchkin» (Анализ сцены, взятый из трагедии Пушкина) помещен раньше, чем статья об «Абидосской невесте», — неверно, — разбор «Абидосской невесты» Веневитинов послал Погодину 19 декабря 1826 г. в уже закопченном виде, разбор же «Годунова» он еще не мог сделать, так как «Сцена из «Годунова» появилась в свет только в № 1 «Московского вестника», вышедшем в январе 1827 г. Следовательно, и статья о ней могла быть написана не раньше января 1827 г.

Но все до сих пор сказанное бледнеет перед отделом писем. Здесь страдают и телеология, и хронология, не говоря уже о комментариях. Редактор не дает себе труда хотя бы приблизительно датировать письма, не датированные Веневитиновым, по их содержанию, он ставит только год, а в то же время большинство из них можно датировать довольно близко, а письмо № 18 (Погодину) совершенно точно — 17 июня 1826 г. — по дневнику Погодина. Расположение писем совсем не обоснованно; письма к Кошелеву помещены, судя по содержанию их, не только явно не в хронологическом порядке, но и с непонятными ошибками. Напр. письмо № 11 в списке архива Погодина (по которому и публикуется) имеет дату 9 августа 1825 г., № 13 — 25 августа 1825 г., № 16 — совсем не датировано. Тов. Смиренский почему-то решил перетасовать даты и поставил 9 августа к письму № 13, 25 сентября к письму № 16, а письмо № 11 оставил без даты. Интересно, какими высоконаучными соображениями руководился редактор, поступая таким образом?

Многие письма к Кошелеву и Погодину имеют приписки, рассеянные по разным листам письма; редактор приводит их в несколько странном порядке, не указывая, на каких листах они находятся, хотя это необходимо ввиду могущей возникнуть спорности о последовательности их написания. Письмо № 18 к Погодину редактор публикует по копии, сообщенной ему И. А. Кубасовым, что более чем странно, — зачем публиковать письмо по копии с ошибками, когда существует его подлинник в Библиотеке им. Ленина (архив Погодина, том № 3515. л. 145). Тов. Смиренский работал над этим архивом, и ему стыдно делать подобные пропуски. Письмо № 28, «Всепокорнейший рапорт», дано редактором безобразно, это коллективное письмо, написанное Веневитиновым вместе с В. Ф. Одоевским Погодину, Рожалову, Титову, Шевыреву и Соболевскому, с заглавием «В канцелярию издателей «Московского вестника», как и следовало его озаглавить (а не «К Погодину», как озаглавливает редактор), и печатать его надо было полностью, выделив места, написанные Одоевским, петилом, а не оставив одного Веневитинова, как сделал редактор, округлив письмо и в пылу изъятия слов, принадлежащих Одоевскому, изъав приписку и подпись Веневитинова и

написанный им адрес. Письмо № 29 к Погодину датировано неверно: вместо 12 декабря — 19-м; во-первых, в подлиннике стоит ясное «12», во-вторых, по содержанию «рапорта» от того же 19-го видно, что в этот день не могло быть второго письма к Погодину. Письмо № 38, озаглавленное редактором «Неизвестному», судя по тону, содержанию, посвященному делам «Московского вестника» и упоминаемым в нем именам, адресовано к С. П. Шевыреву, но тов. Смиренский не допускает этой мысли, так как, по его мнению, в письме есть фраза: «Не он ли (т.е. Полевой) подкупает Шевырева», к сожалению, в подлиннике написано не «Шевырева», а «Шириева» (маленькая разница!).

Мало того, что редактор не отнес письмо, к кому следует, — он еще обвинил в продажности ни в чем неповинного Шевырева.

В довершение всех промахов пропущено целое письмо Веневитинова к С. А. Соболевскому от конца декабря 1826 г., цитированное А. К. Виноградовым в «Вечерней Москве» 1927 г., № 165, в статье «Новый автограф Пушкина» и наполовину опубликованное им же в книге «Мериме в письмах к Соболевскому», М., 1928 г., стр. 243. Подлинник письма находится в ГАФКЭ, в известном архиве Соболевского, там же есть подлинник и другого письма к нему же от 14 декабря 1826 г., которое редактор перепечатывает из «Русской старины» 1875 г. (кн. IV, стр. 820) в искаженном и неполном виде. Невредно было бы специалисту по Веневитинову, прежде чем выпускать издание его сочинений, заглянуть в архив Соболевского, близкого друга поэта.

Грустно, что письма Веневитинова, наконец собранные, поданы в таком безобразном виде.

Не менее поражают исключительная беспринципность и бессистемность редактора по отношению комментариев к письмам, — читателю объясняется, кто такие были Шеллинг и Пиндар, но обходится гробовым молчанием воронежской губернатор в письме к матери (№ 1), хотя губернатором этим был не кто иной, как Ник. Ив. Кривцов, брат декабриста, приятель Пушкина, известнейший вольнодумец и атеист, одна из колоритнейших фигур царствования Николая I. И сразу интересным и важным делается место в письме Веневитинова, где он пишет о свидании с Кривцовым, — это еще один новый штрих в ненаписанной биографии поэта, и он совершенно пропадает благодаря отсутствию комментария.

Тов. Смиренский, видимо, мыслит иначе, так как из упоминаемых в письмах 165 имен собственных сопроводил примечаниями только 69, а 96 (т.е. 60%) обошел молчанием. Факт, совершенно недопустимый в издании, претендующем на научность! Да и те имена, которые Смиренский удостоил, неизвестно почему, комментарием, комментированы до смешного скупое, не освещены совсем их отношения с поэтом.

Можно пожалеть, что редактор в оглавлении не дал перечня писем Веневитинова с указанием адресатов и страниц, необходимого для справок, а удовлетворился только указанием годов.

Что касается т. наз. «Свода биографических данных о Веневитинове», приложенного в конце книги, то давно бы следовало людям, стремящимся к научным методам изучения жизни и творчества писателей, бросить этот безвкусный литмонтаж.

В общем книга производит впечатление неяркой, недоделанной; кажется, что редактор взялся было работать всерьез, но или не справился, или ему это скоро наскучило, и он стал «валить» через пень-колоду, лишь бы довести дело поскорей до конца.

В наше время, когда дело издания классиков поднято на подлинную высоту, выпускать подобные книги — просто преступление. Основная ее польза в том, что она может служить ярким образцом, как не нужно издавать книги.

Первое «научное» собрание сочинений Веневитинова не оправдало своего названия.

*К. Богаевская.*

**Е. А. Штакеншнейдер.** — «Дневник и записки». Изд. «Академия», 1934 г. Редакция, статья и комментарии И. Н. Розанова. Стр. 582. Ц. 7 р. Пер. 2 р.

**С. П. Жихарев.** — «Записки современника». Редакция, комментарии и вступительная статья С. Я. Штрайха. Т. I. Изд. «Академия», 1934 г. Стр. 469. Ц. 7 р. Пер. 2 р.

Дневник Штакеншнейдер охватывает годы 1854—1886 и в особенности 60-е годы прошлого столетия — эпоху общественного подъема.

Три основных момента, три этапа обостренной общественной борьбы 60-х годов характеризуют записи дневника — студенческие волнения 1861 года, польское восстание 1863 года и крутой поворот к беспросветной реакции после выстрела Каракозова в 1866 году, эхом которого через несколько лет явился резкий подъем революционного движения.

Дом Штакеншнейдеров являлся одним из трех основных литературных салонов Петербурга. «Субботы» Штакеншнейдеров А. И. и М. Ф. (отец автора — придворный архитектор, строитель многих дворцов и павильонов Петербурга и Петергофа), «воскресенья» Ф. П. и П. И. Толстых (граф Ф. П. — вице-президент Академии художеств, скульптор и иллюстратор) и «понедельники» супругов Глинок собирали весь цвет поэтов, писателей и художников того времени. И хотя состав посетителей всех трех салонов был почти одинаков, настроения салонных собраний каждого дома были резко различны. В то время как «понедельники» Глинок протекали под знаком идей православия и самодержавия, ярчайшим представителем которых был сам Глинка, а в салоне графов Толстых собиралось «изысканное» общество, «субботы» Шта-

кеншнейдеров отличались разнообразием посетителей. При этом большой удельный вес на «субботах» имела разночинная интеллигенция, в большинстве оппозиционно настроенная. Недаром, по признанию ряда современников, в доме Штакеншнейдеров больше говорили о политике.

Елена Андреевна, автор мемуаров, дочь крупнейшего архитектора прошлого века и хозяйка литературного салона, была довольно вдумчивым и более или менее объективным наблюдателем. У Е. А. были все данные для вдумчивого наблюдения литературного общества. С большими ногами, на костылях, горбунья Е. А. сама создавала, что «мне многое не позволено, что идет к другим, не могу ни танцовать, ни наряжаться, ни кокетничать». Невозможность того, «что идет к другим», она возмещала тем, что «страшно много» читала, умела слушать и наблюдать, а услышанное и наблюденное регулярно, чуть ли не ежедневно, заносила в свой дневник. Она слушала и наблюдала литературное общество и «суббот», и «воскресений», и «понедельников», ибо, помимо своего салона, была почти постоянной посетительницей двух других салонов. Вместе с тем богатство наблюдений преломлялось у нее через призму левых, резко оппозиционных настроений, к которым она пришла благодаря тому, что идейным вождем ее был Петр Лавров, постоянный гость Штакеншнейдеров, частые встречи и беседы которого с Е. А. продолжались до самого его ареста в 1866 году, а переписка — и во время пребывания его в эмиграции.

На страницах дневника Штакеншнейдер проходят Достоевский, Гончаров, Григорович, Данилевский, Помяловский, Вс. Крестовский, Полонский, Майков, Бенедиктов, Михайлов, Щербина, Мей, Осипов, Гох, Айвазовский, Соколов, Михешин, Хлебовский. Характеристика литературной атмосферы 50-х и 60-х годов, приведенная в книге Е. А., даст много не только специалистам-литературоведам, но и массовому читателю. Значительное место в дневниках Е. А. отведено описанию студенческих волнений 1861 г. и женскому движению 60—70-х годов, участником коего являлась и Е. А.

Три виднейших представителя того времени занимают большую часть дневника и воспоминаний Е. А. — Петр Лавров, Достоевский и Я. П. Полонский. Для биографии Петра Лаврова записи Е. А. являются наиболее ценными, ибо они охватывают доэмигрантский период его жизни, — период, наименее освещенный другими современниками. Характеристика Лаврова, взаимоотношения его с Ж. А. Рюльман, арест его и наконец хлопоты Е. А. по освобождению Лаврова описаны не только на страницах дневника, но и в специальной главе воспоминаний.

Помимо дневника, Достоевскому также посвящены специальные воспоминания, правда, незаконченные, но являющиеся крайне ценными. Особо замечательными являются записи Е. А. для биографа Я. П. Полонского, о ко-

тором она говорит буквально на протяжении всего дневника. И это понятно, ибо Я. П. Полонский, постоянный посетитель дома Штакеншнейдеров и значительную часть времени проживавший в их доме, являлся вместе с тем ближайшим другом Е. А.

Мемуары Е. А. частично публиковались в ряде журналов («Русский архив», 1893 г., «Русский вестник», 1899 и 1901 гг., «Голос минувшего», 1915, 1916, 1919 гг.), но далеко не полностью и в несистематизированном виде. «Академия» дает дневник и записки в наиболее систематизированном и полном виде, причем большая часть дневника публикуется впервые.

Записки Жихарева охватывают более ранний период времени, начало XIX столетия. «Записки современника» было бы вернее назвать «Записками театрала», ибо по существу они являются одним из основных источников для истории русского театра того периода. Вместе с тем записки Жихарева дают достаточно яркие, интимно схваченные картины барской жизни начала прошлого века. С. Я. Штрайх совершенно правильно указывает, что «богатством содержания и яркостью изложения «Записки современника» не только стоят выше всей предшествовавшей им литературы о театре начала XIX столетия, но почти заслонили все рассказы мемуаристов, появившиеся в печати после них». О яркости изложения и прекрасном знании Жихаревым театра свидетельствует и современник его, Е. А. Штакеншнейдер, книгу которой мы выше рассматривали. На стр. 107 дневника за 1856 г. читаем: «Один старичок, сенатор Жихарев, пишет в «Отечественных записках» свои воспоминания под заглавием «Дневник чиновника». Вот бы мне так уметь! Дневник этот начал он со дня вступления на службу и как любитель театра подробно описывает его. В то время Озеров только что написал «Дмитрия Донского». Жихарев был на предпоследней репетиции этой трагедии и так подробно описал ее, что по его запискам дают ее в понедельник, в бенефис Орловой» (Жихарев описал этот спектакль в дневнике от 1807 года, а по его запискам ставили «Дмитрия Донского», по свидетельству Штакеншнейдера, в 1856 году). О художественной ценности записей Жихарева свидетельствует в особенности тот факт, что Л. Н. Толстой для «Войны и мира» сделал ряд заимствований из записок Жихарева. Так например описание обеда, данного москвичами Багратиону в Английском клубе в Москве в

1806 году, дано Л. Н. Толстым в «Войне и мире» почти буквально по записи Жихарева. Штрайх в комментариях указывает и на другие заимствования. Н. Н. Апостолов, исследователь творчества Л. Н. Толстого, указывает, что сам Л. Н. во время писания романа сообщил П. И. Бартеневу как на один из своих источников на записки Жихарева (Н. Н. Апостолов — «Лев Толстой над страницами истории». М. 1928 г.).

Тем больший интерес и тем большую ценность имеют записки Жихарева.

С театральной жизнью Жихарев был связан тесными узами. Постоянный (и, добавим, закулисный) посетитель русского, французского и немецкого театров в Москве, немецкого и французского театров в Петербурге, близкий и интимный приятель виднейших артистов и актрис, Жихарев в записках дает красочные характеристики знаменитостей тогдашней русской сцены — Плавильщикова, Померанцева, Злова, Сандуновых, Лисициной, не оставляя без замечок ни одного, даже самого захудалого, артиста. Нет буквально ни одной театральной постановки начала прошлого столетия, которая с достаточной полнотой и яркостью не была бы описана автором в своих дневниках. Записки Жихарева — ценнейший материал для историков сценического искусства. Вместе с тем яркое и художественное изложение делает «Записки» весьма занимательными для широкого круга читателей. Выпущенный в свет I том («Записок современника» охватывает 1805 год («Дневник студента») и 1806 год («Дневник студента» и «Дневник чиновника»).

Комментарии И. Н. Розанова и Ф. И. Вязева к запискам Е. А. Штакеншнейдер и С. Я. Штрайха — к «Запискам» Жихарева достаточно полны. Следует отметить однако недостаточное освещение И. Н. Розановым причин отхода Е. А. Штакеншнейдер от левых позиций в 70-х годах, в то время как бывший идейный руководитель ее — П. Лавров — неуклонно и последовательно оставался на левых позициях. Отметим еще раз, как это неоднократно уже указывалось, на крайнее неудобство для читателя помещения комментариев в конце книги, вследствие чего комментарии в большинстве случаев не читаются. Необходимо перейти на постраничные комментарии.

С. Иванов



## Книги, поступившие на отзыв:

### ГИХЛ

- Маяковский, В. В.** — Мистерия-буфф. Том III. 1934. Стр. 262. Ц. 4 р. 50 к.  
**Лежнев, И.** — Записки современника. Том I. Истоки. 1934. Стр. 276. Ц. 4 р. 50 к.  
**Новикова-Вашенцева, Е.** — Маринкина жизнь. 1934. Стр. 389. Ц. 5 р. 75 к.  
**Антокольский, П.** — Франсуа Вийон. 1934. Стр. 117. Ц. 3 р. 25 к.  
**Сельвинский, Илья.** — Избранные стихи 1934. Стр. 173. Ц. 4 р. 25 к.  
**Кулик, И.** — Черная эпопея. 1934. Стр. 100. Ц. 3 р. 50 к.  
**Арази.** — Избранные рассказы. 1934. Стр. 156. Ц. 2 р. 75 к.  
**Коцюба, Гордий.** — Золотое руно. 1934. Стр. 191. Ц. 2 р. 75 к.  
**Поэты Белоруссии.** — Составил П. Бровка. 1934. Стр. 119. Ц. 3 р. 75 к.  
**Казанский сборник.** — Составили Тагжанов и Джапсугуров. 1934. Стр. 157. Ц. 2 р. 50 к.  
**Жид, Андре.** — Дневники. 1934. Стр. 93. Ц. 2 р.

**Низан, Поль.** — Антуан Блуайе. 1934. Стр. 203. Ц. 3 р. 75 к.

### «СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

- Год XVII.** — Альманах четвертый. 1934. Стр. 495. Ц. 5 р.  
**Мирский, Д.** — Интеллиджентсна. 1934. Стр. 138. Ц. 1 р. 65 к.  
**Никупин, Л.** — Дело Жуковского. Рассказы. 1934. Стр. 156. Ц. 2 р.  
**Гарри, А.** — Огонь. 1934. Стр. 204. Ц. 3 р.  
**Купала, Янка.** — Избранные стихи. Стр. 219. Ц. 4 р.  
**Коцюба, Г.** — Новые берега. 1934. Стр. 267. Ц. 3 р. 50 к.

### ПРОФИЗДАТ

- Юнга, Евгений.** — На борту. 1934. Стр. 123. Ц. 1 р. 80 к.  
**Шевцов, Ал.** — Голос. 1934. Стр. 62. Ц. 75 к.  
**Двадцать стихотворений.** 1934. Стр. 61. Ц. 1 р. 35 к.

Редакция:

А. И. Безыменский.  
Ф. В. Гладков.  
В. В. Григоренко.  
И. М. Гронский.  
Л. М. Леонов.  
А. Г. Мапышкин.  
В. П. Ставский.

Отв. редактор И. М. Гронский.

Издатель: «Известия ЦИК СССР и ВЦИК».